М. ГОРЬКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ







СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО
Н. К. ГЕЯ
С. А. МАКАШИНА
А. С. МЯСНИКОВА
В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

8Р2
Г 71

Составление и подготовка текста
А. А. КРУНДЫШЕВА

Примечания
И. С. ЭВЕНТОВА и А. А. КРУНДЫШЕВА

Рецензент
А. И. ОВЧАРЕНКО

Оформление художника
В. МАКСИНА

Фотоматериал взят из коллекций
Музея А. М. Горького АН СССР

Г $\frac{70202\text{-}311}{028(01)\text{-}80}$ 37-81 4702010200



А. М. Горький. Москва. 1934.

М. ГОРЬКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



I
В. И. ЛЕНИН И А. М. ГОРЬКИЙ

Н. К. КРУПСКАЯ

ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ

Владимир Ильич очень ценил Алексея Максимовича Горького как писателя. Особенно нравились ему «Мать», статьи в «Новой жизни» о мещанстве,— сам Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство,— нравилось «На дне», нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой, любил он такие вещи Горького, как «Страсти-мордасти», как «Двадцать шесть и одна».

Помню, как загорелся Ильич как-то желанием пойти в Художественный театр смотреть «На дне», помню, как слушал он «Мои университеты» в последние дни своей жизни.

Горький писал больше всего о рабочих, о городской бедноте, о «дне», о тех слоях, которые больше всего интересовали Ильича, описывал жизнь так, как она есть, во всей ее конкретности, видел ее глазами человека, ненавидящего гнет, эксплуатацию, пошлость, нищету мысли,— глазами революционера. И то, что писал Горький, было близко и понятно Ильичу.

Сам Владимир Ильич жадно вглядывался в жизнь, во все мелочи. Это уменье Ильича замечать мелочи и осмысливать их отметил Горький в одном письме ко мне (от 1930 г.) [1], где он писал:

«Очень ярко вспомнился визит мой в Горки, летом, кажется, 20-го года; жил я в то время вне политики, по уши в «быту» и жаловался Владимиру Ильичу на засилие мелочей жизни. Говорил, между прочим, о том, что, разбирая деревянные дома на топливо, ленинградские рабочие ломают рамы, бьют стекла, зря портят кровельное железо, а у них в домах крыши текут, окна забиты фанерой и т. д. Возмущала меня низкая оценка рабочими продуктов своего же труда. «Вы, Владимир Ильич, думаете широкими планами, до Вас эти мелочи не доходят». Он — промолчал, расхаживая по террасе, а я упрекнул себя: напрасно надоедаю пустяками. А после чаю пошли мы с ним гулять, и

он сказал мне: «Напрасно думаете, что я не придаю значения мелочам, да и не мелочь это — отмеченная вами недооценка труда, нет, конечно, не мелочь: мы бедные люди и должны понимать цену каждого полена и гроша. Разрушено много, надобно очень беречь все то, что осталось, это необходимо для восстановления хозяйства. Но как обвинишь рабочего за то, что он еще не осознал, что он уже хозяин всего, что есть. Сознание это явится не скоро и может явиться только у социалиста»... Говорил он на эту тему весьма долго, и я был изумлен тем, как много он видит «мелочей» и как поразительно просто мысль его восходит от ничтожных бытовых явлений к широчайшим обобщениям. Эта его способность, поразительно тонко разработанная, всегда изумляла меня. Не знаю человека, у которого анализ и синтез работали бы так гармонично».

В том же письме Алексей Максимович писал: «Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, он, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обнажал их сущность...»

Ильич хорошо знал русскую литературу,— она была для него орудием познания жизни. И чем полнее, всестороннее, глубже отражали художественные произведения жизнь, чем проще они были, тем больше ценил их Ильич.

Владимир Ильич близко познакомился с Горьким в 1907 году на Лондонском партийном съезде [2], понаблюдал там его, поговорил с ним и как-то душевно сблизился с ним. Интересны письма Ильича к Горькому за время второй эмиграции. Образ Ильича как человека особо ярко выступает в этих письмах. Ильич пишет Горькому с резкой прямотой о том, с чем он не согласен, что его волнует, заботит. Ильич обычно так писал товарищам, но в письмах к Горькому есть особый оттенок. Пишет он часто очень резко, но в этой резкости много какой-то особой мягкости. Письма пишутся всегда под непосредственным впечатлением какого-нибудь факта, в них много эмоциональности — ярко отражена тревога, тяжесть некоторых переживаний, радость, надежды. Ильичу казалось, что Горький очень хорошо все это поймет. И всегда хотелось также Ильичу убедить Горького в правильности своих взглядов, он горячо защищал их.

В письмах Ленина к Горькому видна забота Ильича о нем. Все знают, как внимательно относился Ильич к людям, умел заботиться о них. И Алексей Максимович сам неоднократно писал об этом. Отмечали это все.

Заботило Ильича здоровье Алексея Максимовича. Он постоянно спрашивал о нем, давал советы лечиться непременно у первоклассных врачей, соблюдать режим («прижим», как говорил в шутку Ильич), не работать по ночам.

В эмиграции Ильич очень тяготился тем, что приходится мало видеть рабочих. Правда, в эмиграции было много рабочих, но они обычно быстро устраивались на работу и жили уже местными французскими или швейцарскими интересами, и жизнь в эмиграции очень быстро накладывала на них свой отпечаток. Поэтому он всегда был рад общению с рабочими, приезжавшими за границу ненадолго. Ильич особо доволен был работой с рабочими из каприйской школы, с учениками партийной школы в Лонжюмо [3]. В 1913 году предполагался приезд в Поронин (в Галицию, поблизости Кракова) рабочих депутатов. Горький на Капри еще меньше имел случая общения с русскими рабочими, и Ильич ясно себе представлял, как это ему тяжело. Он стал его звать в Поронин. «Если здоровье позволяет, махните-ка ненадолго, право! После Лондона и школы на Капри повидали бы еще рабочих» [4].

У меня сохранилось одно письмо Ильича от июня 1919 года. Я ездила тогда на агитационном пароходе «Красная звезда», писала Ильичу о первых своих впечатлениях, и Ильичу пришло в голову, что хорошо бы и Горького пустить так поездить. «Я запросил в этой телеграмме,— писал он,— нельзя ли на «Красной звезде» дать каюту для Горького. Он приедет сюда завтра, и я очень хотел бы вытащить его из Питера, где он изнервничался... Надеюсь, ты и другие товарищи будете рады ехать с Горьким. Он — парень очень милый...» [5]

Я мало видела Ильича вместе с Горьким.

На Лондонском съезде я не была, на Капри не ездила, а в Париже, в Москве, в Горках, когда к нам приезжал Алексей Максимыч, я всегда старалась смыться, чтобы дать им поговорить по душам, с глазу на глаз.

Сейчас Алексей Максимыч живет в СССР, живет по уши в политике, пишет горячие публицистические статьи, видит рабочих, сколько хочет. Мне его редко приходится видеть, хотя иногда ужасно хочется поговорить с ним об Ильиче, но жизнь у нас очень напряженная, все работают не покладая рук. У Алексея Максимыча много руководящей работы в области литературы, которую никто, кроме него, не может выполнить...

М. И. УЛЬЯНОВА

ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ

(Из воспоминаний)

⟨...⟩ В конце 90-х годов я лишь мельком встречалась с Алексеем Максимовичем в Нижнем Новгороде, куда была выслана под надзор полиции. Ближе как человека я узнала его в Петрограде перед революцией. Наши свидания происходили у него на квартире на Петербургской стороне [1], куда я приходила к нему с письмами и поручениями от Ленина. Ильичу нужен был заработок, дороговизна в связи с империалистической войной нарастала с каждым днем, и как ни умел он ограничиваться лишь самым необходимым минимумом в своих потребностях, но одно время невозможность найти литературную работу и «пристроить» свои книги сказалась особенно остро. Алексей Максимович выручал [2].

Если в то время многое из политической, особенно эмигрантской, жизни отталкивало Горького и ему было непонятно порой, как люди, «хорошие» люди, могут расходиться, раскалываться из-за политических убеждений, то Ленина, ту роль, которую ему суждено сыграть для нашей страны и всего человечества, Горький понял сразу. И сразу полюбил его. Ильич отвечал ему тем же. Мало было людей, к которым Ленин относился бы с такой любовью, как к Горькому. Как-то оживлялось всегда его лицо при свиданиях с Алексеем Максимовичем. Он мог беседовать с ним часами, и видно было, что эти беседы доставляют ему истинное удовольствие. Горький был милым, простым, обаятельным человеком. И это сближало их обоих.

И встают в памяти: концерты у Горького на квартире, где играли любимые музыкальные вещи Ильича [3], Горький у нас на даче в Горках и его частые визиты в Кремль, на городскую квартиру Ленина.

У Горького всегда были про запас какие-либо дела к Ильичу, большое количество просьб за разных людей. И как чутко шел Ленин всегда навстречу этим ходатайствам Горького, если выполнить их представлялась хотя бы какая-либо возможность.

Необычайно велика роль Горького как воспитателя молодых начинающих литераторов. Надо было поражаться, как успевал он прочитывать то огромное количество писем, которое направлялось ему в Италию с просьбой помочь, посоветовать, прочесть ту или иную вещь и т. п. Некоторые из них проходили через меня, когда я работала в «Правде», и, вероятно, ни один из этих запросов не оставался без ответа.

А когда он получил возможность приехать, сначала на короткий срок, в Союз ССР [4], он лично посещал собрания и слеты рабселькоров, выступал на них, часами разговаривая с рабочими, работницами и крестьянками. Скольких из них он воодушевил своей поддержкой, советом, дружеским словом. ⟨...⟩

М. И. ГЛЯССЕР

ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ

За время моей работы в секретариате В. И. Ленина мне не раз приходилось наблюдать встречи Владимира Ильича с Максимом Горьким.

Чувство огромной радости наполняло всех нас, работников секретариата Владимира Ильича, в те дни, когда к нему приходил Горький. Радость эта вызывалась совершенно особым, приподнятым настроением Владимира Ильича, передававшимся нам, его нетерпеливым ожиданием Горького, его большой, для всех ощутимой любовью к Горькому как к близкому другу, как к человеку, отдавшему весь свой огромный талант делу пролетарской революции.

Чаще всего Алексей Максимович бывал у Владимира Ильича на квартире. Но иногда Владимир Ильич принимал его в своем рабочем кабинете. Уже накануне приезда Горького из Петрограда обычно вызывал Владимир Ильич секретаря и очень тепло и взволнованно говорил: «Завтра утром приезжает Горький. Пошлите на вокзал за ним мою машину да позаботьтесь, чтобы на квартире Алексея Максимовича к его приезду было все готово. Узнайте, тепло ли там, есть ли дрова. Условьтесь с ним о часе, когда за ним можно будет прислать машину». Алексей Максимович не умел заботиться о себе, и Владимир Ильич это знал: он заботился до мелочей об удобствах Горького, что в те годы, годы гражданской войны, нелегко было осуществить.

Утром в день приезда Горького Владимир Ильич раньше обычного приходил в свой кабинет и тотчас же вызывал секретаря для доклада: все ли сделано. «Не забыли ли сказать в будку у кремлевских ворот, не задержат ли там

Горького?» Через полчаса звонок из кабинета: послали ли машину?

К величайшему сожалению, мы не вели в те годы никаких записей приемов Владимира Ильича, его поручений, выступлений и т. п. Трудно поэтому восстановить даты его встреч с М. Горьким. Но самые встречи запомнились очень ярко. Я помню лишь один случай в 1919 году, когда Алексей Максимович, приехав неожиданно вечером, не застал Владимира Ильича, выступавшего в тот день на митинге, и ему пришлось подождать возвращения Владимира Ильича в нашем секретариате. Обычно же Горькому не приходилось ждать ни одной секунды. Владимир Ильич сам выходил к нему навстречу, здоровался с ним, полуобнимая его, и, глядя, по своей привычке, прямо в глаза, сразу же осведомлялся о здоровье и уводил с собой в кабинет.

В часы, когда у Владимира Ильича сидел Горький, на нашу долю выпадало много работы: Алексей Максимович приносил с собой целую уйму своих забот и о делах и о людях, и Владимир Ильич всегда с исключительным вниманием следил за тем, чтобы ни одно из этих дел не осталось не рассмотренным, не выясненным до конца. Тут же нам давались поручения, делались запросы, писались письма и телеграммы, ответы на которые обязательно должны были быть доложены Владимиру Ильичу.

Бывали случаи, когда приход М. Горького совпадал с каким-либо спешным делом, которым был занят Владимир Ильич, или приемом кого-либо, приехавшего по срочному делу. В таких случаях Владимир Ильич всегда предупреждал нас заранее: «Как только приедет Алексей Максимович, допустите его сразу же ко мне в кабинет, даже если я буду занят». И Владимир Ильич продолжал работать в присутствии Горького, заканчивая спешное дело.

Горький отвечал Владимиру Ильичу таким же глубоким чувством. Иногда мне приходилось, по поручению Владимира Ильича, тотчас же после их встречи говорить с Алексеем Максимовичем, выяснять и подробно записывать его просьбы и ходатайства по тем или иным делам. Он не мог скрыть своего волнения после этих встреч, делился впечатлениями, говорил так, будто вторично переживал свою беседу...

Опубликованные в «Ленинских сборниках» записки и телеграммы Ленина характеризуют его отношение к Алексею Максимовичу в последние годы их встреч, его друже-

скую заботу о Горьком. Болезнь Горького очень волновала Владимира Ильича. Он настойчиво звал Горького приехать к нему на дачу отдохнуть, когда Алексей Максимович заболевал, предлагал ему поехать с агитпароходом по Волге, лично организуя ему эту поездку.

В 1921 году, когда у Горького началось кровохарканье, Владимир Ильич долго уговаривал Горького — и уговорил его — уехать за границу лечиться. Алексей Максимович не хотел ехать, не закончив всех своих дел, и Ленин писал письма в учреждения, от которых зависело быстрейшее окончание поднятых Горьким вопросов, чтобы ничто его не могло задержать. Для одной комиссии по издательским делам, в которой Горький принимал участие, нужны были два автомобиля. Автомобилей было мало в то время, выполнение его просьбы задержали, и Владимир Ильич пишет по этому поводу в ВЧК тов. Менжинскому специальное письмо, в котором содержатся такие строки:

«...Помочь Горькому *надо* и *быстро*, ибо он из-за этого не едет за границу, а *у него кровохарканье*»[1]. ‹...›

Б. Ф. МАЛКИН

В. И. ЛЕНИН И М. ГОРЬКИЙ

(Из воспоминаний)

В памяти встает ряд фактов, бесед и эпизодов, связывавших Владимира Ильича с Горьким в первые годы революции и свидетельствующих о той большой дружбе и привязанности, которая была между этими двумя замечательными людьми нашей эпохи.

Вспоминаю, как перед Владимиром Ильичем встал вопрос о Горьком в 1918 году.

Шел вопрос об издававшейся им «Новой жизни», полувраждебно к нам относившейся, ставшей центром леворадикальной интеллигенции, усмотревшей в большевизме угрозу «культуре» [1].

За окончательным решением этого вопроса обратились к Владимиру Ильичу.

Перед нами стоял идейно беспощадный вождь рабочего государства. Ни тени сомнений, отброшены всякие личные симпатии и привязанности.

— Конечно, «Новую жизнь» нужно закрыть. При теперешних условиях, когда нужно поднять всю страну на защиту революции, всякий интеллигентский пессимизм крайне вреден. А Горький — наш человек... Он слишком связан с рабочим классом и с рабочим движением, он сам вышел из «низов». Он безусловно к нам вернется... Было это с ним в 1908 году, во время отзовистов...[2] Случаются с ним такие политические зигзаги...

Несколько раз Владимир Ильич уверенно повторял, что Горький безусловно вскоре к нам вернется.

Говорил он о Горьком в очень дружеских тонах, с особой какой-то нежностью, как о своем близком человеке.

И Владимир Ильич хорошо знал Горького, действительно в нем не ошибся. Уже к концу года Горький вплот-

пую начал с нами работать, и памятный 19-й год [3] застает Алексея Максимовича в кипучей, напряженной работе в ряде культурных областей.

Около Алексея Максимовича сразу же образовался в Петрограде большой культурный советский центр, закипела большая работа вокруг организованной им «Всемирной литературы», Дома ученых, начали налаживаться деловые отношения с Академией наук, приступившей к работам по обследованию естественных и производительных сил страны, появились новые литературные и научно-технические работы, и мы были свидетелями, как в жестокую, голодную эпоху «военного коммунизма» рабочее государство при первой дружественной попытке интеллигенции втянуться в общую работу всячески пошло этому навстречу. Руководящее участие в этой работе Владимира Ильича придало ей большой размах.

Всякий приезд Горького в Москву [4] очень оживлял всех нас, все более и более расширялись круги интеллигенции, с нами связывающиеся, и возникали новые культурные дела.

Владимир Ильич неизменно поддерживал Горького во всех этих делах, в особенности же книжных и издательских.

Самую идею создания единого государственного издательства привез с собой Горький, который принял самое ближайшее участие в его организации и был включен, по предложению Владимира Ильича, в редакционно-литературную коллегию Госиздата [5].

Мне помнится одно из совместных с Горьким посещений Владимира Ильича по книжным делам; шла тогда речь о поддержке горьковской «Всемирной литературы», обеспечении наших научно-технических работников специальной иностранной литературой и вообще об улучшении книжного дела.

Тут же шла беседа по целому ряду попутно возникающих вопросов, по которым обменивались между собой эти два замечательных собеседника.

Доставляло исключительное наслаждение видеть и прислушиваться к их непринужденной двухчасовой беседе, которая протекала в особых тонах дружеской откровенности, искренней заинтересованности и какой-то особой ильичевской задушевности, с которой он обычно относился к Горькому.

Во время беседы часто раздавался заразительный хохот

Ильича, который вносил в беседу атмосферу непринужденности и веселой шутки.

Алексей Максимович за кого-то ходатайствовал и все говорил о том, что тот в свое время «наших прятал». Ильич весело шутил:

— Вы смотрите, Алексей Максимович, он, может, сердобольный по натуре, когда-то наших прятал, а теперь, должно быть, кадетов от нас прячет...

На его лице появлялась милая, лукавая усмешка, столь памятная всем, кто хоть раз его видел.

В их разговоре не было никакой внешней «красивости»: не говорили они ни парадоксами, ни азбучными истинами; у Горького была изумительная манера, говоря про обыденные вещи, возвести их в степень значительных вещей и какое-то особое, такое острое, напряженное внимание, любознательность и жадное любопытство к человеку и ко всему, что он делает.

Горький всегда говорил о непосредственно пережитом, и перед восхищенным слушателем вставали живые люди и красноречивые факты. И нужно было видеть взгляд живых, внимательных Ильичевых глаз, любовно смотревших на Горького, нужно было слышать, как он с полуслова подхватывал мысль Алексея Максимовича, направлял ее в широкое русло принципиального обобщения и взлетом яркой мысли вскрывал до дна какой-нибудь вопрос, неизменно связывая практику с теорией! Все это делалось так просто, что никаких запутанностей и неясностей уже не оставалось.

Владимир Ильич очень настойчиво всегда требовал выполнения всего того, что он одобрял в горьковских предложениях, и всегда советовал привлекать Алексея Максимовича к разрешению всех книжных и литературных вопросов.

Очень внимательно осведомлялся Владимир Ильич о том, как расходятся сочинения Горького, и все говорил про то, что нужно обязательно всего Горького издать [6].

От нас он требовал немедленной присылки всякой новой книжки Горького. Когда вышли воспоминания Горького о Толстом, мы тут же послали Владимиру Ильичу эту книжку [7]. Ильич нам рассказывал после, что он в ту же ночь залпом прочел книжку, которая ему страшно понравилась.

— Вы знаете,— говорил он нам, делясь своими впечатлениями,— Толстой у Горького как живой получился.

Пожалуй, так честно и смело о Толстом никто и не писал.

Много у нас было в Москве разговоров в связи с многолюдным митингом интеллигенции, который происходил в Петроградском Народном доме под председательством Горького. Это была первая яркая советская демонстрация интеллигенции, к нам примкнувшей [8].

Горькому была устроена бурная овация, и Владимир Ильич говорил о необходимости и у нас в Москве организовать с Горьким такой же митинг...

Из отдельных фактов мне вспоминается требование Владимира Ильича обязательно записать ряд граммофонных речей Горького; при этом Владимир Ильич передал для Горького примерный список тем: об антисемитизме, об интеллигенции, науке и революции, о специалистах и ряд других из культурного цикла.

На эти темы нужно говорить именно Алексею Максимовичу, но тот всегда отказывался, ссылаясь на недостаток голосовых средств: «Я не оратор, я — писатель, я вам лучше напишу...» Так и не удалось запечатлеть голос Алексея Максимовича на пластинке [9].

Во время обсуждения вопросов о реорганизации Наркомпроса Владимир Ильич специально работал над книжно-издательскими вопросами и поместил большую статью в «Правде» о нашей работе Центропечати [10] и после ее напечатания просил обязательно привлечь Алексея Максимовича к решению книжно-издательских вопросов и в особенности настаивал на проработке вопроса о возможности выполнения отдельных книжных заказов в Германии.

В каждый свой приезд Алексей Максимович обязательно ставил перед Ильичем вопрос о сохранении и укреплении поредевших научно-технических и литературно-художественных кадров.

Из этих бесед возникла и идея организации ЦЕКУБУ [11], которую Владимир Ильич горячо поддерживал, а также и ряд организованных А. М. встреч с Владимиром Ильичем крупнейших академиков... [12]

В специальных литературно-художественных вопросах Алексея Максимовича всегда поддерживал А. В. Луначарский, которого Ильич шутливо называл «покровителем муз»; [13] усилиям Горького и Луначарского мы обязаны тому, что в годы «военного коммунизма» нам удалось создать кое-какую материальную базу для ряда научных и

литературно-художественных начинаний тогдашнего времени.

С какой уверенностью и убежденностью, помнится, говорил нам при встречах Ильич о том, что мы скоро станем,— только бы белых разбить,— величайшим очагом научной жизни, и как он радовался всяким успехам в этих областях.

А ведь всем этим научно-культурным вопросам он мог уделять между общественными, материально-хозяйственными делами, фронтами, международной политикой и пр. так мало времени... И все-таки не было случая, чтобы Алексей Максимович в каждый свой приезд в Москву не побывал обязательно у Ильича...

Их сближала обоих органическая, страстная ненависть к мещанству, оба они демократичны по натуре, с ног до головы, и Владимир Ильич в особенности ценил в Горьком его трудовую культуру...

И, помнится, Ильич, когда говорил нам о Горьком, всегда подчеркивал, что трудовой путь Горького к культуре, такой яркий и совершенно изумительный, должен его сближать с новой рабоче-крестьянской интеллигенцией, которая тоже усваивает культуру в упорном труде и борьбе.

Е. П. ПЕШКОВА

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ У А. М. ГОРЬКОГО В ОКТЯБРЕ 1920 ГОДА

Приезжая в Москву, Алексей Максимович жил в Машковом переулке, дом № 1, кв. 16, где жила я с сыном — Максимом Алексеевичем.

После переезда правительства в Москву Алексей Максимович часто виделся с Владимиром Ильичем. Свидетельницей их встреч я не была. Ездил Алексей Максимович в Кремль или по приглашению Владимира Ильича, или по делам, с которыми он к нему обращался. Иногда он ездил один, иногда с сыном, иногда с кем-нибудь из ученых, жизнь и работа которых в то время крайне беспокоила Алексея Максимовича.

В половине января 1919 года, когда Алексей Максимович был в Москве, он просил справиться, когда Владимир Ильич мог бы его принять. Ответили, что выяснят. Через некоторое время из Кремля позвонили, что Владимир Ильич выехал к Горькому. Мы его долго ждали. Оказалось, что он приехал, но лифт в нашем доме был испорчен, а Владимиру Ильичу было запрещено в то время подниматься по лестнице, и он вернулся к себе.

Алексей Максимович проехал к нему в Кремль, говорил о необходимости поддержать ученых. В конце января он с делегацией петроградских ученых был на приеме у Ленина.

Осенью 1920 года, когда Алексей Максимович был в Москве, он поручил сыну Максиму Алексеевичу выяснить у Владимира Ильича, когда он сможет к нему приехать. Владимир Ильич сказал, что завтра сам приедет к Алексею Максимовичу.

На этот раз свидание состоялось. Мне помнится, что

это было 18 или 20 октября 1920 года (за точность даты не ручаюсь) [1].

Владимир Ильич отпустил сопровождавшего его товарища. Алексей Максимович встретил его в передней, и они прошли в кабинет Алексея Максимовича. Но скоро оба вышли в столовую — видимо, продолжая разговор о положении ученых и писателей, о их быте.

Заметив в кабинете печь-времянку, Владимир Ильич спросил меня:

— Холодно в квартире? Надо бы ковер на пол, теплее будет. (Через день мне прислали два ковра. Они и теперь еще целы.)

Сели за стол, где был приготовлен кофе. Владимир Ильич продолжал говорить о трудностях быта.

Алексей Максимович перевел разговор на литературу, горячо настаивал на необходимости поддержать начинающих писателей из народа и писателей разных народностей, указывая на выдающихся писателей Украины, талантливых писателей Татарии, говорил о писателях Сибири, причем упомянул о Василии Ивановиче Анучине. При упоминании имени Анучина Владимир Ильич рассказал, как он встретился с ним в Красноярске по пути в ссылку в село Шушенское и тот водил его в юдинскую библиотеку [2].

Алексей Максимович продолжал говорить о необходимости сохранить богатства народа — научные, литературные и художественные кадры.

В это время пришел Исай Александрович Добровейн, пианист, которого Алексей Максимович пригласил, чтоб тот поиграл Владимиру Ильичу. Разговор перешел на музыку. Зная, что Алексей Максимович любит Грига, Добровейн начал с него, потом играл Моцарта, Равеля, Рахманинова...

Владимир Ильич попросил сыграть сонату «Appassionata» Бетховена, Владимир Ильич был взволнован, несколько минут все сидели молча. Часа два пробыл Владимир Ильич у Алексея Максимовича. Уходя, когда мы его провожали, он упрекнул меня, что я ни за чем не обращаюсь.

— Ведь трудновато жить стало,— сказал он.

Вернувшись в столовую, мы еще долго сидели за столом, и Алексей Максимович рассказывал о своих встречах с Владимиром Ильичем.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Даже тогда, когда Алексей Максимович вместе с нами, «впередовцами», сделал излучину от прямого пути [1], Владимир Ильич ни на одну минуту своей любви к Горькому, своей веры в него не ослабил. Именно тогда, в то время, посылая ему свои талантливейшие, язвительные, злые и полные любви письма, он провозглашал, что Горький — настоящий, подлинный пролетарский писатель, который очень много дал и еще больше даст пролетариату... [2]

Владимир Ильич к Горькому относился изумительно. Я хорошо помню и то, как Алексей Максимович очень скоро вновь вошел в дружеские, весьма дружеские и весьма близкие отношения с Владимиром Ильичем. Он приезжал к нему и привозил разные жалобы; сколько нелепостей и ошибок делали тогда многие из нас... И Владимир Ильич говорил: редкий, хороший человек Горький! В какое же он положение попал? Нелепостей у нас всяких и излишеств — непроходимый край. Ведь нужно иметь большое мужество и огромный кругозор, нужно как-то направить себя на эту мысль, что все будет преодолено, чтобы быть спокойным. А у него тонкие нервы — ведь он художник, на него все это производит особенно тяжелое впечатление. Именно потому, что он крупнейший художник, ему и было так трудно пережить все эти ужасы переходного времени, так трудно было их преодолеть. А потом те, кого мы «огорчали», знали, что мы его любим, и они начали нести ему свои обиды и жалобы и нанесли, навалили такую кучу этого добра, что Алексей Максимович света невзвидел. Пусть же он лучше уедет, полечится, от-

дохнет, посмотрит на все это издали, а мы за это время нашу улицу подметем, а тогда уже скажем: «У нас теперь поблагопристойней, мы можем даже и нашего художника пригласить» [3]. ⟨...⟩

НОВАЯ ПЬЕСА РОМЕН РОЛЛАНА

Один из поклонников Ромен Роллана, по случаю его шестидесятилетия, почтительно назвал его возвышенным Дон-Кихотом нашего времени [4]. Мне кажется верным изобразить под чертами Дон-Кихота современного идеалиста в его столкновении с революционной реальностью.

Среди приветствовавших Ромен Роллана по поводу его шестидесятилетия одно из первых мест занял М. Горький; он посвятил Ромен Роллану и свою последнюю беллетристическую вещь — «Дело Артамоновых» [5].

Идея современного дон-кихотизма особенно ярко возникла в моем уме, когда я присутствовал при беседе между Владимиром Ильичем Лениным и М. Горьким. Горький жаловался на обыски и аресты у некоторых людей из интеллигенции Петрограда.

— У тех самых,— говорил писатель,— которые когда-то всем нам — вашим товарищам и даже вам лично, Владимир Ильич, оказывали услуги, прятали нас в своих квартирах и т. д.

Владимир Ильич, усмехнувшись, ответил:

— Да, славные, добрые люди, но именно потому-то и надо делать у них обыски. Именно потому приходится иной раз, скрепя сердце, арестовывать их. Ведь они славные и добрые, ведь их сочувствие всегда с угнетенными, ведь они всегда против преследований. А что сейчас они видят перед собой? Преследователи — это наша ЧК, угнетенные — это кадеты и эсеры, которые от нее бегают. Очевидно, долг, как они его понимают, предписывает им стать их союзниками против нас. А нам надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно.

И Владимир Ильич рассмеялся совершенно беззлобным смехом.

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

ГОРЬКИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕКУБУ

(Из воспоминаний)

⟨...⟩ Тысяча девятьсот девятнадцатый год был особенно труден. Гражданская война кипела на всех границах нашего осажденного социалистического отечества. Внутри страны, благодаря невозможности сделать надлежащие засевы полей, а также и потому, что этот год был крайне засушлив,— наступило время страшного голода... ⟨...⟩

Однако и в это время Владимир Ильич очень был озабочен тем, чтобы ученых, по мере возможности, снабжать совнаркомовским пайком. ⟨...⟩

Владимир Ильич жестоко попенял нашему Петроградскому исполкому и лицам, стоявшим во главе его, что они сами не догадываются, что нужно сделать по отношению к ученому миру, и вдруг воскликнул:

— Ведь надо оповестить всех наших ученых, что мы хотим и обязательно это сделаем, чтобы все ученые имели бы решительно все — от личной обеспеченности до самых лучших лабораторий, библиотек и научных кабинетов. Мы добьемся, что у нас расцветет наука так, как нигде в мире, совершенно освободившись от зависимости от капиталистов и их желаний... Наука у нас будет действительно свободной... Сейчас приходится терпеть: война, кругом война... ⟨...⟩ Сейчас же обдумайте, что нужно делать нам практически... Сегодня же вечером подробно обсудим это. ⟨...⟩

Я знал, что значат слова Владимира Ильича «подробно обсудим это». Это значит — никакой болтовни, одно дело, ясное, практическое, исчерпывающее, завершенное в своем построении, которое должно охватить весь вопрос в целом. ⟨...⟩ Я ранее знал по частным све-

дениям, что Алексей Максимович Горький, по своей личной инициативе, делает в Петрограде все, что может, чтобы помочь пережить голод ученым и литераторам. И я предложил Владимиру Ильичу вызвать Горького в Москву, поставить его во главе специального общества помощи ученым и литераторам. Я рассказал Владимиру Ильичу все, что знал о деятельности Горького в этом направлении и той популярности среди ученых, которой он пользовался в Петрограде. Предложил в срочном порядке дать распоряжение Наркомпроду о высылке специального транспорта продуктов в Петроград для помощи литераторам и ученым. Комиссар финансов должен был перевести средства, а у Горького, конечно, как всегда, найдется много людей, которые приложат руки к этому делу, и на принципе самодеятельности оно там закипит. Оттуда мы распространим его повсюду. Владимир Ильич все это принял, увеличил, утроил объем деятельности и сейчас же нарисовал абрис будущей всесоюзной организации, которая должна будет охватить решительно всех деятелей науки, искусств, литературы.

Так, в сущности, здесь было намечено и предложено к осуществлению то общество ЦЕКУБУ, которое теперь столь прекрасно заботится об этого рода деятелях, принося всем им огромную пользу [1]. Мы тотчас же вызвали Горького, которого Владимир Ильич давно уже не видел и нечто имел против него по тем заграничным недомолвкам, которые неминуемо создавались в пору тяжелых лет эмиграции на почве теоретических разногласий [2]. Но Владимир Ильич не знал личных отношений в общественных делах, а на Горького он скорее ворчал, чем сердился. «Будет очень хорошо,— подумал я,— что то огромное дело, которое сейчас обсуждалось, опять сблизит Алексея Максимовича с Владимиром Ильичем».

Горький вскоре приехал. Я сопроводил его в кабинет к Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич сосредоточенно сидел за своим столом, что-то соображая и тщательно проглядывая многие документы, лежавшие у него на столе, когда Алексей Максимович был введен мною в кабинет Владимира Ильича.

— Что это вы делаете? — сказал он, обращаясь к Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич быстро встал, дружески пожал через стол руку Алексея Максимовича и, посмотрев ему в упор в глаза, ответил:

— Думаю над тем, как бы получше перерезать кулаков, не дающих хлеба народу.

— Вот это оригинальное занятие,— ответил ему Алексей Максимович, садясь в кресло.

— Да, мы подходим вплотную к борьбе за хлеб, за самое простое человеческое существование,— ответил ему Владимир Ильич,— и мы должны все всеми мерами заставить тех, кто на голоде и смерти людей хочет умножить свои капиталы, отдать накопленное богатство, отдать накопленный хлеб для голодающих. Кулаки поднимают восстания, кулаки не хотят добровольно сделать и шагу в сторону народа, мы заставим их силой, отберем у них решительно все и уничтожим их, физически уничтожим, если они будут продолжать противиться распоряжениям правительства и желаниям рабочего класса.

Владимир Ильич говорил это отрывисто, энергично, с величайшей решимостью, и чувствовалось, что да, действительно, наступает момент борьбы не на живот, а на смерть за самое первое существование человека.

— Кто кого,— говорил Владимир Ильич, делая энергичный жест руками, словно руки его, сжатые в кулаки, должны бороться друг с другом,— или мы победим, или они нас, здесь другого выхода нет.

Разговор быстро перешел от этой политической темы на специальные вопросы устройства жизни, быта литераторов и ученых. Алексей Максимович подробно рассказал Владимиру Ильичу о тех ужасах жизни, которые приходится переживать и без того топкому, самому культурному слою нашего общества, выдающимся ученым и литераторам, которые решительно не приспособлены к борьбе за кусок хлеба. Он перечислил десятки имен, фамилий людей, которых уже нет, которые в этих ужасных условиях, создавшихся в Петрограде, погибли, умерли, перечислил всех тех, кто накануне того, чтобы умереть. Говорил о тех, кого еще можно спасти, подкормивши, позаботившись о них, и Владимир Ильич выслушивал все это с величайшим вниманием и напряжением. Он сказал Алексею Максимовичу, что надо сделать решительно все, чтобы помочь этим специалистам, литераторам и ученым пережить лихолетье нашего времени, и что он надеется, что Алексей Максимович, став во главе этого дела, сумеет со своими друзьями организовать все, как будет нужно, причем эту помощь, постоянную и упорную, он твердо обеспечивает своей поддержкой. И тут же Владимир Ильич сделал

мне распоряжение сообщить об этом председателю исполкома в Петроград, а также тов. Бадаеву и всем другим петроградским властям, а по Москве — в Наркомпрод Цюрупе, прося от его имени оказать самое большое и самое внимательное содействие для оказания помощи литераторам и ученым Петрограда, прежде всего, а потом Москвы и других городов.

— Ведь вот, только бы победить нам все эти интервенции, все эти внутренние восстания кулаков, помещиков и буржуазии, и тогда мы устроим так, что деятели науки, культуры, искусства и литературы — все будут обеспечены у нас так, как нигде в свете. Именно к нам будут ехать все ученые, чтобы делать всевозможные исследования, создавать лучшие лаборатории, при самых лучших возможностях исследований и постановки работ животрепещущих научных вопросов,— повторил он Алексею Максимовичу уже высказанную им мысль.

Эта беседа между Владимиром Ильичем и Алексеем Максимовичем затянулась на довольно долгое время. Алексей Максимович ушел оттуда, из кабинета Владимира Ильича, как мне это ясно представлялось тогда, вполне удовлетворенный, полный энергии и сил, довольный сердечной и откровенной встречей. ⟨...⟩

Беседа эта Алексея Максимовича с Владимиром Ильичем имела огромное воспитательное значение для нашего знаменитого писателя. Владимир Ильич рассказал ему много ужасных фактов, которые совершались в то время в нашей жизни. Ленин с особенной экспрессией, с болью в сердце, которые выражались в каждом его слове, в каждом движении, в негодующем и скорбном выражении лица, подробно сообщал Алексею Максимовичу только что полученные сведения о том, что в ближайшей к Уралу Западной Сибири, куда прибыли первые отряды рабочих для собирания излишков хлеба, чтобы снабдить Россию,— эти рабочие были встречены местными хуторянами, кулаками и зажиточными крестьянами самым отрицательным образом. Причем они проявили самую отвратительную, хуже чем зверскую жестокость и хитрость по отношению к рабочим, которые приехали к ним,— предполагая среди сибирских крестьян найти отзвук,—как братья к братьям. Так, в одном месте рабочие были положены на ночной отдых в хату, которая была так вытоплена, что в ней распространился силь-

нейший угар. Когда они, крепко заснувшие там, достаточно угорели, в эту хату ворвались вооруженные кулаки, напали на них, ножами вспарывали у живых животы, пользуясь тем, что они, угоревшие, не могли защищаться, и набивали их еще у живых, истекавших кровью, соломой, издеваясь и насмехаясь над умиравшими в страшных муках рабочими. В невероятных мучениях рабочие умерли там без всякого отзвука со стороны кого-либо из издевавшихся кулаков и их приближенных, под восклицания: «Вот вам и хлеб! Так получат и все остальные, кто к нам явится». Таких случаев было несколько, так что целому ряду первых небольших отрядов пришлось, спасаясь, быстро оттуда бежать.

Все эти сведения сосредоточены были у Владимира Ильича. Вот почему он решил послать туда, в Сибирь, значительные отряды, по-настоящему вооруженные ружьями, пулеметами, гранатами, всем, чем нужно, для того, чтобы истребить это кулачье сибирское племя, если оно не подчинится требованиям правительства.

Я почти ежедневно виделся с Алексеем Максимовичем во время его пребывания в Москве, которое продолжалось дней двенадцать. Он до такой степени был потрясен рассказами Владимира Ильича, что каждый раз возвращался к ним при разговорах и все спрашивал меня, не получаются ли у нас, в Управлении делами Совнаркома, еще подобные сведения. Я подобрал ему целый ряд донесений из разных мест России, где описывались эти невероятные жестокости со стороны отдельных кулаков, кулацких банд и белогвардейщины, переписал их и дал ему в копии.

Алексей Максимович на моих глазах преобразился, он тут впервые, вероятно, почувствовал всю серьезность социальной борьбы Октябрьской революции, когда класс пошел на класс, когда действительно выражение Владимира Ильича «кто кого» имело самое громадное, самое актуальное значение.

— Я никак не предполагал, что люди дойдут до такого зверства, как это кулачье,— не раз говорил он мне.— Я хорошо знаю наше крестьянство, знаю его жестокосердие и полное пренебрежение к чужой жизни, но то, что я вижу теперь и из рассказов Владимира Ильича, и из ваших рассказов, и из тех документов, которые я читаю,— сознаюсь, я этого не предполагал. Мне многое становится теперь понятным из рассуждений кое-кого, потом изъятых

ВЧК,— добавил он.— И я также понимаю, почему многие мои просьбы, с которыми я обращался к Владимиру Ильичу, остались без последствий. Враг действительно беспощаден, и мы,— я был счастлив слышать это «мы»,— должны быть к нему такими же.

Алексей Максимович уехал тогда из Москвы с огромным подъемом революционных чувств. Он несколько раз до отъезда виделся с Владимиром Ильичем. Во второе и следующие его посещения он говорил уже совсем иным образом и давал совершенно иные оценки ряду событий и ряду наблюдений над жизнью в Петрограде, чем это делал раньше.

Владимир Ильич был чрезвычайно рад слышать от него эти новые, полные революционного пафоса размышления и говорил всем нам, что Алексей Максимович, кажется, действительно серьезно понял значение Октябрьской революции, значение нашей борьбы, и он все ближе и ближе становится к нам. И, немножко подумав, сказал:

— Он будет наш, во что бы то ни стало. Я в этом не сомневаюсь. ⟨...⟩

Мы условились с Алексеем Максимовичем о тех необходимых отчетах, которые ему будет нужно представлять в Совнарком, и договорились о всех других вопросах. Причем он сообщил нам, что секретарем всей организации он назначит уже известного нам Львова (Клячко) [3], который действительно посвятил всего себя помощи ученым, литераторам и вообще интеллигенции. Владимир Ильич сделал распоряжение перевести на счет Алексея Максимовича довольно значительную сумму денег, которые нужны были ему для организации столовых, покупки необходимой мебели, посуды и проч.

Алексей Максимович хорошо организовал у себя в Петрограде не только самую помощь ученым, бесконечно благодарным правительству за ту заботу, которую стали к ним проявлять, но также прекрасно организовал и отчетность. Каждый месяц от него поступали бумаги с точным бухгалтерским отчетом всех израсходованных средств и материалов, а также целый ряд записок, в которых он пояснял все те дела, которые ему были поручены. Все эти документы тщательно мною сохранялись в архиве Управления делами Совнаркома, и их следовало бы обя-

зательно отыскать и препроводить в архив Горького при Академии наук [4].

Владимир Ильич постоянно справлялся как о деятельности ЦЕКУБУ, так, в частности, и о деятельности Алексея Максимовича и нередко выражал мысль, что вот каждому надо найти свое собственное дело.

— Вот посмотрите на Алексея Максимовича, который стоял как-то в стороне от нас и не входил ни в какую крупную организацию, теперь он весь заполнен этим большим, нужным и прекрасным делом.

Алексей Максимович благодаря этой своей деятельности довольно часто приезжал в Москву, всегда заходил к нам в Совнарком, виделся здесь с Владимиром Ильичем и очень радушно принимал нас у себя,— всех тех товарищей, которые как из Совнаркома, так и из Наркомпрода и других организаций имели к нему нужду по этому огромному делу. И решительно всегда он не упускал ни одного случая, чтобы не побеседовать о той действительности, которая сейчас творилась везде вокруг нас.

Несколько раз Владимир Ильич также посещал Горького на его квартире. Но, к сожалению, Алексей Максимович вскоре очень серьезно заболел воспалением легких, и доктора категорически стали настаивать, чтобы он переехал на юг.

Когда Владимир Ильич об этом узнал,— а он тогда тщательно следил за здоровьем Алексея Максимовича,— то он сейчас же написал ему убеждающее письмо, прося деятельность по ЦЕКУБУ передать другим лицам, а самому, как следует собравшись, уехать за границу [5], в Италию, на Капри, и распорядился приготовить ему и его семье заграничные паспорта, отдельный салон-вагон и выдать валюту и вообще сделать решительно все, чтобы он мог ехать за границу в самых лучших условиях.

К этому времени у Алексея Максимовича был подробно разработан каталог для намечавшегося им издательства «Всемирной литературы», которое он хотел осуществить за границей, издавая книги на русском языке в Берлине, с тем, чтобы их ввозить в Россию, так как тогда у нас было очень туго с бумагой и было очень мало надежд, что мы в скором времени в состоянии будем поправиться на этом фронте.

Когда Владимир Ильич узнал об этом, он сейчас же затребовал к себе этот каталог, подробно изучил его и сказал, что он сделан мастерски, что все, что здесь наме-

чено, конечно, должно быть опубликовано, что это крайне нужно для просвещения наших широких масс и что здесь особенно хорошо то, что в этом каталоге будущего издательства прекрасно разработан не только отдел русской литературы, но также отделы иностранной литературы в переводе на русский язык, что так необходимо для просвещения нашей страны.

— Я очень рад, что Алексей Максимович успел здесь у нас разработать это огромной важности дело и составить такой прекрасный каталог. Мы должны ему всячески помочь в этом деле. Это будет очень полезно для наших читающих масс и даст возможность Алексею Максимовичу применить свою энергию там, за границей, так как без практического дела он никогда не мог жить,— добавил Владимир Ильич.— Всегда он с чем-нибудь должен возиться: то журнал, то издательство. Вот и теперь, смотрите,— проработал какой великолепный список литературы.

В скором времени этот вопрос был поставлен на особом заседании в Малом Совнаркоме, и была выделена довольно значительная сумма в валюте для организации этого дела за границей[6].

А. К. ВОРОНСКИЙ

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ

(Из воспоминаний)

...В начале 1921 года, еще находясь в Иванове-Вознесенске [1], я решил испробовать свои силы на «толстом» литературно-художественном журнале. Закончилась победоносно гражданская война, и явилась возможность больше, чем прежде, уделять внимания искусству. Художественная проза почти отсутствовала, да и поэзия не могла похвалиться успехами. Отвлеченный схематизм «Кузницы» явно не удовлетворял [2]. Нужно было собрать старых и молодых художников слова, готовых работать на пользу Советской власти, и создать для этого соответствующую литературную среду. Все эти мысли я изложил Владимиру Ильичу, который нашел их вполне своевременными.

Я перебрался из Иванова, где редактировал «Рабочий край», в Москву и принялся за организацию ежемесячного журнала. Дело было нелегкое. И в государственном издательстве, и в кругах многих ответственных товарищей находили, что ввиду отсутствия бумаги, ввиду типографских неурядиц нельзя рассчитывать пока на периодический выход журнала. К тому же: каких писателей можно привлечь? Старые писатели в огромном большинстве Советскую власть «не приемлют», а своих пока что-то не густо. Такие и подобные мнения высказывались неоднократно. Я не соглашался с ними и продолжал искать поддержки у Владимира Ильича и у Надежды Константиновны, руководившей Главполитпросветом. Они-то и подали мне совет сблизиться с Горьким и привлечь его к редакционной работе.

Владимир Ильич сам предложил устроить у него предварительное узкое редакционное совещание, которое вскоре и состоялось. Было это в феврале месяце. На совещании присутствовали Владимир Ильич, Надежда Констан-

тиновна, Горький и я. Владимир Ильич только что закончил длительное заседание в Совнаркоме, торопливо пил вечерний чай; помимо нашего совещания, ему предстояло провести еще Совет Труда и Обороны. Несмотря на проведенный трудовой день, Владимир Ильич не выглядел уставшим, оживленно поддерживал разговор, расспрашивал, щурился и посмеивался. Горький косил острым плечом и не сводил глаз с Владимира Ильича, вбирая в себя его движения и всю его крепкую, сильную фигуру. Владимир Ильич был очень внимателен к Горькому, справлялся о здоровье, о том, над чем он работает, и когда Горький заметил, что работать, как ему хочется, не удается и что мешают разные бытовые докуки, Владимир Ильич покачал головой и стал уговаривать Горького от докук поскорей избавиться и писать, писать; тут он сделал энергичное движение рукой над столом, поясняющее слова. Между прочим, Горький привез с собой в подарок Владимиру Ильичу пачку книг, изданных им, Горьким, совместно с Гржебиным в Берлине [3]. Книги вышли на русском языке и при материальном содействии Советской власти. Владимир Ильич бегло перелистал книги. Мне бросилась в глаза его манера перебирать книги. Запоминалось невольно и как он брал книгу, и как заглядывал в нее, и как быстрым движением отбрасывал ее в сторонку.

Все это было непринужденно, энергично, легко. Чувствовалась и любовь к книге, и умение составить о ней представление, пробежав оглавление, несколько строк, взглянув на рисунки, чертежи,— и прочная привычка в обращении с печатным словом. Владимир Ильич одобрительно отозвался о работе по паровозостроительному делу, перелистал сборник древних индийских сказок. Книга была превосходно издана. Горький стоял около Владимира Ильича, угловатый, высокий, со впалой грудью, с землистым лицом, между тем как Владимир Ильич, сидя в кресле, походил на круглый сгусток живой и подвижной силы. В тот момент Горький показался мне похожим на ученика пред учителем, не строгим, но авторитетным и подчинявшим себе всей своей творческой личностью. Сощурившись и показывая на книгу сказок, Владимир Ильич сказал, скрадывая букву «р» или, вернее, как-то по-своему выговаривая ее:

— По-моему, это преждевременно.

Горький ответил, подавшись к Ленину и сильно напирая на «о»:

— Это очень хорошие сказки.

Владимир Ильич:

— На них тратятся наши советские деньги.

Горький:

— Книга обошлась нам недорого.

Владимир Ильич:

— На это идет наша золотая валюта. У нас ее мало. А стране угрожает голод.

Горький подергал себя за ус, ничего не ответил, скосил еще сильнее плечо, опираясь на книгу, поставленную ребром на стол.

Две правды: один словно говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой же, Ленин, отвечал: «Но если в хлебе нехватка...» (...)

О «Красной нови» было решено, что ответственным редактором журнала буду я, журнал будет издаваться Главполитпросветом, а печататься в Гос. издательстве. Горький дал согласие редактировать художественный отдел.

Спустя несколько дней я зашел к Алексею Максимовичу в Машков переулок переговорить более обстоятельно о журнале. Встретил он меня на этот раз не слишком приветливо. Я и потом не однажды замечал, что Горький бывал неровен с людьми. Нередко такие неровности, возможно, зависели от болезненных состояний Горького: ведь он страдал застарелым туберкулезом и дышал лишь одним легким. В данное же свидание повод к нелюбезному и ворчливому обращению подал я, обнаружив большую горячность в делах редакционных, но без достаточной в них осведомленности. Горький это заметил, стал барабанить пальцами по столу, глядеть куда-то в сторону и отвечать отрывисто и неприязненно. Я ушел от него огорченный и больше недели не показывался к нему, хотя обстоятельства требовали свидания.

В последующий раз Алексей Максимович встретил меня необыкновенно приветливо. Потирая руки и улыбаясь в густые усы, он подробно расспрашивал, как подвигается редакционная работа. Речь зашла о привлечении в журнал прозаиков и поэтов.

— Поэтов поищите сами,— вымолвил Горький,— а прозаики молодые есть в Петрограде. Там образовалось содружество писателей «Серапионовы братья» [4]. Человечки они, безусловно, одаренные. Есть, например, среди них Всеволод Иванов. Сибиряк, голова большая, круглая; скуластый, глазки маленькие, азиатские; волосы густей-

шие, стоят эдакой копной, прямо идолище. Этот Всеволод Иванов уже много побродил по свету, многое видел и испытал. Талантлив, бестия, хотя и сыроват еще. Непременно сойдитесь с ним поближе. Кстати: я скоро побываю в Петрограде, постараюсь кое-что получить для журнала от «Серапионовых братьев»... Разыщите также Бориса Пильняка, тоже талантлив, но бывает и непутев.

Я заметил Горькому, что Пильняка знаю по сборнику рассказов «Былье» и по некоторым другим его рассказам; о нем писал в «Рабочем крае».

— Обязательно его привлеките. Живет в Коломне... Хорошо чувствует уездное... Следует также найти Подъячева и Ивана Вольнова. Знают деревню и пишут о ней без прикрас.

Я ушел от Горького, нагруженный советами и пожеланиями. С тех пор у нас установились простые и дружеские отношения.

Вскоре Алексей Максимович уехал в Петроград и прислал повесть Всеволода Иванова «Партизаны», а также еще несколько рукописей: драму Лунца, рассказы Николая Никитина и Михаила Зощенко. «Партизаны» были написаны от руки на серой и разлинованной поперек бумаге с изобильными стилистическими и орфографическими ошибками. Это была первая вещь, в которой не отвлеченно, а вполне наглядно, живо и талантливо, со знанием изображалась сибирская партизанская вольница. Горький пометил на рукописи, чтобы я ее выправил. Я немало поработал над ней. Настоящее огорчение доставила мне драма Лунца «Вне закона» с явным анархическим настроением и с индивидуалистическим духом. Когда Горький приехал из Петрограда, я долго не решался сказать ему, что драму печатать — особенно в первых номерах журнала — нельзя; но в конце концов мне пришлось ему это сказать. Горький нахмурился, забарабанил пальцами по столу.

— Как хотите... Как хотите... Мое дело — сторона...— Он замолчал и глядел мне в переносицу. Но у меня в запасе был «ход». Я сообщил Горькому, что мне удалось получить от Ленина пространную статью «О продналоге» [5] и что я располагаю статьями Н. К. Крупской, М. Покровского ⟨...⟩ и некоторых известных ученых. Горький сразу повеселел, особенно когда узнал о статье Владимира Ильича.— На драме Лунца,— сказал он мне в заключение,— не настаиваю, человек он совсем молоденький, но чертовски талантлив.

...Хлопот с журналом было не обобраться. Государственное издательство не располагало бумагой; типографии работали с большими перебоями. Книги находились в производстве по два года. В стране свирепствовали тиф и голод. Гонорар за авторский лист Главполитпросвет установил нищенский, шестьдесят тысяч рублей, т. е. приблизительно 2 руб. 60 коп. Чтобы привлечь сотрудников, надо было добывать пайки, платить за рукописи натурой. За получением этой натуры я обратился в Президиум ВЦИК и выхлопотал на имя Горького записку в хозяйственный отдел, где мне должны были выдать масла, сахару, мяса, консервы. В хозотделе ВЦИК некий тов. латыш, фамилию его я забыл, ознакомившись с запиской, весьма неодобрительно покачал головой.

— Почему так много выдается одному человеку? Пуд масла, пуд сахару, три пуда мяса. Еще мед. На что Горькому столько продуктов? Мы Ленину столько не выдаем.

Желая скорее закончить разговор, я ответил:

— Горький болен.

— Если он болен,— рассудительно ответил латыш,— то у нас есть на то особая больничная норма. Согласно этой норме мы и выдадим Максиму Горькому продукты.— И он потянулся к листку, на котором были напечатаны больничные нормы. В результате он отказался выдать мне продукты. Пришлось вновь обращаться в Президиум ВЦИК, откуда долго уламывали строптивого и неукоснительного хозяйственника. Выдавая мне затем положенное, тов. латыш все же меня урезал кое в чем по своему усмотрению. Мешки с продуктами пришлось на плечах перетаскивать за кремлевские ворота и оставлять под присмотром часовых. С трудом нашел я извозчика и перевез добычу к себе в номер, в 1-й Дом Советов. Но тут, на беду, наступила неожиданная оттепель, продукты за окнами и на подоконниках стали распускаться, все потекло. На паркетном полу от мяса образовалась розовая лужа. С тупым ужасом глядел я на нее и поспешил к Алексею Максимовичу поделиться огорчениями. Вечером мы старательно распределяли продукты среди ученых и других сотрудников журнала: 4 фунта сахару, 1 фунт меду, 5 фунтов мяса, 2 фунта масла и т. д.,— так, примерно, приходилось на человека. Алексей Максимович был обойден в этом распределении, хотя жил он тогда отнюдь не богато, за стол же у него всегда садилось всякого народу довольно много.

Случилось, я проходил по Александровскому парку [6].

Погожий летний день голубел и сиял, несмотря на городскую пыль и копоть. Кремль высился как древняя овеществленная сага. Готика, Византия, Азия, Европа, Русь были причудливо вплетены в каменную корону. Как в давно минувшие времена, чудесные башни стояли верными дозорными, но теперь они сторожили краснознаменную отчизну. Под липой, источавшей упоительный кисловатый запах, сидел Горький; ссутулившись, он курил папиросу и оглядывал прохожих. Он был в мягкой широкополой шляпе. Здесь впервые мне бросилось в глаза, что в профиль Горький напоминает некоторые портреты Ницше своими густыми, опущенными книзу усами, твердым подбородком, глубоко сидящими глазами, выдающимися скулами, резкими, костлявыми чертами лица. Откинувшись к спинке скамьи, он внимательно оглядывал прохожих.

Я подошел и спросил, почему он забрел в парк.

— Ходил обедать в кремлевскую столовую, сюда заглянул отдохнуть... Сдает старик, сдает... Одышка и вообще... Всякие напасти. Доктора говорят, надо бросить курить. А мне все кажется, брошу курить и тогда сразу помру; помирать же мне пока неохота.

Он вдруг повеселел, улыбнулся, обнял меня слегка за плечо.

— Эх вы, человечина! Вы знаете... того...— Он не докончил. Чем-то хорошим и теплым повеяло от всей его фигуры...— Да... так вот...

Был в этих словах большой и значительный смысл, заражающий доверием и расположением и к летнему дню, и к кремлевским стенам, и к липам, и к мелькавшим по дорожкам курсантам, и к этому высокому, угловатому и громоздкому с виду человеку.

— Да, те же доктора, например, говорят еще, что мне весьма даже своевременно прогуляться за границу, посидеть в Италии. Не вредно будто бы для здоровья. Опять же и писать надо. А здесь все никак не удается сесть как следует быть за работу. Скоро уеду... Как смотрит на это дело товарищ Ленин? Одобряет и обещает содействие [7].

Я проводил Алексея Максимовича до Машкова переулка. Шел он, скосив плечо и подаваясь вперед, надвинув шляпу на лоб, он избегал встречаться взглядами с прохожими. Мне показалось, что ему делалось неприятно всякий раз, когда его узнавали и глазели на него.

В недолгом времени, осенью, Алексей Максимович действительно уехал за границу [8].

II

А. И. МИКОЯН

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

⟨...⟩ Первая моя встреча с Горьким состоялась в декабре 1920 года в Москве, на квартире вдовы Степана Шаумяна — Екатерины Сергеевны. В ту пору она жила со своими детьми в III Доме Советов в бывшем Божедомском переулке, ныне Делегатской улице. Тогда я приехал в Москву в качестве делегата Восьмого Всероссийского съезда Советов от Нижнего Новгорода. Инициатором этой встречи был легендарный Камо — Семен Тер-Петросян. Он незадолго до этого познакомился с Алексеем Максимовичем [1] и сразу воспылал к нему нежными чувствами. Старая дружба связывала Камо и с Анатолием Васильевичем Луначарским. В эти трудные, холодные и голодные дни Камо решил порадовать старых друзей и повкуснее угостить их. С давних пор Камо знал, какие вкусные кавказские блюда умела готовить Екатерина Сергеевна. Он пришел к ней и сказал: «Если я достану все, что нужно, вы приготовите хороший плов и ваши, тающие во рту, слоеные пирожки?» Екатерина Сергеевна, конечно, сразу согласилась, но с недоумением спросила: «Камо, где же ты достанешь продукты?»

Не знаю, где и как, но Камо раздобыл рис, мясо, масло, муку. У друзей, только что приехавших из-за границы, он достал две бутылки французского коньяка. И вот в назначенный день, взяв машину у Авеля Енукидзе, Камо стал свозить гостей к Екатерине Сергеевне. Сначала он привез Алексея Максимовича и Луначарского, потом Миха Цхакая, Филиппа Махарадзе и Сергея Яковлевича Аллилуева. Затем приехал и Енукидзе. Пока Камо собирал гостей, Алексей Максимович и Анатолий Васильевич сидели

в комнате и оживленно беседовали. Тут же были Лев Шаумян и я. Горький неторопливо, обстоятельно, со своим глуховатым, характерным волжским оканьем говорил о молодых писателях и внимательно прислушивался к рассказам Луначарского о литературных делах. К Анатолию Васильевичу Горький относился с большой теплотой и уважением — он высоко ценил его талант и обширные знания во всех областях культуры.

Я в разговоре не участвовал, пока ко мне не обратился Горький с вопросом:

— Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там делается в литературной жизни?

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ему ответить — мне тогда не приходилось сталкиваться с литераторами. Выручил Лев Шаумян, который рассказал о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он недавно встречался в Тифлисе, где еще господствовали меньшевики. Шаумян говорил, что эти поэты выступают с лекциями, читают свои произведения, настроены просоветски и ведут себя хорошо.

Екатерина Сергеевна пригласила всех к столу. Аккуратно была разложена на нем разномастная посуда: тарелки, кружки, чашки, стаканы разных цветов и размеров — все, что удалось собрать у соседей. За стол уселись молча, но бурное оживление наступило, когда был подан мастерски приготовленный Екатериной Сергеевной плов, а за ним появились и слоеные пирожки. Авель Енукидзе был виночерпием и разливал коньяк с учетом возможностей и потребностей каждого: кому немного — на донышке, кому побольше, а Алексею Максимовичу налил полный стакан. Началась оживленная беседа.

Алексей Максимович медленно, маленькими глотками, по-европейски, попивал коньяк. Он задумался, как бы что-то вспоминая, и рассказал историю, которая произошла с ним много лет назад в одиночной камере Метехского замка. Он не назвал года и месяца, но было это, как удалось уточнить, в 1898 году. И вот недавно вместе с Л. Шаумяном мы постарались восстановить в памяти рассказ Алексея Максимовича.

Был какой-то праздник [2]. Возможно, Троицын день. Всем арестованным принесли с воли передачи — вкусную еду и даже вино. Из камер неслись громкие голоса пирующих, песни. Алексей Максимович хмуро ходил в своей одиночке из угла в угол. Не было у него близких, никто

ему ничего не принес. Надзиратель, добродушный человек, шагал по тюремному коридору, время от времени заглядывал в «волчок», сокрушенно, сочувственно покачивал головой. Потом на некоторое время надзиратель исчез. Оказывается, он бегал домой — жил он во дворе тюрьмы. Зазвенели ключи, заскрипели дверные засовы, и на пороге камеры появился надзиратель. В одной руке у него был глиняный горшок с горячей долмой *, в другой — большая кружка с красным вином. Как бы стесняясь, не глядя в глаза, надзиратель буркнул, ставя на стол свои приношения: «На, ты тоже гуляй»,— и быстро вышел.

Алексей Максимович сказал, что он часто вспоминает этот случай. И не мог не вспомнить его сейчас, поедая вкусный плов Екатерины Сергеевны.

Помнится, вечер был очень интересным. Миха Цхакая рассказал какой-то забавный случай, связанный с одним из его путешествий. Алексей Максимович от души хохотал. Камо по своему обыкновению шутил и оживлял разговор бесконечными историями, которых он знал великое множество.

Вот так происходило мое первое знакомство с Горьким — писателем, который уже давно был мне дорог по замечательным книгам, находившим особый отзвук в сердцах революционеров. Я впервые читал «Мать» еще на ученической скамье и становился как бы соучастником борьбы рабочих. А «Песню о Буревестнике» мы знали наизусть, декламировали в школьных кружках. Она для нас стала Песней революции — на всю жизнь.

С тех пор я не видел Горького до 1928 года. А когда он вернулся на родину, я нередко виделся с ним и один, и вместе с товарищами из Политбюро. Бывал у него дома на Малой Никитской и на даче в Горках.

Хорошо помню, с какой любовью Алексей Максимович рассказывал о Шаляпине,— за границей они часто встречались. Горький говорил, что Шаляпин должен вернуться на родину, что он тоскует по ней. Но проходило время, а Шаляпин не приезжал...

— Да,— как-то заметил Горький,— у Шаляпина словно две души: одна рвется на родину, а другая принадлежит его импресарио, гастрольным поездкам, деловым и коммерческим интересам.

---

* Кавказское блюдо вроде голубцов. *(Примеч. А. И. Микояна.)*

Горький был полон впечатлений о том, что он увидел на родине после долгой разлуки. Его буквально потряс могучий размах строительства, трудовой подъем и энтузиазм масс. Новое в Стране Советов было постоянной темой разговоров Горького. Но самое сильное впечатление на Алексея Максимовича, в особенности после его известной поездки по стране [3], произвели новые люди. Помнится, с каким восторгом рассказывал он и о своем пребывании на Кавказе. В Грузии Горький бывал и прежде, хорошо знал эту страну и ее людей. Поэтому огромные успехи грузинского народа в развитии экономики и культуры особенно его радовали. Он говорил об этом с необыкновенным вдохновением. Армению Горький посетил впервые, хотя знаком был с ней по произведениям армянских писателей — ведь под редакцией Максима Горького еще в годы первой мировой войны в Петрограде вышел сборник армянской литературы [4]. И вот теперь он увидел эту некогда нищую землю, которую в годы дашнакского разгула называли страной сирот и слез [5]. Армения предстала перед Горьким обновленной, устремленной вперед. Его радовал и расцвет ее литературы. Алексей Максимович всегда с глубоким уважением и горячим интересом относился к литературам других народов, и это сплачивало вокруг него писателей всех наших национальных литератур.

Из своей знаменательной поездки по Стране Советов Горький возвратился каким-то преображенным, обновленным, полным ярких впечатлений и идей. Он с головой погрузился в кипучую деятельность. Можно смело сказать, что в то время не было ни одного сколько-нибудь важного начинания в области культуры, не связанного с именем Горького. Надо ли напоминать читателю о журналах, книгах, коллективных изданиях, самых различных творческих мероприятиях, рожденных по инициативе Алексея Максимовича.

Вспоминается такой случай. Однажды (это было в 1932 году) я в числе других товарищей навестил Горького на Малой Никитской, когда у него находились двое ученых-медиков — Л. Н. Федоров и А. Д. Сперанский. Горький оживленно беседовал с ними на медицинские темы. Как выяснилось, речь шла не о развитии практического, если можно так сказать, здравоохранения — то есть не о строительстве новых больниц, санаториев и пр. Темой разговора, который имел большие последствия, было бу-

дущее самой медицинской науки, в частности — проблема долголетия. Горький говорил, что наука плохо знает человека, не умеет бороться со старением организма — и люди часто умирают в расцвете духовных сил, когда они так много могут сделать для общества. Горького очень волновало, что у нас тогда было мало медицинских научных учреждений, в особенности академического типа. Именно тогда Горький выдвинул идею организации Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Это предложение ЦК принял, институт был создан, и впоследствии ему присвоили имя Максима Горького[6]. Как известно, в годы войны на базе ВИЭМа была создана Академия медицинских наук, ставшая ныне крупнейшим в мире центром медицинской науки.

Постоянный, неослабевающий интерес Алексей Максимович проявлял к детям, проблемам их воспитания, образования. Известны его посещение Куряжской колонии под Харьковом и та роль, которую М. Горький сыграл в судьбе воспитанников Макаренко и самого Макаренко как писателя [7]. Горький с восхищением рассказывал об этой колонии, о Макаренко. Не раз он обращался ко мне как к народному комиссару снабжения с просьбами об оказании всяческой помощи детям, в частности, увеличении пайков в детских колониях и санаториях. Просьбы и предложения Горького всегда были обоснованы, его доводы — вески и убедительны.

Здесь мне хочется сказать вообще о стиле, в котором Горький вел свои разговоры и беседы. Он никогда не торопился, не горячился во время беседы — говорил спокойно, размеренно, словно взвешивая каждое слово, умел внимательно слушать, проявляя неизменный и живой интерес к собеседнику. Алексей Максимович считал себя плохим оратором («писать кое-как научился, а говорить вот не умею»). Можно соглашаться или не соглашаться с мнением самого Горького о его ораторских способностях, но что собеседником он был исключительным, в этом сомнения быть не может.

Отзывчивость Горького была поразительна. Сколько людей обращалось к нему по разным делам — личным и общественным, и он, несмотря на свою перегруженность, всегда находил время и силы отозваться на каждую просьбу. Ну, а уж что касается литературы, творческой судьбы молодых литераторов — здесь Алексей Максимович был бесконечно, по-отцовски заботлив.

Как-то в воскресный день, придя к Алексею Максимовичу, я застал его за работой. Он читал с карандашом в руке какую-то толстую рукопись. Его стол был завален рукописями, конвертами со всех концов страны — из Сибири, с Урала, Дальнего Востока, Кавказа. Горький сразу же заговорил о молодых, делающих первые шаги в литературе:

— У нас море талантов. Надо только помочь им пробиться. И здесь — святая обязанность наших старых писателей вовремя заметить, поддержать. Очень это важно — заметить!

Кто же, как не Максим Горький с его моральным, общественным и литературным авторитетом, мог возглавить и сплотить советских писателей в единую творческую организацию. Помню, на даче у Горького члены Политбюро уговаривали его стать во главе творческого союза, учитывая, что писатели настоятельно хотят этого и что другой, более подходящей кандидатуры нет. Горький сомневался, сумеет ли он справиться с массой организационных дел, связанных с деятельностью союза. Тогда Сталин предложил Горькому подобрать любого работника, который мог бы помочь ему во всей этой практической деятельности. Горький сказал, что высокого мнения об организаторских способностях А. Щербакова, с которым встречался в Нижнем Новгороде, где тогда Щербаков работал в губкоме партии, и хотел бы видеть его на посту секретаря Правления Союза писателей. Как известно, так это и произошло... [8] ⟨...⟩

С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И УЧЕНЫЕ

Представителям науки есть чем и за что помянуть в эти юбилейные дни Максима Горького, влюбленного в науку и доказавшего на деле эту любовь своим отношением к ее представителям — ученым. Они любят и ценят великого художника, они благодарны ему за его творения, но они не могут не вспомнить его в эти дни по совершенно особенному поводу.

В 1918, 1919, 1920 годах ученые гибли один за другим, не выдерживая небывалого напряжения жизни и тяжелых лишений того исключительного времени. И тогда два человека подняли свой голос перед страной — Ленин и Горький, они громко провозгласили, что страна, идущая по великому пути нового, социалистического строительства, не может терять тех, кто составляет ее мозг, тех, на работе которых должно основываться новое строительство. Тогда был создан так называемый ученый паек [1].

В современных условиях жизни может показаться странным, что этому пайку придавалось такое громадное значение, но те, кто еще сохранил отчетливое воспоминание о голодных годах, понимают, в чем была главная трудность. Голодали все, а удовлетворить в сколько-нибудь значительной мере можно было лишь немногих. Трудно было в такой обстановке производить выбор.

Нужны были беспредельный авторитет Ленина и громадная популярность Горького, чтобы сделать возможным выдачу «ученого пайка». Ведь на глазах у голодных масс, поставивших себе задачей уничтожить все преимущества и привилегии, создан был этот исключительный паек. Многие близорукие люди, даже из ученых, не пони-

мали тогда, что этот поход за науку, который с такой убежденностью и энергией вел Горький, нужен был прежде всего для того, чтобы можно было накормить ученого, спасти его от смерти. Громадная сила Горького в этой борьбе состояла в его безграничной преданности науке. В этом отношении у него было то, что мы называем целевым подходом, необыкновенно важным особенно в то время, когда, выражаясь словами одного отчета, «ценность одного фунта черного хлеба почти не поддавалась никакому учету, так как она подчас становилась равносильной ценности самой жизни».

Алексей Максимович часто вспоминал в те дни, и притом с глубокой благодарностью, о человеке совсем еще молодом, который всего себя посвятил делу снабжения населения. Это был Артемий Багратович Халатов. «Вы знаете,— как-то раз сказал мне Горький,—что это за человек, Халатов. Через него идет все это громадное питание масс, а его собственная семья зачастую сидит впроголодь» [2].

Надо к этому прибавить, что больной и слабый Горький в те дни тоже далеко не всегда мог сказать, что он действительно сыт. Как жаль, что нам тогда было не до записей и не до истории, а то сколько бы интересных, ценных и трогательных фактов мы могли бы привести из жизни Горького в те тяжелые дни.

Горький хорошо сознавал, что одного пайка мало, что ученый, если действительно должен жить, может жить лишь в атмосфере умственной работы и что для этого ему нужны книги и лаборатория. Настойчиво и упорно Горький заботился о том, чтобы из-за границы выписывались научные книги, лабораторные принадлежности и материалы, он даже начал поговаривать о командировках наших ученых за границу. Каким естественным и сравнительно простым это кажется теперь, а как бесконечно сложно и трудно это было тогда! При всем общем доброжелательном отношении правительства к ученым очень сильно было еще недоверие к ним. Горький начал хлопотать о том, чтобы разрешали ученым выезжать в командировки за границу.

Увы, нельзя скрыть того факта, что немалое число наших ученых соблазнилось и воспользовалось командировками для бегства с родины, но с гордостью мы имеем право сказать — и Горький любил и любит повторять это,— что наши ученые в своей массе выдержали и голод, и холод, и тяжелую нужду, и недооценку их ра-

боты, и зачастую пренебрежение к ней, выдержали все и остались верны своему народу. Горький всегда прибавлял: «И народ не забыл и не забудет этого, и если он может быть гневным, жестоким и мстительным, он умеет быть и благодарным и любящим». Может быть, Горький когда-нибудь изложит свои чувства и мысли об ученых [3], и тогда ярко встанут многие образы скромных, но сильных своею работой ученых, которые теперь покрыты волнами забвения.

Горький любил говорить: «Мы недостаточно сознаем, что живем среди героев». Среди этих героев Горький считал одними из первых наших ученых. Припомню некоторые его разговоры. «Обратили вы внимание на такого-то,— он назвал известное имя.— Я знаю, что у него и вода, а иногда и чернила замерзают в комнате, топить, разумеется, нечем, а он пишет, почти не отходя от стола, свою работу; а ведь будет ли она еще отпечатана. Ну разве это не герой». Горького всегда волновало, что много выдающихся, может быть, и замечательных работ лежит под спудом и не может печататься за отсутствием средств. И здесь он много хлопотал и помогал, и не одна научная книга вышла в те годы в свет только благодаря ему.

Когда пошатнувшееся здоровье заставило Горького уехать за границу, наши ученые знали, что они теряют верного товарища и друга. Теперь мы скоро ждем его на родину [4]. Он, наверное, с гордостью взглянет на все, что сделала наша наука за эти годы, он должным образом оценит громадную работу, проделанную научными работниками, и вместе с ними порадуется нашим научным достижениям.

Передо мною лежит только что полученное из-за границы письмо ученого, строго в общем относящегося к нашей работе и указывающего мне на то, насколько лаборатории за границей лучше, чем у нас, особенно в наших вузах. Он кончает свое письмо словами, которые порадуют Горького: «А между тем такого расцвета ученых в точном знании, как у нас, здесь нет и помину».

Это драгоценные слова, и я знаю, что они верны. А если это так, то много для этого в те трудные годы сделал Горький.

Ю. М. ЮРЬЕВ

ИЗ «ЗАПИСОК»

Еще в первый сезон моего пребывания в Александринском театре, а именно в 1893 году, я не раз встречался с Марией Федоровной на интересных «субботниках» в доме ее отца Федора Александровича Федорова-Юрковского, тогда главного режиссера Александринского театра. Мария Федоровна, если не ошибаюсь, еще не была тогда профессиональной артисткой, а только пробовала свои силы в спектаклях Московского общества искусства и литературы, своего рода Alma mater Константина Сергеевича Станиславского [1]. Когда же организовался Московский Художественный театр, она вступила в его труппу и, обладая прекрасными сценическими данными и большой общей культурой, заняла там весьма видное положение. Но, увлеченная Алексеем Максимовичем Горьким, она покинула сцену и вместе с Горьким уехала за границу.

В продолжение всего этого периода мне не приходилось с нею встречаться, и только спустя много лет, весной 1918 года, я случайно повстречался с Марией Федоровной на Невском, близ Публичной библиотеки. Она только что была назначена комиссаром петроградских театров и очень озабочена предстоящей работой [2].

В беседе с М. Ф. Андреевой речь зашла и о нашем только что прошедшем в цирке «Царе Эдипе». И я тут же поведал ей о дальнейших моих планах создания Театра трагедии [3]. М. Ф. Андреева в высшей степени заинтересовалась идеей проектировавшегося мною театра, и мы сами того не заметили, как, стоя среди снующей взад и вперед толпы, проговорили с ней на эту тему, пожалуй, никак не менее получаса.

Нельзя сказать, чтоб место нашего разговора было очень подходяще, и мы решили продолжить нашу беседу уже не на ходу, чтоб более подробно ознакомить М. Ф. Андрееву с тем, как я представляю себе в перспективе будущее театра и что я намерен предпринять для реализации его. Для этой цели М. Ф. Андреева пригласила меня к себе — было решено встретиться в ближайшие дни. ⟨...⟩

В условленный день, к вечеру, я был у нее. Проживала она тогда вместе с Алексеем Максимовичем Горьким почти рядом со мной (моя тогдашняя квартира — по Каменноостровскому, ныне Кировскому проспекту, № 1/3, а квартира Горького — по Кронверкскому, ныне Горьковскому проспекту, угол Каменноостровского).

Застал я Марию Федоровну в столовой в роли гостеприимной хозяйки. Она сидела за самоваром и разливала чай сидящим за большим столом, во всю длину комнаты. За столом было не менее десяти — двенадцати человек, среди них и мне знакомы: Владимир Алексеевич Щуко, Александр Иванович Таманов, Мстислав Валерианович Добужинский, Василий Алексеевич Десницкий-Строев, Валентина Михайловна Ходасевич. Шел оживленный разговор. Всех волновали революционные события, вокруг которых и сосредоточивался общий интерес.

Алексей Максимович отсутствовал: он был тогда нездоров. Но Мария Федоровна успела меня предупредить, что она ознакомила Алексея Максимовича с проектом создания Театра трагедии и что Алексей Максимович в высшей степени заинтересовался моей идеей и хочет поговорить со мною по данному вопросу, а потому просила меня несколько задержаться, чтобы потом, когда все разойдутся, пройти к Алексею Максимовичу.

Я был необыкновенно рад случаю познакомиться с Алексеем Максимовичем, а тем более поговорить с ним на тему, так захватившую меня. Все же должен сознаться, что мысль, что вот-вот сейчас мне придется встретиться с человеком, который все время для меня был в каком-то ореоле, до некоторой степени волновала меня, но одновременно заставляла еще с большим нетерпением ожидать самой встречи.

Спустя некоторое время стали расходиться. Мария Федоровна, сказав, что она идет к Алексею Максимовичу предупредить о моем приходе, скрылась за дверью.

Я остался один в комнате.

Обстановка столовой простая, но добротная. На сте-

нах ничего лишнего. Только на левой стороне от входа, ближе к окну, висел большой портрет хозяина дома в натуральный рост в летнем светлом костюме, без пиджака, в одной рубахе с расстегнутым воротником. Портрет на фоне южного пейзажа кисти Бродского [4].

Вскоре раздались шаги Марии Федоровны — и она вошла, чтоб пригласить меня к Алексею Максимовичу.

Мы прошли в довольно большую смежную комнату. Подробности ее я теперь уже смутно представляю — запомнил лишь, что там было много книг. Даже посреди комнаты большой стол и тот весь, что называется, до отказа был завален книгами, журналами, художественными изданиями, альбомами. Мне особенно запомнился этот стол, так как впоследствии, когда я стал довольно часто бывать в доме Алексея Максимовича, я заметил, что Алексей Максимович необыкновенно как трогательно и, я бы сказал, любовно демонстрировал свои подчас редчайшие экземпляры различных изданий и старинных альбомов.

Не задерживаясь в этой комнате, мы прошли в следующую — спальню Алексея Максимовича.

Обстановка в высшей степени скромная. Мебели немного. Несколько правее от входа по противоположной стене — металлическая кровать, на которой спал Алексей Максимович. При моем появлении он немного приподнялся и, протянув мне руку, пригласил сесть близ него, у постели. Мария Федоровна поместилась тут же, немного поодаль.

— Вы меня уж извините, что я в таком неподобающем виде,— заговорил он.— Ничего не поделаешь, хворость одолела.

Обменялись несколькими незначительными фразами, какие обычно бывают при первом знакомстве.

Мы не сразу подошли к теме — разговор наш долго вращался вокруг совершавшихся тогда политических событий, интерес к которым невольно отвлекал нас от цели моего посещения.

Октябрьская революция вызвала в высшей степени сложную перестройку сознания известной части интеллигенции, тогда еще по существу малоискушенной в политических и общественных вопросах, никогда не поощрявшихся при прежнем режиме. В данном случае и я не являлся исключением: сочувственно, радостно приняв революцию, я, признаюсь, растерялся, когда началась переоценка культурных ценностей прошлого.

Вышел я из среды московской интеллигенции, принадлежавшей к литературному миру восьмидесятых — девяностых годов, где доминировало главным образом толстовское влияние, и ничего нет удивительного, что и я причислял себя к приверженцам Льва Николаевича Толстого.

Совершавшаяся революция сразу вплотную столкнула всех нас с запросами совершенно иного порядка и заставила интенсивно жить требованиями своего времени, большею частью не имевшими ничего общего с теми устоями, которые складывались и укреплялись в продолжение всей моей сознательной жизни. На первых порах трудно было ориентироваться в том, что происходит кругом, и я чувствовал себя совершенно неподготовленным к восприятию новых форм возникавшей революционной действительности.

Мне было ясно, что революция — явление исторически закономерное, но по какому пути будет развиваться ход дальнейших событий и как в них найти свое место — это еще пока как для меня, так и для многих была «закрытая книга».

Я совершенно откровенно высказал все это Алексею Максимовичу.

Я несколько опасался эа то впечатление, которое на него произведет такая моя откровенная исповедь, и, по правде говоря, для меня было до некоторой степени неожиданностью, когда вдруг я услышал от него такие приблизительно слова: события так необычайны, что трудно их сразу освоить и трудно предугадать, во что они выльются назавтра...

Далее Алексей Максимович развивал такую мысль, что для создания нового человека недостаточно организовать только мысль, необходимы организация воли, воспитание, развитие и углубление чувств. Мы должны озаботиться, чтоб рядом с политическим воспитанием народа непрерывно развивалось и его моральное, этическое воспитание. Только при этом условии наш народ будет совершенно освобожден, только этим путем он уйдет из плена старого быта, только при наличии новых чувств он поймет и сознательно поставит воле своей новые цели. Каждый из нас не может оставаться сторонним наблюдателем происходящего, а по мере своих возможностей должен пытаться принимать участие в общем движении и но своему разумению помогать росту в человеке человечности.

Мысль о «росте человечности в человеке», насколько я мог тогда понять, особенно занимала в те дни Алексея Максимовича. Необходимо научить людей любить, уважать истинно человеческое,— подчеркивал тогда Алексей Максимович. Надо, чтобы они умели гордиться собой. Этому человеку необходимо показать другого, о котором он сам и все мы издавна мечтаем: человека-героя, страстно влюбленного в свою идею.

— Вот мне Мария Федоровна говорила, что вы задумали неплохое дело... Как раэ, по моему разумению, нужное нам сейчас...— И Алексей Максимович как-то сразу переключил наш разговор на долгожданную тему о Театре трагедии.

Доказывать Алексею Максимовичу и Марии Федоровне необходимость в те дни такого театра, где доминировали бы мировые произведения как русской, так и западной литературы, много не приходилось — это значило бы ломиться в открытую дверь.

И в самом деле, сама жизнь прежде всего подсказывала, диктовала нам эту необходимость.

Алексей Максимович говорил о том, что жизнь определенно и ясно требует создания такого театра, о котором я мечтаю,— театра мощного, театра героического подъема. На сцене современного театра необходим герой в широком, истинном значении этого понятия. Именно воля человека есть центральная сила, которая движет человечество и ведет к высокой цели его бытия. Будить, ободрять, укреплять, вдохновлять человека, напоминать ему, что он есть сила, творящая жизнь,— вот высокое нравственное призвание театра.

Я лично всегда придерживался той веры, что классические произведения (или, по крайней мере, большинство из них) становятся необходимой в жизни общества силой, изображая борьбу нравственно положительных актов воли с нравственно отрицательными. Они заставляют даже в самой гибели представителей первых чувствовать несокрушимую силу правды и сознавать окончательное торжество как результат жизни человека. В нашу эпоху, требующую героизма, мы должны дать народу зрелище, которое воспитывало бы в нем умение чувствовать красоту героического подвига.

Алексей Максимович считал тогда, что трагедия наиболее глубоко возбуждает чувство, и пафос трагедии наиболее легко вырывает человека из сетей повседневности.

Лицезрение трагического не может не поднять восприимчивого зрителя над хаосом будничного, обыденного. Подвиги героев трагедии являют собой зрелище исключительное, праздничное зрелище битв великих сил человека против его судьбы.

— Все это хорошо,— замечает Мария Федоровна.— Но уж не думаете ли вы обойтись одной романтикой?! Поговорим все же и о том, как вы представляете себе организацию этого совсем не простого предприятия?..

Действительно, увлекшись в нашей беседе лишь идейной стороной дела, мы еще ни разу не коснулись практической или, вернее сказать, организационной его стороны. Мария Федоровна напомнила нам именно о том, что более всего меня беспокоило и смущало.

В сущности, я совсем не представлял себе, как надо приступить к организации такого сложного организма, каким является театр. Процесс создания его был мне абсолютно неясен. ⟨...⟩

И мы все втроем подробно стали обсуждать, как нам лучше построить такой аппарат, с помощью которого можно было бы поставить на твердые рельсы проектируемый театр.

Прежде всего решено было создать вокруг него общественное мнение. Для этой цели необходима поддержка людей передовой мысли — как людей искусства, так и представителей общественности. Из них должен быть создан художественный совет — как орган совещательный. А во главе художественного совета — орган управленческий, который мы тогда наименовали «Трудовым товариществом». ⟨...⟩

Таким образом, мой первый визит к Алексею Максимовичу и Марии Федоровне вылился в необыкновенно ценное деловое совещание, где был четко намечен весь созидательный путь Театра трагедии [5].

К. А. ФЕДИН

ИЗ КНИГИ «ГОРЬКИЙ СРЕДИ НАС. КАРТИНЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

1920-й

Февральский, промозглый, совершенно петербургский день. Я иду с Песков [1] на Невский, к Аничкову дворцу, в книгоиздательство Гржебина.

Два дня я провел в необыкновенном волнении: мне сообщили, что Максим Горький приглашает меня прийти — познакомиться. Незадолго ему были вручены два моих рассказа и письмо. Мне передали, что Горький нарочно назначил встречу на неприемный день. Я мог заключать из этого что угодно, и то строил многообещающие для себя выводы, то, в страхе, готовился к наихудшему.

Я прождал недолго.

Горький пришел с улицы, закутанный, в меховой шапке, с поднятым высоким воротником долгополой шубы. Я видел его первый раз в жизни. Он был очень большой. Все, кто находился в комнате, когда он пришел, как-то укоротились и стихли. Я мельком увидел его бледное лицо, вылезший из-за воротника мокрый от дыхания светлый ус. Вся его стать — походка и сложенье, то, как он сделал несколько шагов по комнате, пожимая руки служащим,— напомнило мне что-то знакомое по Волге, простонародное, пожалуй, мещанское, очень сильное, складное и в то же время отягощенное давнишней усталостью.

Он прошел к себе в комнату. Немного погодя ему пошли сказать, что я дожидаюсь.

И вдруг я узнал, что он меня не примет, потому что позабыл дома мои рукописи.

— Он очень извиняется. Как же говорить без рукописей? Он уезжает в Москву дней на десять и просит зайти, когда возвратится...

Я ушел. ⟨...⟩

Горький сильно жмет мне руку и с этим пожатием усаживает меня к столу.

— Садитесь. Вы разрешите быть с вами совсем откровенным?

Внезапный упор на скрытое в нашей речи «о» — совсем откровенным — наделяет эти слова чем-то знаменательным.

Поглаживая ладонью рукопись, он говорит сухо, негромким, низким голосом, и мне кажется, он исполняет давно наскучивший ему долг — поучать и поучать писателей-новичков.

— Идеология, знаете ли, превосходная штука. Но идеология вообще, ради идеологии — это сомнительно...

Философию-то ведь надо изучать. А у нас полагают усвоить ее в один присест, по ее выводам, с кондачка. И идеология получается с кондачка. Куда же это годится?..

Мне думается, устранение физическими средствами этих самых «буржуа» пришла пора прекратить. Одной травлей ничего не достигнешь...

Я стараюсь не проронить ни слова и заглянуть в самые тайные мысли, которые могут быть сокрыты за этими словами. Меня охватывает страх, что я ничего не удержу в памяти. И вдруг — ни жив, ни мертв — я перестаю понимать, что говорит Горький. Я выношу себе приговор: я пропал! Недаром я боялся напускной злободневности: она заразила меня, она погубит меня, как проказа!

Тогда я вижу улыбку Горького — мягкую и будто нерешительно-раздумчивую.

— Ведь вот вам теперь не совсем нравится этот рассказ [2],— говорит он чуть лукаво и облегченно кладет большие руки на раскрытые листы бумаги.

— Он мне совсем не нравится!

— Ну, вот. А придет время, когда вам ни один ваш рассказ не будет нравиться. Все перестанут нравиться.

У него слегка подымается ус, и с этой снисходительной усмешкой он отводит взгляд к окну и мгновение глядит за стекло, поверх улицы. Он не договаривает, но ясно, что усмешку он обращает к себе и хочет сказать: «Ведь вот мне мои рассказы перестали нравиться».

— Надо научиться умению смотреть на вещи,— говорит он, опять упирая на «о».— Отрываться от случайного, внешнего — в этом состоит искусство видеть. Во всей нашей жизни много наносного. Следует стоять от нее поодаль.

Одно мгновение он всматривается в меня сурово и так произносит слово «мы», точно хочет насильно связать себя со мною:

— Мы — поставленные судьбой в особое положение — художники слова, творцы, мы должны стоять выше всех людей и вещей. Это трудно, но мы должны быть крепкими! Крепкими!

Не отрывая руку от стола, он очень неторопливо сводит пальцы в крепкий кулак. Кожа на его лице натягивается, перемещая морщины с одного места на другое, и похоже, что он пересматривает, перераспределяет свое душевное хозяйство. У него так освещаются изнутри глаза, что кажется — в них можно войти. Они светло-синего, не голубого, а того светло-синего цвета, который соединяет в себе мужественную ласку и ум.

Он начинает глубоко кашлять, но во время кашля делается очевиднее сила, живущая в его острых плечах, груди, во всем худом, высоком стане, и эта сила с пренебрежением усмиряет, подавляет бушующий кашель. Он проводит ладонью по лбу и темени, захватывая и сдвигая тюбетейку, пестро шитую шелками, и тогда раскрывается его голова, наголо, до голубизны обритая, с чуть приподнятой макушей, и в открывшейся связи его черт — округло выступающих скул, больших, красивых ушей, сильно раздвинутых ноздрей — я вижу нерушимое единство, как в литье.

Он снова улыбается, на этот раз так, будто просит не прогневаться за не совсем приятные вещи, которые он хочет сказать:

— Вы берете голый факт, без отношения его к другому факту или к чему-нибудь большому, важному. У вас все происходит как бы в воздухе. Можно было подойти к рассказу иначе. Можно было бы сказать, что на смену умирающему, уходящему приходит новое. Является смерть, а в это время происходит зачатие новой жизни.

Отлично угадывая движение его мыслей, я вдруг чувствую потребность выступить против себя:

— Я отучился отрываться от окружающего. Меня сковывает внешнее, прилепляет к себе поверхность земли.

Он наблюдает за мной с нисколько не прикрытым любопытством, чуть-чуть не подбодряя: а нуте еще, молодой человек, нуте!

— А вот этого не должно быть,— говорит он очень тихо.— Нужно заглядывать глубже. Ведь вот ваш этот

буржуа — у него нет главного. В конце концов, кто бы человек ни был — буржуа ли, крестьянин, рабочий, аристократ,— у каждого есть какие-нибудь свои цели, мечты, свои человеческие привязанности. Они-то и руководят человеком. Их и надо наблюдать.

Возрастающая ласковость его голоса подымает во мне нестерпимый стыд: все тяжелее мне ждать, когда он наконец скажет, что рассказ не годится и что я бездарен. А он продолжает мучить:

— Сама по себе тема простая: у одного купца умерла мать, и в то же время он справляет свадьбу дочери. Чехов сделал бы из этого шесть страничек.

Я перебиваю в отчаянии:

— И я думал сделать всего две! Но мне помешало как раз то случайное, наносное...

Я вижу опять изучающее меня любопытство, но почти тотчас оно пропадает, и передо мною — тот Горький, с тою невиданной мною ни у кого улыбкой, которая не только озаряет лицо изнутри, но словно играючи вовлекает в это озарение все окружающее. В то же время меня обнимает волна вкрадчивого голоса, и в ее успокаивающем тепле я различаю очень ясные, очень серьезные слова:

— Писать вы можете. Это видно из другого рассказа — «Дядя Кисель». Таких Киселей у нас предостаточно. Весьма возможно — громадное большинство. И это очень верно, что он от свободы ушел в кабалу. У нас все, может, так — в кабалу ушли. Живой человек. Такие есть. И рассказ, даром что коротенький, заставляет задуматься [3].

Минуту назад смущавшая меня ласковость его голоса сейчас волнует совсем по-другому: ни один мужской голос не вызывал во мне настолько сильного ответного внутреннего отзвука, как горьковский голос, а он становится еще тише, еще серьезнее, еще вкрадчивее, и вот он будто нарочно со всею строгостью и, может быть, с самой беглой мимолетной усмешкой пытает — выдержу ли я?

— Писать вы можете, и можете... боюсь сказать... но это уже будет зависеть от вас...

Он опять глядит так, будто впускает меня к себе в глаза, и я вдруг пугаюсь — не причудилось ли мне: синий его взгляд заволокли слезы. Это длится слишком долго, чтобы я мог ошибиться, и я чувствую, что он делает усилия, чтобы преодолеть растроганность, и — сейчас мне не стыдно сказать — в этот момент меня охватывает смущение и восторг.

В этот момент Горький перестает быть для меня Горьким, каким я представлял его, когда входил в гржебинский кабинет. В этот момент он становится Алексеем Максимовичем — человеком, освобожденным от всего обязательного, с удовольствием и легко отстраняющим облик, настойчиво надеваемый на него славой.

Как будто только и дожидаясь такой перемены во мне, он спрашивает, как у коротко знакомого:

— А теперь я хотел бы знать — вы очень заняты?

Он хмурится, когда я говорю о службе и работе в газетах.

— Это я вот к чему. У нас в издательстве «Всемирная литература» образована секция исторических картин. Возник, видите ли, план: создать большую серию драматических картин и инсценировок для кинематографа из истории культур всех народов и веков [4]. Да-с, не менее. Начиная с первобытных времен и до девятнадцатого столетия.

Он присматривается ко мне: переношу ли я, как особь, такие большие давления, и, вероятно, ему кажется, что я не совсем задохнулся.

— Так вот, я хочу вам предложить: возьмите любого героя истории, которого вы очень любите или же — очень ненавидите, и напишите, хотя бы одноактное, драматическое произведение... Вы писали когда-нибудь драмы?

— Нет.

— Попытайтесь. Попробуйте. Вы с историей культуры знакомы?.. Ну-с, так вот. Возьмите что хотите: Аввакума — так Аввакума, Наполеона — так Наполеона...

Он снова глядит за окно и будто вычитывает там:

— Сен-Симон, например, весьма интересен. И его эпоха... Подумайте.

Он поднимается и, обойдя стол, останавливается передо мною — высокий, прямой.

— Это я даю вам, чтобы поддержать связь. Мне не хотелось бы вообще прерывать ее. Не хотелось бы.

Он видит, что я выдерживаю и этот разряд грома, и, если бы я был скептичнее, я сказал бы — он видит, как дорого обходится мне моя стойкость, и — забавляясь — он увеличивает испытание:

— Заходите ко мне, когда хотите. Побеседуем, поговорим. Я всегда готов помочь вам, всегда к вашим услугам. Здесь я бываю по четвергам, заходите сюда. Или ко мне домой. Я живу на Кронверкском. По вечерам бываю дома — по средам, четвергам и воскресеньям.

Он крепко, не выпуская, держит мою руку. Он держит меня всего обаянием своего лица. Его улыбка, удивительно обращенная к нему самому и потому кажущаяся лукавой, в то же время подтверждает серьезность приглашения.

— У меня там ход путаный. Вы пойдете под ворота, потом направо...

— Да там, наверно, знают, укажут...

— Да, там знают.

Мне на секунду чудится, что он состязается со мной в застенчивости.

— Так приходите,— строго наказывает он,— нам не следует порывать знакомство.

У него подымается левый ус, выше и выше, он смеется, без тени лукавства, добродушно, и наконец выпускает мою руку, долго сохраняющую жар его пожатия. 〈...〉

В марте меня пригласили в Ассоциацию пролетарских писателей: там должна была состояться встреча с Горьким [5]. В маленькой комнате на Итальянской улице [6] собралось и молчаливо ожидало человек двенадцать.

Горький задержался у входа, изучая пышный рисунок высоких китайских ваз, по-видимому ценимых хозяевами квартиры. На него смотрели, как на строгого эксперта, от оценки которого зависит счастье целого дома.

— Ничего не стоят,— безжалостно сказал он.

Сумрачный, с больным лицом, покашливая, он пожимал всем руки и разглядывал исподлобья обступившие его лица.

— А вы как здесь? — буркнул он мне.

Сели вокруг стола. Горький подождал —не заговорят ли, но все молчали.

Шел дневной час, низкое, серое небо, наползавшее на окна, готово было пролиться мокрым снегом. Тени в комнате ложились безразлично, как в сумерки.

Горький думал вызвать беседу, разговор, но увидел, что от него ждут речи или что-то вроде доклада. Все на него смотрели, не отрываясь, точно на знаменитого лектора. Тогда он заговорил.

Голос его был глух, слова медленны, будто трудно было их произносить. Сказав короткую фразу, он присматривался к ней — верна ли она, и если она нравилась — повторял два-три последних слова.

— Необычайно важно теперь понять, что пролетариату принадлежит вся власть, что ему много дано и что с него много спросится. Весьма много. Теперь вы, пролетарские литераторы, обязаны отвечать не только перед одним пролетариатом, а перед всем народом. Ответственность возросла. Задачи появились новые и нелегкие. Нелегкие задачи, да-с...

Он постепенно расправлял плечи, как в работе, которая вначале делается неохотно, но понемногу втягивает, бередит работника. А Горький был зол на работу, у него в руках все горело. Он как будто вымещал: доклад желали послушать? Ну, и пеняйте на себя, слушайте!

— Ныне вам приходится обращаться не только к своему брату. Крестьянство ведь тоже права к революции предъявляет. И справедливо: у него есть своя доля в революции. Ваш язык должен быть понят и крестьянином. Если вы будете петь непонятные ему песни, он просто слушать не станет. Иные же ваши песни ему могут и не понравиться. Особенно если заладите про свою персону петь... [7]

Создание новой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода. Культура есть явление целостное. Нельзя представить себе дело так: пролеткульт создаст культуру пролетариата, а крестьянство что же — должно будет к ней присоединиться? Или же остаться при своей прежней? Как вы полагаете? Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном. Создать своими руками новую культуру оно не в состоянии. Пролеткульт ему не поможет, ибо жизнь крестьянина складывалась не так, как у пролетария. Совсем не так. ⟨...⟩

В неподвижности, с которой Горького слушали, было видно не только алчное внимание или невольное благоговение, но и непрерывный внутренний спор слушателей, несогласие с говорившим. Любование речью и опасения перед нею то чередовались на лицах, то необычно совмещались, будто люди созерцали нечто красивое, но угрожающее.

— Представление, что только пролетарий — творец духовных сил, что только он — соль земли, такое мессианское представление губительно. Как всякое мессианство, да-с. Надо искать пути к слиянию с крестьянской массой. Иначе что получается? Вы воспитываете обособленно городской пролетариат, а в это время в деревне

процветает Танькина и Манькина вера. Легко понять, какие из сего можно ожидать следствия. В Баварии и Венгрии крестьянство-то пожрало революцию? Пожрало...[8] ⟨...⟩

Горький пишет у широкого окна, выходящего на Кронверкский проспект. Я вижу его силуэт, наклоненный над большим, очень упорядоченным и потому как будто пустынным столом. Сверкнул солнечный зайчик на стекле его очков, он глянул поверх них, увидел меня, снял очки. Легко, с угловато опущенным плечом, он шагает ко мне, берет меня за локоть, поворачивает к другому маленькому столу.

— Ну, вот, пожалуйте.

Он прихлопывает ладонью горку книг, потом, одну за другой, начинает раскрывать книги на титулах, слегка откинув голову, постукивая ногтями по именам авторов и приговаривая:

— Весьма умен, весьма... Но ироничен, все на усмешечке, и часто — без основания... А этот легковесен, но знающ, дает много фактов... В рассуждениях совсем пустой... Не соблазняйтесь... У этого много остроумия и блеска, что подобало бы скорее французу. Однако он последователен: невзирая на немецкое происхождение — совершенно без системы и циник...

Это — пока все, что я отыскал по революции сорок восьмого года. Одна отличная книга запропастилась, не мог найти. Таскают, знаете ли, с полок книги разные черти драповые. Хоть под замком держи. А сколько моих библиотек развеяно по миру! Эта вот четвертая, кажется. Идемте еще посмотрим, может, что-нибудь отыщем.

Полки стоят по-библиотечному — ребром к стене, между ними тесно, но солнечный свет просторной комнаты доходит и сюда. Перебирая пальцами корешки книг, сдвинув брови, Горький говорит:

— Значит, решили остановиться на своем выборе?.. Имейте в виду, что вы вольны взять любого героя истории,— военачальника, философа, ученого. Проповедника или, например, сектанта какого-нибудь. Почему, на самом деле, не взять сектанта?

— Бакунин ведь тоже сектант.

— Конечно... Но заметьте себе, что сейчас очень важно показать, какую роль играла личность в истории культуры. Все равно в какой области — Эдисон, Лавуазье, Данте,

Уатт... И вот в наших исторических сценах обязательно должно проглядывать это стремление указать на роль личности в создании культуры, творческое начало личности, дух созидания. Да, именно,— дух созидания. Это и вам необходимо отметить в своей работе... Я, между прочим, организовал книгоиздательство Гржебина для той цели, чтобы поднять в глазах масс значение личности в истории. Это нам совершенно необходимо...

Горький отрывается от книг и, чуть-чуть посмеиваясь, гудит низким басом:

— Не стесняйте себя никакими рамками. Располагайте самой большой сценой. Хотите цирком — пожалуйста. Или городской площадью — с сотнями, тысячами действующих лиц. А то не угодно ли, например, церковную паперть?.. Великолепное зрелище может получиться. Я, знаете, очень верю в эту идею исторических картин [9]. Меня самого подмывало написать. И тема была превосходная — Великий Новгород, Василий Буслаев. Нет богатыря более русского — любил молодец землю, поозоровал на ней, но и потрудился славно!

— Что же вам помешало написать?

— Не что, а кто: Александр Амфитеатров помешал. Рассказал я ему о своем намерении, он ухватился,— я, говорит, напишу. Ну, что поделаешь: отдал ему, что было собрано у меня о Василии. И вот недавно появилась пьеса: «Васька Буслаев»... Хорошая вещь. Я полагаю — лучшее из всего когда-нибудь сочиненного Амфитеатровым. Но, разумеется, я не приписываю себе ничего из достоинств пьесы...

Он хмурится, молчит, потом со вздохом затягивается и сильно выдувает дым:

— Жалко. Очень хотелось самому написать.

Он будто просит извинить его за такое порочное эгоистическое желание и вообще за то, что он говорит о себе.

— Написаны еще две пьесы: Гумилевым и Евгением Замятиным. Интересно. Содержательно. Займет свое место в цикле.

Он опять — за столом, окутанный разводами дыма. Притрагиваясь к немногим вещам, точно проверяя их наличие — синий карандаш, пепельница, очки, линованные листы бумаги,— он рассказывает:

— Мне все чаще приходится иметь дело с нашими учеными. Удивительные люди. В самодельных перчатках,

ноги — в одеялах, сидят, понимаете ли, у себя в кабинетах, пишут. Будто с минуты на минуту явится караул, проверить — на посту они или нет... По Уралу, в непроходимых горах бродят — составляют фантастические коллекции драгоценных камней для Академии наук. Месяцами не видят куска хлеба. Спрашивается — чем живы? Охотой живы, как дикари, да-с. И это, знаете ли, не Калифорния, не золотая лихорадка. Бессребреники, а не добытчики в свой сундук. Гордиться надо таким народом. А за последние два месяца, по точным данным, в одном Петрограде умерло шестьдесят три ученых... Вот и сегодня сообщили о смерти Федора Батюшкова... [10]

Спасать надо русскую науку... Продовольствия нужно, хотя бы самой дорогой ценой — продовольствия... Раньше, знаете ли, со мной никогда такого не бывало: сердечные боли и ноги припухают. Недостаток фосфора. Сахару нет...

Он резко приостанавливается (вновь ведь про себя!) и растолковывает педагогично:

— При нашей работе нервов без фосфора нельзя...

Он оживляется.

— Перед приходом вашим был у меня профессор Ферсман. Он только что беседовал по прямому проводу с Лениным о делах Комиссии по улучшению быта ученых. Ленин очень отзывчив и готов помогать. Ферсман заверяет: Ленин держит курс на интеллигенцию.

Опять я вижу его говорящим о Ленине. Едва уловимой игрой мимики, отрывистым движением плеч он с ласковой шуткой изображает разговор: Горький — Ленин.

— Я уж не первый год толкую, что недальновидные люди раскаются в травле интеллигенции [11]. Придется пойти на поклон к академикам и профессорам, которые посажены совсем не туда, где им полагается сидеть. Всякий раз, как я заговаривал об этом, начиналось беганье вокруг стола, с пристукиванием по нему кулаком и с фырканьем. Однако стало очевидно, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно... Ну, а господа образованные тотчас возрадовались и восторжествовали. Это, конечно, тоже нехорошо. Нехорошо... Ленин видит зорко. Но ему мешают разносторонне и весьма искусно. Весьма...

Чем дольше я слушаю его речь, тем более крепнет во мне убеждение, что и я мог бы так же говорить, как он,— в том же плавном, звучном размере. А что касается его мыслей, то мне кажется, что я всегда думал так, как он,

только его мысли необычайно круглы, будто он их катает, как шар из глины, и я качусь с этим шаром туда, куда он его направит, и не могу остановиться. И, наконец, я начинаю говорить и говорю долго, оставляя легко одну тему и переходя на другую, которую он мне подскажет, и радуясь, что он поглощен моими рассказами, и у меня такое чувство, будто я всю жизнь только и разговаривал с Горьким, и вряд ли когда-нибудь я так остро ощущал состояние непринужденной искренности, как в этот час.

— Вы должны бывать в кругу молодых писателей,— говорит он, когда я собираюсь уходить.— Особенно советую познакомиться с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это... это...

Горький замолкает, отыскивая верное слово. Но слово не находится. Он с нетерпением, но почти беззвучно барабанит пальцами по столу. Вдруг он поднимается и, выпрямившись,— очень высокий, худой — медленно проводит рукой сверху вниз, от головы к ногам.

— Человек,— произносит он тихо и мгновение стоит неподвижно.

Он говорит мне о Блоке второй раз и оба раза ставит его имя первым в ряду писателей, которых называет молодыми, очевидно — не по возрасту, а по несходству с каноническими фигурами дореволюционного русского писательства. Он говорит о Чуковском, хвалит талант Евгения Замятина и его ум. Но только в одобрении Блока чувство его совершенно не связано. О других он легче находит слова, но осмотрительнее говорит. ⟨...⟩

В начале июня 1928 года я получил телеграмму из двух слов: «Приезжайте *Пешков*».

Приезжать следовало в Москву. Пешковым всегда подписывался Максим Горький. Через день я был у него.

На Машковом переулке, поднимаясь в квартиру Екатерины Павловны Пешковой, я вспомнил свой первый приход на Кронверкский. Почти семь лет я не видел Горького, но я шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним,— так непрерывно было его участие в моей жизни и — мне казалось — так хорошо я знал, чем жил все это время он сам. Конечно, я отличался от того начинающего свой путь писателя, который едва не обиделся, что Горький назвал его «юношей», и настолько же именно Горькому был я обязан этим отличием! Я был проникнут

предстоящей встречей, будто видя ее заранее и одновременно понимая, что не могу предвосхитить никакой ее подробности.

Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки.

Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, не могу сказать иначе — элегантным и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. В момент, который мы молча разглядывали друг друга, я увидел, что он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела, время довольно снисходительно, но перекрасило ее. Сила его была прежней — я услышал ее, когда он меня обнял, и едва глаза привыкли к перемене, как я подумал — уж не помолодел ли он?

— Ну-с, вот, видите ли... — произнес он тихо.

Голос его, во всяком случае, не переменился, и однобокая улыбка, и взгляд — все было прежним. Он говорил незначащие слова иронически-многозначительно, как будто подчеркивая этим, что не в словах дело, но ни одно слово не говорилось без душевной необходимости, и потому незначительность слов только увеличивала их обаяние. Я все смотрел на него, поддаваясь этой ворожбе его речи, и я увидел, что его все больше трогало мое чувство. Наконец он грубовато-нежно протолкнул меня в дверь:

— Ну, пожалуйте, пожалуйте ко мне...

Комната, в которой мы очутились, была еще меньше столовой, он все расправлял плечи и точно все не мог расправить, то вставал, то садился, так что и мне скоро передалось ощущение тесноты, и все наше долгое пребывание здесь похоже было на топтанье между двух столов — большого письменного и другого, поменьше, заваленного фантастическими подарками, которые ему несли и везли со всех сторон.

Мы скоро переговорили о прошлом, о годах после встреч на Кронверкском. Не прошлое его привлекало. Через открытое окно этой маленькой комнаты виднелись наступающие друг на друга крыши Москвы. Гул и грохот расплывался над недалекими бульварами Чистых прудов и Покровки. Дымы покачивались на горизонте, ветер мешал с ними облака.

— Очень, очень много дерзкого сделано у нас, удивительно! — повторял Горький.

Пальцы его барабанили по столу. Я следил за хорошо знакомым жестом,— право, мастер восточного бубна стал бы с удовольствием разбираться в языке этих постукиваний, ударов и щелчков.

Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлеченно рассказывал мне об Институте труда,— все строилось там по-новому, без импровизаций, но смело, без педантизма, но научно.

Пальцы его сменяют веселый, энергичный бег на раздумчивый: он проверяет свое восхищение.

— Может быть, и нельзя так организовать труд? Это подлежит проверке. Может быть, так и не нужно работать... Но какой замечательный опыт, какие просеки рубятся в вековом темном бору... Необыкновенно дерзко, скажу вам.

Старый его интерес к отношениям между городом и деревней [12] дает себя знать в самом начале разговора:

— Деревня, знаете ли, пишет столько, сколько никогда не писала. И какие обширные требования культуры — мало ей книг, подай картину, мало грамоты, подай клуб, подай машину, подай кинематограф. Городу-то приходится поворачиваться, а? И как, понимаете ли, ворчливо, задорно требует — попробуй не дай! Вот куда пошло дело...

Но резко щелкнул палец по столу, и барабан забил с порицанием, нетерпимо, гневно. Это зашла речь об исконном неприятеле Горького — о мещанине, который омыл свою личину в бурном озере нэпа, как в новой Иордани.

— Заметили вы, что этот господин проявляет даже известный героизм? У него появилась потребность играть роль некоего избавителя. Ему мало просто отвоевать место в жизни, он ищет признания его позиции спасительной. Развился вкус к героическому у этого господина, да-с. Что делает революция! Заметьте это, заметьте...

Как всегда, однако, он не только дает собеседнику, он ждет от него, ненасытно требует жизненных фактов, и — говоря его словами — попробуй не дай! Разговор движется быстро, обрывчиво, это разговор первой встречи, весь из кусков, обломков, намеков, перебивок, и так как впечатления жизни отрадны, насыщены надеждами, пестры от светотеней, то немало в нем смеху, веселья.

— Народу вижу я — толпы. Всякого. Приходят вот тут краеведы. Хотят, чтобы я выступил у них. Помилуйте, говорю, что я вам скажу? Я всю свою жизнь занимался не краеведением, а человековедением. Смеются. Нам, говорят,

вот этого как раз и недостает... Да. Человековедение... Быстро, необыкновенно быстро вырос в Советской стране человек. И даже с большой буквы — Человек. И, знаете, Федин, что я вам скажу: я это очень хорошо понимаю, но не усваиваю. Именно не усваиваю... Очень мне это еще ново...

Он отворачивается к маленькому столу, смотрит на груду подарков, встает, подходит к ним, улыбается, качает головой, смотрит на меня, смеется.

— Несут, несут, понимаете ли... Куда это мне?.. Магазин, что ли, открыть?..

Он берет новенькую, поблескивающую от масла мелкокалиберную винтовку.

— Туляки преподнесли. Благородная работа. Тула помнит славу своих отцов, любит свое ремесло... До чего прикладистая, прелесть...

Он вскидывает винтовку легким броском к щеке, целится за окно. Потом отрывает приклад от плеча, взвешивает винтовку в руке, поглаживает тонкий ствол, вдруг говорит строго:

— А крепко держит наш народ эту штучку, как вы находите, а?

Он протягивает винтовку мне:

— Ну-ка, вскиньте вы...

Вот, пожалуй, новая, малоизвестная мне черта: Горький благодушен. Он благодушен в кругу семьи, я вижу одобрительный, почти упоенный его взор, довольно охватывающий все, что происходит в столовой. Действительно, как все ладно получается: в московском доме накрыт стол, все собираются к назначенному часу, шумят стулья, позвякивают ножи, наполняются рюмки. Опоздал к обеду сын? Это ничего — в его духе. Это даже хорошо, потому что, когда он торопливо войдет в столовую и скажет с легкой небрежностью: «Я, кажется, опять опоздал?» — можно будет сурово сдвинуть брови, погладить ус и, глядя в тарелку, произнести угрожающе-глубоким басом: «Мне тоже почему-то кажется». И затем, нагнетая угрозу: «Что ж вы, сударь, не здороваетесь?» И сын — на ходу улавливая игру, совершенно в тон отцу, с мальчишеским удивлением: «Как, неужели я не поздоровался?» И отец, продолжая домашнюю сцену, грозно: «Да с матерью сначала надо, сударь мой!.. Вот погодите, наведу я порядок в доме,

Займусь воспитанием, да-с. И поставлю дело на вполне научных основах». Сын: «Лабораторию заведете?» Отец: «Институт учрежу. Кровь у вас буду брать на исследование. Кровь!» И тогда весь стол в полнейшем смятении: «Господи, какие страсти-мордасти!» И хозяин довольно: «То-то!»

Москва склоняется во всех падежах: Москва строится, в Москве говорят, Москву слушают, Москвой живут. Весь дом приносит новости о Москве, конца которым не видно. Горький пьет новости то залпом, то процеживая и смакуя. Так проходит обед.

После обеда, в том же благодушии, Горький спускается вниз: ждет машина, сегодня — два заседания. Он только входит в круговорот московских встреч, ему еще неясно, что важно, что несущественно,— все представляется очень значительным, все не терпит отлагательства, всюду — планы, проекты. 〈...〉

Вечером мы встретились в редакции «Красной нови» [13]. Московские учрежденческие коридорчики из фанерных перегородок, комнатки, переходы, лестницы — все было заполнено: собрались писатели на первый литературный разговор с Горьким.

Редакторский кабинет едва вместил всех. Горький нервно вглядывался в лица. Понадобился бы весь алфавит, чтобы перечислить, кто пришел. Горький знал эти имена по книгам, журналам. Так вот они перед ним — живые и — в большинстве — незнакомые лица. Это и есть новая, советская литература, возникшая с небывалой быстротой — за семь лет его отсутствия. Он как будто наверстывал невольно упущенное, стремился заново понять то, что могло быть неверно понято или представлялось совсем непонятным издалека. Он напряженно вникал в слова, которыми это новоявленное взволнованное общество старалось передать ему с горячностью свое понимание жизни, свои требования к ней, свои ожидания.

Он начал говорить в ответ возбужденно, со страстью, которой не мог овладеть, и стало явственно ощутимо, что произносимое им было не речью на таком-то и таком-то собрании, а делом жизни.

«Я — старый писатель, я — человек другого опыта, чем вы, и наша текущая литература, вернее — ее эмоциональные мотивировки для меня не всегда ясны. Я го-

ворю как литератор. Я привык смотреть на литературу, как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой, я готов бываю поссориться с действительностью во имя человека, который мне дороже всего, выше всего.

У нас начинает слагаться новый слой людей. Это — мещанин, героически настроенный, способный к нападению. Он хитер, он опасен, он проникает во все лазейки. Этот новый слой мещанства организован изнутри гораздо сильнее, чем прежде, он сейчас более грозный враг, чем был в дни моей молодости.

Литература должна быть теперь еще более революционной, чем тогда. Надо бороться, надо эту действительность подвергнуть в художественной литературе суровой, резкой критике [14].

Но наряду с этим надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека. Вчера пришел в жизнь новый человек. Пришел в новую жизнь. Он себя не видит, он хочет себя узнать, он хочет, чтобы литература его отразила, и литература должна это сделать,— какими путями?

Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист, и романтик — как бы две ипостаси единого существа...»

Я в этих словах о слиянии двух начал — реализма и романтизма — услышал оценку всего сделанного советскими писателями за истекшие годы, вывод из нескончаемых размышлений о русской литературной жизни. И мне показалось, что соединением этих начал лучше характеризуется сам Горький — с романтизмом его мечты о великом будущем нашего народа, с реализмом строительства этого будущего.

ВС. ИВАНОВ

ВСТРЕЧИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ

⟨...⟩ С великим смущением и боязнью заходил я несколько раз на квартиру Горького. Мне отвечали, что он не приехал. Наконец я догадался оставить записку. И однажды я получил извещение, что Горький вернулся.

Встретил высокий, сутулящийся человек, при виде меня не выразивший ни удивления, ни особого интереса [1]. Без улыбки, тихой походкой он провел меня в свой кабинет, небольшую комнату, как в библиотеке, заставленную сплошь полками с книгами.

— Ну, рассказывайте. Славно в Сибири повоевали?

Я рассказывал. Рассказы эти были не легкие, не веселые и не короткие [2]. Глаза Горького, внимательные, острые, смотрели строго. Время от времени он брал карандаш, стучал им легонько по столу и клал обратно.

Вдруг он прервал меня:

— А вы сегодня завтракали?

— Да, да,— поспешно солгал я.

— Пойдемте все-таки позавтракаем. У нас сегодня пирожки. Это в Петрограде нынче редкость.

Думаю, что и в квартире Горького пирожки были редкостью. Их внесли не без торжественности на широком блюде, явно предназначенном для большего их количества. Они были с морковью, на масле. Я осторожно взял один пирожок и, стараясь показать, что такие яства мне не в диковинку, медленно съел его. Мне казалось, что я великолепно замаскировал свой голод. Однако я не обманул

Горького. Он ласково придвинул ко мне все блюдо и сказал:

— Кушайте. Напекут еще.

Все вокруг заулыбались, но по этим улыбкам я понял, что печь еще пирожки не из чего. Ах, лучше бы мне не пробовать их! Так ведь всегда в жизни: попробуешь, и остановиться невозможно. Я съел еще один, а за ним другой, третий... И чем я больше ел, тем больше слабел. Чтоб оторваться, я заговорил, начал что-то рассказывать — и незаметно для себя уснул.

Сон этот, по-видимому, продолжался несколько минут. Когда я открыл глаза, в столовой никого, кроме Горького, не осталось. Он сидел против меня, смотрел на скатерть, и по лицу его текли крупные слезы.

Весь сгорая от стыда, не зная, что и сказать, я подал ему удостоверение, выданное газетой «Советская Сибирь», по которому я приехал из Омска. Там было написано очень выразительно: «Командируется в распоряжение М. Горького».

— Они думают, человеком легко распорядиться,— сказал Горький, переводя глаза с удостоверения на мои ботинки. Подошва у ботинок отскочила, и я примотал ее ржавой проволокой.— Надо вам ботинки поправить. Пищу также...

Он встал, прошелся по столовой.

— Без ботинок писать вам трудно. Голову — в холоде, ноги — в тепле... Помните? А писать вам нужно. Всякий, кто много видел и испытал, обязан писать. Я рекомендую вам пойти в Дом ученых. Я вам сейчас цидульку на сей предмет дам.

Заведующий Домом ученых, толстый, брюхастый Родэ, в визитке и галстуке, поразительных для тех времен, прочел записку Горького и, глядя на меня, сказал:

— Вам действительно надо попитаться. Ну, мы вас откормим. ⟨...⟩

Горький иногда звонил мне по телефону. «Едите, пишете?» — ласковым своим басом спрашивал он. «Ем и пишу»,— отвечал я. Его заботу я принимал за желание поторопить меня в моих писаниях. А может быть, мне вообще хотелось писать, и я при любых обстоятельствах писал бы?

Написав рассказы, я отнес их Горькому. Он возбужденно потер руки.

— А завтра приходите поговорить о рассказах.

Утром я шел к нему встревоженный. Заросший самомнением в одиночестве своей комнаты, я стал приходить в себя, предчувствуя, что наболтал много несвязностей и несуразностей.

Я увидел сухое, слегка недоумевающее лицо и круг, как бы мысленно очерченный им около себя. Он неподвижно сидел в этом кругу, и с упавшим сердцем я понял, что теперь, вот с этого дня, я не представляю для него интереса. Я оказался плохим писателем, человеком, не имеющим никакой цены, человеком, с которым надо быть только вежливым! У него была тугая улыбка и медленный голос, небрежный и пустой, как мне казалось. Я понимал его. Но все же мне было обидно.

Я молча, стараясь соблюдать неподвижность и тот круг движений, который он хранил, выслушал его.

— Рассказы ваши необработанны, небрежны. Напечатать их нельзя.— И, помолчав, добавил: — А человек вы талантливый. Отчего это так?

Я принял рассказы. Я шел через Троицкий мост в свою комнату на Литейном и злобно говорил самому себе: «Ну и не надо. Ну и сдохну!» Слезы были у меня на глазах. Я пришел, лег на диван из розового дерева и решил тихо умереть. 〈...〉

А затем пришла мысль: «Почему умирать? Какая в этом необходимость? Ведь он сказал: рассказы необработанны. Значит, надо работать, искать, трудиться». И мучительный, то мутный, то стеклянно-ясный труд возобновился. Я вскочил, вырвал десятка два карт из Британской энциклопедии и опять принялся за работу. Если я не могу изложить придуманное и испытанное в стройном рассказе, то почему бы мне не избрать более спокойное течение прозы, нечто среднее между воспоминанием и очерком, описав какой-нибудь совсем небольшой факт? Возьмем среду крестьян, наиболее знакомую мне, и случай, который, как я слышал, произошел где-то возле села Волчиха, неподалеку от Алтая... ведь там я жил, когда впервые услышал о М. Горьком, призывавшем всех нас к труду и бодрости духа!

Я писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую коптилку. На четвертые сутки хлебные запасы мои кончились, но и рассказ тоже был окончен. Он назывался «Партизаны» [3] и положил основание книге моей, позже названной «Партизанскими повестями». У меня не было сил, а главное — надеж-

ды на успех, и рассказ к Горькому отнес сын хозяйки ⟨...⟩. В сопроводительном письме я просил Горького послать мне некоторое количество хлеба. Мне стыдно было просить у Горького хлеба, но, странное дело, еще стыдней почему-то было бы просить у Родэ.

К вечеру я получил следующее письмо:

«Как же это у вас хлеба нет, друг мой? Вы должны аккуратно получать в Доме ученых. Там же вам надо починить сапоги.

Как это сделать все?

И где вы?

Рад, что пишете!

А. Пешков».

«Где вы» относится, несомненно, не к месту моего пребывания, а к психологическому моему состоянию. В тот же вечер ласковый голос сказал мне в телефон:

— Отличный рассказ!

Утром мне принесли из Дома ученых сапоги. А через день, когда я уже бестрепетно пошел за провизией к Родэ, мне передали ордер: «Выдать пару сапог Всеволоду Иванову». А еще через неделю, когда я шел мимо мраморной лестницы в Доме ученых, меня сверху остановил голос Алексея Максимовича:

— У меня, Иванов, есть для вас в кабинете одна вещь. Обождите!

И он вынес мне пару сапог.

— У меня уже трое сапог, Алексей Максимович,— умиленный, сказал я.— Мне хватит надолго.

— Ничего, сгодятся, берите: отличные рассказы пишете. ⟨...⟩

...Горький вернулся из Москвы. Я жду его в столовой. Шаги его в соседней комнате что-то очень веселы, и я испытываю, неизвестно почему, минуты ликования. Он выходит. Глаза его сияют. Пожимая большой и сильной рукой мою руку, он весело рассматривает меня, а затем, не выпуская руки, ведет меня в кабинет.

На столе журнальчик в голубой обложке, «Красный командир», посвященный жизни петроградских командных курсов. Журнал пришел в его отсутствие. На обложке журнала — коричневая приклейка: портрет В. И. Ленина.

Ленин, худой, с острым и кипучим взглядом запавших глаз, сидит, облокотившись о кресло. Фон простой: стена. Горький говорит:

— Отлично нарисовано! Художник, несомненно, рисовал с натуры [4]. А вообще Ленина мало рисуют. Он не любит позировать, как не любит позировать вообще. Даже фотографию с него снять и то трудно. Знаменитому фотографу и то пришлось пуститься на подлог. Народ у нас простой, доверчивый. Подходит фотограф со своим громадным аппаратом к караулу и говорит: «Иду по согласованности с товарищем Лениным». Его и пропустили. Ленин сидит в кабинете, пишет. Фотограф устанавливает потихоньку аппарат, щелкает — раз, два. Вдруг Ленин поднимает голову: «Позвольте, а вы что здесь делаете?» — «Снимаю».— «Уходите отсюда немедленно». Ха-ха!

Он еще раз посмотрел на журнальчик.

— Отлично нарисовано.

Видно, что ему хочется оставить рисунок себе, но в журнальчике напечатан мой рассказ «Красный день» [5], и он передает журнальчик мне:

— Берите, берите, мне пришлют еще. И не горюйте, что журнал тонкий. Перед тем как двинуться лавине, по склону скачут маленькие катышки снега. Владимир Ильич сказал, что скоро выйдет большой, толстый журнал «Красная новь». Мне предложено редактировать литературную часть оного. И я согласился.

Сделав несколько шагов по кабинету, Горький подошел к окну, посмотрел. Виден сад, окружавший Народный дом. Весенний ветер, ароматный, кудрявый, качал деревья, оглушенные ветром, подавленные хлынувшей на них силой, они, казалось, задыхались от ветра. Когда Горький повернул ко мне свое лицо, на нем было такое выражение, какого у него я еще никогда не видел.

Он сказал:

— Русские вообще говорят остро. Но на Волге говорят не только остро, а жгуче. Например, свежий и сильный ветер называется витязным. И вот достаточно Владимиру Ильичу сказать вам две-три фразы, как вас охватывает этот сильный и свежий ветер. Ветер революции! Я не знаю, что чувствует птица, взмахивая крыльями, но когда я говорю с Владимиром Ильичем, я не только знаю это, но лечу и лечу против бури и знаю, что устою.

Ему тогда шел пятьдесят третий год — возраст почти такой же, в каком я пишу эти воспоминания, и мне странно

думать, что двадцать пять лет назад Горький казался мне очень старым. Он был не только стар. Он был мудр. Люди тогда мнились мне чересчур суетливыми, болтливыми. А у него каждое слово взвешено, полно глубокого смысла. И мне казалось, что он не способен поддаться волнению, не способен громко, во весь голос, выразить свою страсть, быть молодым.

Но вот он заговорил о Владимире Ильиче,— и в словах Горького, во всей его фигуре вдруг вспыхнула молодость, и он был не только равен мне, но, пожалуй,— подумал я с крайним изумлением,— он превосходил меня молодой силой, фантазией, верой! Ленин для него был не только добрым, всеобъемлющим, гениальным,— он для него олицетворял борьбу. Каждое его слово накатывалось на Горького, как тяжелая океанская волна проносилась над головой, и Горький, откинув голову назад, дыша всей грудью, восклицал:

— Великолепно!

И видно было, что это действительно великолепно и что Горький думает о Ленине с удовольствием, с признательностью, с преклонением. Я слушал его — а рассказчик он, вы знаете это, был пленительный и пламенный — и весь дрожал от восторга.

— А его смех! Удивительный смех! Право, мне всегда кажется, что дует бешеная буря, корабль ныряет черт знает как глубоко, небо мертвое, лицо ваше в холодных брызгах,— и вдруг откуда-то чистосердечный и счастливый голос, вполне на вас надеющийся: «Крепче держись, ребята, ха-ха!»

Он рассмеялся, вытер слезы... ⟨...⟩

И вдруг Алексей Максимович спросил меня:

— А вы что сейчас делаете? Много пишете?

Я рассказал ему тему «Бронепоезда» — повести, над которой тогда работал [6]. ⟨...⟩

Он был очень хорош в тот новогодний вечер: [7] по-праздничному высокий, прямой, очень веселый. Ему было всегда отрадно смотреть на мир, но в тот вечер, быть может, мир казался ему еще более чарующим и обольстительным, чем всегда. На тот вечер он забыл, что над миром повисла угроза чудовищной войны, ворота в царство которой откроет в этот год Германия. Уже на улицах Берлина день и ночь торчат хари в хаки, в походных са-

логах, гремя металлическими кружками, словно кандалами. Они собирают деньги на нацистов, на Гитлера, на войну, на убийства.

И щурился он как-то по-особому, по-эпически-олимпийскому. Повторяю, он очень любил и понимал праздники и, когда встречал праздники или празднично умного человека, он весь внутренне поднимался на какую-то волну и так катился по миру, блестя пеною шумливых речей, воркующе-глухим смехом и насквозь просвечивающими вас беспредельно синими глазами.

С громадным нетерпением ждал он прихода певцов и музыкантов, которые ходят по Сорренто накануне Нового года, как у нас в деревне ходят на рождество «славильщики», только поют здесь не церковное, а светское, да одеты певцы по-маскарадному, хотя и без масок.

Наконец певцы пришли. Ввалились они в мастерскую с пляской, бледные, со жгучими от волнения глазами. Оказалось, что перед тем как попасть сюда, сии подрались с какой-то другой группой певцов, которая тоже хотела попасть к Горькому первой. Был особенно примечателен один, с влажно-палевым лбом, серьезными движениями, с бубном и веткой лимона вместе с плодом в петлице. Пел он и бил в бубен свободно, ликующе-воодушевленно. Художники нацелились его рисовать. Особенно их удивило, что певец — сапожник.

— Ничего поразительного нет в том, что он сапожник,— сказал Горький.— У нас, на Руси, много хороших певцов из сапожников. Не острите, пожалуйста, что поют-де, как сапожники, а сапоги шьют, как певцы. Посмотрите лучше вот на этого, поменьше. Он трубочист. Недавно у нас трубы чистил, отличный мастер.

Песня окончилась. Запевала-сапожник, с лимоном в петлице пиджака, подошел с бокалом к Горькому.

— За песню,— сказал запевала, чокаясь.

Горький ответил растроганно:

— Пусть поет весь мир. Большое вам, синьор певец, спасибо.

И оба они прослезились, и, когда певец отошел, Горький сказал:

— Муссолини запретил им петь теперь на улицах. Раньше, бывало, Неаполем идешь — весь город поет, Голодный, босый, а поет! А теперь молчит. И вот еще: белье вешать сушить на улице нельзя. Белье, изволите видеть, портит для иностранцев-фашистов пейзаж. Суши

и пой у себя в комнате. А комнат-то и нету. Рекомендую посмотреть, в какой тесноте живет итальянская беднота. Не говорю о том, что несколько семей в комнате, в конце концов, это бывает, но ведь комнаты-то без окон. ⟨...⟩

Музыканты пели и танцевали долго — часов до трех ночи. Горький знал много неаполитанских песен и, встретив знакомую, очень радовался. Потихоньку, чтоб не помешать певцам, он как-то боком приближался к ним, нежно их рассматривая.

— А вы много песен знаете? — спросил он вдруг меня.

— Не пою и знаю мало.

Он даже отшатнулся.

— Это у вас убеждение или случайно?

— Скорее случайно. Семья наша была непевучая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу.

Он перебил меня:

— Это случайно. Писатель не может не петь, не знать песен. Писать — это не только размышлять, но и петь. А стихи вы писали?

Я сказал, что писал, и очень плохие, и, к счастью для человечества, очень мало.

Он сказал не то шутя, не то серьезно:

— А я пишу стихи каждый день.

Точно опасаясь, что мы будем просить его читать стихи, он сказал, глядя на певца-трубочиста с чуть раскосыми, не по-итальянски, глазами:

— А вы в Париже Восточный музей видели? Китайский отдел?

И точно это было вчера — видел он этот музей лет двадцать назад [8] (удивительнейшая у него была память!),— он стал рассказывать, да еще как, точно переходил с нами от витрины к витрине. Он вспомнил Париж вообще, парижское освещение, тот серо-голубой свет, меланхолический, свойственный Парижу, вспомнил сторожа с мохнатой, как купальная простыня, бородкой, который, приняв Горького за анархиста, сопровождал его настойчиво из зала в зал. ⟨...⟩

— Талант нужно лелеять.

И он стал рассказывать о талантливых людях прежней России, которых исковеркало, изломало, испортило лишь потому, что талант их не был взлелеян.

От прошлого он перешел к настоящему. И тут потребовал, чтоб нам налили вина, и сказал:

— Россия всегда была родиной талантов, а теперь

в силу новых, сложившихся, и весьма благоприятно, для талантов условий, оная Русь превратилась прямо в некий воспитательный дом талантов. Таланты взлелеивают, и я очень рад этому. Я убежден, что мы окажем на европейскую культуру огромнейшее, неслыханное влияние, и весьма в непродолжительном времени, что бы там фашисты ни делали! Окажем! И среди вот этих песен, которые нынче эти молодые люди нам пели, будут попадаться и наши. А песня с трудом путешествует. Роману или пьесе легче. Песня — домоседка. Много ли у нас в России чужих песен поют? Разве — «Марсельезу». А наших во всем мире поголовно будут петь,— скажем, пять!

И он счастливо рассмеялся. Глаза его ровно и кристально сверкали. Он немного поднял руки, чтобы отлила прилившая кровь.

— Вы заметили, в России даже ландшафт стал уже иной? Плывешь по Волге — и другие берега видишь?

Он повторил каким-то пылающим голосом:

— Другие! Нет межей, чересполосицы, заплат. Идет пшеница сплошь, на сотни километров пшеница, и принадлежит она не какому-то кулачку Сидор Петровичу, а всему русскому народу. Это и монументально, и достойно нашего человека. Стоит он где-нибудь на косогоре, а плечи — косая сажень. Весьма монументально и весьма поучительно.

Праздник прошел, и не совру, что на другой день, а в крайнем случае на третий день Горький сказал мне:

— Вам нужно здесь поработать. ⟨...⟩

Он наклонился ко мне. Иссиня-голубые глаза его участливо играли.

— Вы о чем собираетесь здесь писать?

Я смотрел на него и думал: чем выше восходит человек к вершине своего умственного и духовного совершенства, чем шире развивает он свой разум и свои умственные горизонты, тем ясней он видит всю необъятность внешнего мира и трудную достижимость своей последней цели — абсолютного знания, общей и единой безусловной истины. ⟨...⟩

Я смотрел на Алексея Максимовича со скрытым восхищением. И опять, как много лет назад, когда в типографии Кочешева [8] я получил от него письмо, мне хотелось написать для него, а значит, и для всех, кто воплощает в себе настоящего человека-борца, написать огромное, нестерпимо жгучее, широкое и страстное. Все это едва ли

можно здесь задумать, и писать вряд ли удастся... И хотя мне не хотелось огорчать его, все же я сказал, что писать подожду.

— Может быть, вам свое почитать, новое? Вам понравится или не понравится,— вы что-то сделаете. Написал я продолжение «Егора Булычова»: «Достигаев и другие»[10]. Хотите, прочту? А потом, когда вы напишете, прочтете. Вы меня будете бранить, а я вас. Сорренто и наполнится российским гулом!

Читал он, в особенности когда было мало слушателей, так, что леденящий, сухой трепет восторга наполнял все суставы. Он мало выделял интонациями отдельных персонажей, чуть менял голос, но в его медленном чтении, понурой голове с косматыми усами, в каждой фразе, которую он как бы подавал вам руками, во всем этом громадном движении мыслей, которые величаво лились на вас с этих страниц, чувствовалось орлиное паренье, чувствовался непокорный и кипящий подъем все вверх и вверх. Вы не успели оглянуться, как уже — на вершине, и сердце ваше при виде всей этой необъятной необозримости замирает, и вас охватывает такая чудесная зависть, такое бурное и бунтующее чувство счастья, что жизнь кажется молнией...

Окончив чтение, он снял черепаховые очки, посмотрел на нас исподлобья и сказал несколько сконфуженно:

— Что же молчите? Давайте браниться.

Ему не понравилось наше, наверное, плохо скрытое восхищение.

— Объясните.

Я объяснил, что сразу трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он недовольно сказал:

— Вы искренне в этом убеждены?

И мы расхохотались. Напряженность прошла. Беседа потекла легко. Говорили об общем плане пьесы, о частностях, о недоговоренном, о постоянной досаде писателя на свою творческую беспомощность. И он вспомнил, что один критик, говоря о Сикстинской мадонне, сказал, что Рафаэль посадил на туловище младенца голову Зевса,— и не в таком ли положении находится писатель? Голова работает, как у Зевса, а начнет писать,— руки младенческие, всего выразить не могут.

— Всего — нет. Но многое выражают. И на том громадное спасибо.

Он мечтательно сказал:

— Да, когда я читаю Толстого или Чехова, какое огромное спасибо я говорю им. И мне кажется, что эти творцы умели выражать все. Разве можно написать «Хаджи-Мурат» лучше?

— Нам кажется — нет. Толстому казалось — можно.

Он улыбнулся:

— Пойду перед сном почитаю. Хорошо пишут на Руси!

И он ушел работать.

Однажды утром, после завтрака, он вздумал прочесть письмо молодого человека из России. Письмо было хорошее, умное, очень приветливое, с несколькими золотыми деталями, которые так любят писатели. Горький своим глухим и гулким голосом повторял эти детали. Пишет человек, который и не думает быть писателем. Какие великолепные письма, какая чудесная молодежь выросла у нас! И он стал рассказывать о молодых ученых, об их работе, принес их книги, письма. Ему хотелось развернуть перед нами пышную и светозарную жизнь советского ученого, и мысли у него текли стройно, торжествующе. ⟨...⟩

Удивительно и в то же время понятно, когда великий человек охватывает и знает хорошо все науки его времени и все науки прошлого. Но совсем умилительно и приятно, когда тот же великий человек, вдобавок к своим знаниям, знаком еще и с человеческим скромным рукомеслом, вроде сапожничества или столярного дела. Лев Толстой, Петр Первый или Леонардо да Винчи обаятельны еще и тем, что могли обработать почву, дерево, стачать сапоги или сшить платье.

К таким людям принадлежал и М. Горький. Он вас мог обрадовать такими знаниями и умением, которые, казалось бы, должны быть ужасно далеки от него. Он знал, как выделывается любая домашняя вещь, как обхаживается какой-либо припас. Он знал, например, как нарядить невесту на крестьянской свадьбе, и он мог обмыть и обчистить ребенка и тяжелобольного, и многое умел и знал он. Однажды, в 1921 году, чернорабочие передвигали в его квартире тяжелый шкаф из одной комнаты в другую. Двигали неумело, плохо, кряхтели, ругались. Горький смотрел, смотрел, а затем подошел, плюнул на руки, да так повел плечом, что шкаф в одну минуту влетел в нужное место. Рабочие только руками развели.

И вот среди таких «мелочей жизни», свойственных большому уму и бывалому человеку, мелочей, без которых портрет большого человека — только схема, неизбежно идущая к забвению, была в нем и следующая «мелочь». Он был коллекционер. Но коллекционер странный. Он собирал книги, любил их, дорожил ими, но если вам нравилась какая-нибудь из этих, иногда чрезвычайно редких книг, он вам немедленно дарил.

Много лет подряд он собирался перечесть «Тристрам Шенди» Стерна — книгу, крайне редко встречающуюся на нашем книжном рынке. Однажды мне посчастливилось, я купил книгу и с большим удовольствием принес и подарил ему. Горький любовно перелистал книгу, похвалил, экземпляр действительно попался хороший. Дней же пять спустя, когда я спросил, как ему понравился теперь «Тристрам», он пожал плечами и сказал со смехом:

— А знаете, кому-то она больше моего понравилась. С письменного стола утащили! — И добавил: — Люблю дарить книги, но того больше мне нравится, когда их у меня воруют. Значит, уж слишком велико желание, непреоборимо. ⟨...⟩

М. Л. СЛОНИМСКИЙ

НАЧАЛЬНЫЕ ГОДЫ. М. ГОРЬКИЙ

⟨...⟩ Горького я никогда не видел, кроме как на портретах. По выходе из госпиталя [1] несколько раз подходил я к дому, где помещалась редакция горьковского журнала «Летопись» и где, следовательно, была надежда встретить Алексея Максимовича,— но войти не решался и уходил.

И вдруг я встретил Горького — или это был не он? — совсем неожиданно и вдалеке от «Летописи», в трамвае.

Он был весь в черном: черная шляпа, черный, наглухо застегнутый пиджак, черные брюки, черные штиблеты и даже перчатки на руках тоже черные. Очень высокий и очень невеселый, он сидел в трамвае, составив вместе ноги, и если бы даже лицо его не было удивительно похоже на лицо Максима Горького, то все равно он обратил бы на себя внимание необычностью своего вида. Но к тому же лицо его было лицом Максима Горького, и потому пассажиры поглядывали на него с интересом и любопытством.

Я уже давно пропустил остановку, на которой мне нужно было сходить и, наверное, не мигал уже минут двадцать. Передо мною в обыкновеннейшем петроградском трамвае сидел Максим Горький — не человек, а легенда,— и я рад был тому, что сам он — необыкновенный, резко отличающийся от остальных пассажиров. И вдруг он встал. Поднявшись с места, я последовал за ним.

Он сошел с трамвая, зашагал по Кронверкскому проспекту и пропал в подъезде одного из домов.

Горький это был или нет? Не знаю. Только после Октября я познакомился с Алексеем Максимовичем.

Корней Иванович Чуковский привлек меня к работе в издательстве [2], которым руководил Горький. Он привел

меня в служебный кабинет Алексея Максимовича так просто, как будто всякий мог входить сюда.

Я очутился лицом к лицу с высоким, чуть сутулым человеком, очень похожим на того, которого я видел в трамвае. Но этот Горький был одет в серый веселый костюм, голубой воротничок облегал его шею, которая казалась очень тонкой, весь он был гибкий и упругий и шагал по комнате мягко, неслышно, словно в туфлях.

Он внимательно и строго взглянул на меня, поздоровался, шевельнул губами так, словно хотел откусить правый ус, сел за стол и вновь поглядел на меня — на этот раз успокаивающе. У него было необычайно подвижное лицо, очень откровенное, и освещалось это лицо глазами выразительности чрезвычайной. Он промолвил:

— Да-с...

И придвинул к себе рукопись, лежавшую на столе, Склоненный над рукописью, он стал теперь похож на старого токаря, изучающего чертеж.

— Талантливый человек,— обратился он к Чуковскому.— Будет писать...

При этом он одобрительно постукивал пальцами по рукописи.

Я не знаю, что это была за рукопись и кого похвалил тогда Алексей Максимович. Я был очень занят в тот момент — надо было придумать, куда девать руки и ноги, они вдруг стали мешать мне.

Алексей Максимович в те годы старался сплотить и старых и молодых вокруг одного великого дела — создания новой советской культуры, культуры для всего народа, а не для кучки «избранных». Алексей Максимович собирал и организовывал советскую интеллигенцию. Он хотел, чтобы люди умственного труда служили Советской власти, рабочим и крестьянам молодой Советской республики, бившимся на западе и на востоке, на севере и на юге против соединенных армий интервентов и белогвардейцев.

Он основал Дом ученых, Дом искусств, издательство «Всемирная литература» и т. д. Всякого человека, способного строить, создавать реальные ценности, он старался поддержать, давал ему дело в руки, ревниво следил за его работой. Он ценил людей не только по уже сделанному, но и по тому, что они еще могут сделать, по возможностям, заложенным в них.

Горький намерен был издать все лучшие произведения мировой литературы. В этом громадном деле мне назначено было доставать сочинения русских и иностранных писателей. Окончательного и точного плана изданий еще не было, и мне была предоставлена некоторая свобода в выборе книг. Вскоре я не знал уже, куда и класть все эти многотомные труды гениев и талантов.

Работа эта была, в сущности, больше физическая, чем умственная. Ума требовалось ровно столько, чтобы понимать разницу между Тургеневым и Боборыкиным, физической же силы надо было прилагать куда больше, ибо иные собрания сочинений представляли собой немалую тяжесть.

Живые писатели — знаменитые и не знаменитые — приносили и присылали в издательство свои книги сами. Василий Иванович Немирович-Данченко привез свое полное собрание сочинений на тележке. Алексей Максимович поглядел на всю эту обильную продукцию, сложенную стопками прямо на полу, и сказал:

— А ведь Немирович хорошо написал о Кавказе [3].

Он нагнулся, вытянул нужный том и спрятал его в портфель. Это означало, что он еще раз прочтет эту книжку и, если понадобится, отредактирует ее.

Великолепно зная произведения классиков, Алексей Максимович хранил в памяти своей и книги второстепенных, третьестепенных, десятистепенных писателей. Память его казалась мне столь же обширной, как все шкафы с книгами, взятые вместе.

Книги копились в издательстве, заваливая полки, шкафы, столы, подоконники, кучами вырастая на полу. Живые книги поступали в работу, мертвые — в архив, дискуссионные — на заседания. Образовалось немалое кладбище мертвых книг. Можно было предаться грустным размышлениям, глядя, как целые собрания сочинений находили в архиве свое успокоение.

В первую очередь отправились в архив книги «военных рассказов», которые в таком изобилии пеклись в годы империалистической войны. Честные фронтовые читатели еще до революции шарахались от этих книг, как от генеральского окрика или как от какого-нибудь коменданта узловой станции, особенно любящего сажать под арест отпускных солдат, или попросту как от смертоубийственного «чемодана» [4]. В этом фальшивом шовинистическом оркестре соединялись в те годы литераторы самых разных

направлений — и мистики, и реалисты, и эстеты, и пессимисты, и бодрячки [5]. И странно, что авторы принесли сейчас всё это для издания,— это было уже чрезмерной слепотой.

Вскоре Алексей Максимович вызвал меня к себе на квартиру. Я твердо решил держаться с Алексеем Максимовичем так же просто и свободно, как и другие работники издательства. Так я решил, шагая по холодным и голодным улицам Петрограда на Кронверкский проспект. Шел я, как полагалось в девятнадцатом году, не по обмерзшим тротуарам, а прямо посреди разрушающихся мостовых и не оглядываясь на такие привычные детали города, как, например, неубранные лошадиные туши.

Я накопил в себе достаточно дерзости, чтобы бестрепетно постучать в дверь квартиры Алексея Максимовича и войти в столовую, куда был позван.

Алексей Максимович сидел за столом в голубой сорочке, без пиджака, покуривал, а на столе уютно шумел самовар — небольшой, пузатый, деловитый. Помнится, Алексей Максимович был один.

Горький, поздоровавшись, указал на стул против себя:

— Прошу.

Я передал Алексею Максимовичу список закупленных мною книг. Насупив брови, отчего лицо его сразу стало неимоверно суровым, Алексей Максимович прочел список, затем промолвил:

— Слепцова надо достать «Трудное время». Отличная вещь. Златовратского почему не взяли? Надо еще посмотреть «Записки мелкотравчатого»... [6] Решетникова не забыли? Вы еще зайдите...

Он рекомендовал мне двух-трех книжников с Литейного [7] и продолжал перечислять забытые мною книги. Список был невелик и касался тех писателей, которых я либо не читал совсем, либо никак не привык ценить по навыкам своего воспитания. О существовании «Записок мелкотравчатого» я даже и не подозревал и не знал, кто и написал их. Алексей Максимович спокойно разъяснял мне значение писателей, произведения которых отсутствовали в моем списке, не видя, очевидно, случайности в том, что я упустил их. Это было очень похоже на урок. Но ему приходилось обучать так и старых, заслуженных литераторов.

Внезапно он прервал себя.

— Да вы себе чаю налейте,— сказал он, кивая голо-

вой па самовар, и шея его чуть вышла из воротничка.— Налейте. Вот перед вами чашка.

Я поставил чашку под кран, открыл его, но закрыть уже не смог. То ли с краном что-то случилось, то ли урок на меня так подействовал, но кран категорически отказался поворачиваться. Вода выливалась на поднос, я весь вспотел, но ничего не мог поделать с взбунтовавшимся самоваром.

Алексей Максимович поднялся, прошел ко мне, легким движением пальцев закрыл кран и поставил чашку передо мной. Вернулся на свое место, закурил и сказал:

— «Записки мелкотравчатого» вы у Десницкого попросите. У него есть.

Я поглядывал с изумлением и страхом на медный кран, как на живое и недоброе существо. Этот проклятый кран не пожелал подчиниться мне, но без всякого сопротивления покорился Горькому. Вещи слушались Горького. Если он брал в руки какую-нибудь безделушку и начинал поворачивать ее, рассматривая, то этот предмет, зажатый между большим и указательным пальцами его руки, как бы оживал, играл, прихорашиваясь, и, казалось, остался бы висеть перед его глазами, даже если б он выпустил его. Горький любил произведения рук человеческих, и вещи отвечали ему взаимностью.

Список книг, закупленных мною, Алексей Максимович одобрил. Но дополнительный список, который дан был Алексеем Максимовичем, показал мне, что книги не только умирают, но могут и воскресать из мертвых.

Время меняет оценку. Книги испытывают судьбу независимо от их авторов. Можно сколько угодно рекламировать плохую книгу, но она все равно рано или поздно умрет. И можно как угодно ругать или замалчивать хорошую книгу, но она все равно останется в живых.

Однажды был литературный вечер в клубе милиционеров. Большой зал был полон народу. Обещаны были выступления лучших писателей, в том числе Максима Горького.

Знаменитости один за другим читали свои произведения. Их встречали и провожали вежливо, слушали внимательно и с уважением. Но когда появился перед публикой Алексей Максимович, зал грохнул аплодисментами и приветствиями. И сам Горький, в отличие от других выступавших, чувствовал себя совершенно свободно, был очень весел и весь светился оживлением.

— Ну да,— раздраженно сказал кто-то из присутствовавших здесь литераторов своему соседу, тоже литератору,— здесь он в своей компании.

Алексей Максимович, бесспорно, был здесь в своей компании. Он был с народом, он был единственным подлинно народным писателем среди выступавших. Революция принимала все без исключения произведения его.

Он хотел и других писателей убедить в том, что надо работать для народа. Он давал им работу, подсказывал темы, с величайшим тактом учитывая возможности каждого.

Вокруг Алексея Максимовича собиралось все больше и больше литераторов, ученых, художников, интеллигентов всех профессий. Иными из новоявленных друзей Алексей Максимович увлекался чрезвычайно. Он вообще увлекался людьми часто и неудержимо.

Позже, в двадцать первом году, в беседе с нами, молодыми, начинающими писателями, он сказал как-то:

— Меня называют бытовиком, даже натуралистом. Но какой я бытовик? Я — романтик.

Далеко не все оправдывали эти его порывы. Приходилось ему часто обманываться в людях. Но он все равно не менял своего поведения и продолжал увлекаться то тем, то другим.

Это была в нем изумительно молодая черта, редкая для писателя, справившего пятидесятилетний юбилей со дня своего рождения. ⟨...⟩

Прошло несколько недель, и в работе моей совершилась серьезная перемена. Я сидел уже за секретарским столом в той же комнате, в которой принимал посетителей Алексей Максимович Горький, и сознание мое явно отставало от действительности.

Гордый, испуганный, счастливый и растерянный неожиданным выдвижением на столь высокий пост, я робел каждый раз, когда входил в комнату Алексей Максимович. Никак не мог я привыкнуть к тому, что нахожусь чуть ли не в ежедневном общении с Максимом Горьким. Среди посетителей попадались люди весьма известные, даже знаменитые — академики, профессора, писатели. Я был полон почтения и энтузиазма.

К тому часу, когда являлся Алексей Максимович, толпа просителей обычно ожидала его в приемной. Все

они так горячо выражали свои чувства Алексею Максимовичу, что казались равно обожающими его.

Алексей Максимович приходил всегда с толстым портфелем под мышкой. Из портфеля он вынимал одну за другой прочитанные рукописи и книги и выкладывал их на стол.

Очень высокий, очень гибкий, очень бесшумный, он для меня был вне возраста. Он представлялся мне очень старым и мудрым и очень молодым, самым молодым и даже шаловливым, когда, весь светясь, начинал, например, рассказывать что-нибудь забавное и увлекательное, изображая вдруг то официанта, то — неожиданно — пастуха в киргизских степях.

Я доверчиво полагал, что те, кто объясняется в любви к Алексею Максимовичу, действительно преданы ему и революции,— был я все-таки еще очень молод, возможность дистанции между истинным чувством человека и словом его была неясна мне. ⟨...⟩

Алексей Максимович получал много писем, и случалось, что из конверта вдруг вываливалась завязанная петлей веревка,— это очередной негодяй грозил великому писателю расправиться с ним по-белогвардейски. К угрозам этим Алексей Максимович относился юмористически.

Алексей Максимович хлопотал о пище, о сапогах, о жилье для людей умственного труда и от каждого требовал хорошей работы. Просьбы же он принимал всякие.

Писатель Федор Сологуб должен был дать Алексею Максимовичу новое свое произведение, но вместо ожидаемой рукописи принес ему ходатайство о корме для своей коровы.

Алексей Максимович внимательно, чуть сдвинув брови, прочитал это ходатайство, проставил в одном месте недостающую запятую и тут же, взяв листок бумаги, начал терпеливо покрывать его крупными, почти печатными буквами, составляя письмо в помощь корове Сологуба. При этом подвижное лицо его стало сердитым, словно он делал кому-то выговор.

Передавая это письмо Сологубу, он улыбнулся, стер движением губ усмешку и вновь улыбнулся. Он привычен был ко всякого рода ходатайствам, даже самым курьезным.

Случилось однажды, что один бывший статский советник обратился к Алексею Максимовичу с просьбой вернуть ему его утраченный чин. Алексей Максимович

очень обрадовался этому статскому советнику — он любил анекдоты.

Алексей Максимович никого не оставлял без внимания, и не бывало так, чтобы человек ушел, не повидав его.

Было подчас непонятно, как это хватает времени у Горького на все, что он делал. Он вел огромную организационную и общественно-политическую работу, читал и редактировал громадное количество рукописей, писал, регулярно принимал посетителей по самым разнообразным делам, иногда не имеющим никакого касательства к литературе.

Приемная всегда была полна народу в те дни, когда приходил Алексей Максимович. Глаз мой привык к этому зрелищу битком набитой приемной. Тем более удивительно было отметить мне, что толпа посетителей стала вдруг редеть.

Это случилось осенью девятнадцатого года, и я вначале никак не соединял такой неожиданный факт с наступлением Юденича на Петроград [8]. Мне он казался случайностью. Но чем ближе подходил Юденич к Петрограду, тем меньше становилось посетителей у Алексея Максимовича, и притом посетителей непризывного возраста.

Приемная пустела.

Это была невеселая картина.

Один за другим исчезали почтительные визитеры, так обожавшие Алексея Максимовича. ⟨...⟩

По приемной Горького можно было измерять приближение Юденича к Петрограду. Утешительно было все-таки то, что наиболее революционная часть тогдашней интеллигенции не оставила Алексея Максимовича. Среди этих людей были его честные помощники и сотрудники в той колоссальной работе, которую он вел тогда. Но остальные отхлынули, отшатнулись, сгинули в те осенние тревожные дни.

В тот день, когда Юденич подступил к самым воротам города, Алексей Максимович, как всегда, явился на работу.

На столе в кабинете его ждала большая пачка писем, и Алексей Максимович принялся вскрывать их. Вот он вынул из одного конверта петлю, а вот вторую, третью... Были и письма с площадными ругательствами. Сейчас их стало особенно много. Известно было уже, что у Юденича составлен список большевиков, подлежащих не-

медленному повешению, и список этот открывался именем Максима Горького.

Алексей Максимович аккуратно складывал присланные ему анонимными белогвардейцами петли одну на другую. Возводя башенки из смертоносных петель, изредка откидывался на спинку стула, проводил пальцем по усам, потом продолжал свое удивительное занятие, и синие глаза его сияли любопытством и насмешкой. Пока его умелые, сильные пальцы играли с заготовленными для него удавками, в комнату один за другим заходили ближайшие его друзья, помощники во всех делах.

Вынув из последнего конверта последнюю петлю и ловко устроив ее на верхушке башенки, Алексей Максимович поднялся и, чуть сутулясь, прошелся по комнате.

Затем он сидел с друзьями в фонаре, висящем над Невским проспектом. Это был действительно фонарь — остекленный выступ, лепившийся к стене дома. Во всю длину свою виден был отсюда мертвый проспект. Ни трамваев, ни извозчиков, ни случайных прохожих. Только изредка показывались конные и пешие патрули да на ближайшем перекрестке дымились угли ночного костра.

Алексей Максимович перебирал имена исчезнувших писателей. Он говорил, то и дело по привычке своей касаясь пальцами усов:

— Мережковский... он, как фокстерьер, висел на моей шее...

В его глуховатом баске слышалась усмешка.

— Сологуб... У него душа — как недоношенный ребенок в спирту, уродец, да...

Он помолчал и промолвил вдруг:

— А моя душа сегодня — как большая кошка с рыжими глазами, и шерсть стоит...

Мимикой и жестами он изобразил эту самую кошку, душу свою.

В приемной было пусто.

Обычные просители не появлялись сегодня, чтобы лишний раз объясниться Алексею Максимовичу в любви. Пустая приемная была как дыра, брешь, пробитая в наивном представлении о людях. ⟨...⟩

Потом посетители стали возвращаться в приемную, они прибывали с каждым днем. Их становилось тем больше, чем стремительней откатывались банды Юденича к Нарве. И опять они так горячо выражали свои чувства

Алексею Максимовичу, что казались равно обожающими его.

Алексей Максимович принимал посетителей по-прежнему внимательно, заботился о каждом. Он спокойно и настойчиво продолжал воспитывать людей, отвоевывая для Советской власти всех, кого можно было отвоевать среди старой интеллигенции. И усилия его, как известно, оправдались в отношении многих.

Нельзя, впрочем, сказать, что ко всем одинаково относился Алексей Максимович. Уравниловки не было.

От иных он уже ничего хорошего не ждал и не надеялся на них. Бывало так, что, слушая того или иного просителя, он старался не глядеть в глаза ему, словно ему стыдно было за человека, гладил сердитый ус, стучал пальцами по столу и вдруг обрывал собеседника неожиданным словом или движением. ⟨...⟩

Алексей Максимович отлично знал всякую физическую работу. В те годы и ученые академики, никогда не бравшие топора в руки, сами подчас кололи дрова. Но много времени тратилось при этом на каждое полено, и левая рука не помогала правой. Горький раскалывал полено, придерживая его левой рукой, как опытный дворник,— он не боялся отрубить топором палец.

Он прекрасно чувствовал паразита даже в самом привлекательном обличье. Если в словах собеседника он улавливал пренебрежительное отношение к людям физического труда и склонность кичиться своей высокой интеллигентностью, в нем тотчас же подымался старый пролетарий, и «аристократ духа» тонул немедленно. Алексей Максимович умел отбрасывать, когда нужно было, всякую вежливость.

Все проявления творчества человеческого были драгоценны ему, вся жизнь была для него непрерывным творчеством, созданием все новых и новых ценностей на благо людей, и душе его близок был всякий труд — и литератора, и токаря, и живописца, и плотника. Ценил он человека прежде всего по работе.

В работе каждого он умел отделить плохое от хорошего. Одна переводчица представила книжку туманных рассуждений о западноевропейской литературе. Книжка эта оказалась знакома Алексею Максимовичу, и он, отбросив ее, промолвил:

— Никому не интересно знать, что думает эта образованная дама о литературе.

А переводы этой же «дамы» он похвалил:

— Отличная работа.

С любопытством обозревал он бывших хозяев жизни, которых быт того времени бросал подчас к нему. Среди этих вымирающих экземпляров человеческой породы попадались иногда оригинальные фигуры. Однажды, например, явилась к Алексею Максимовичу барыня, которая требовала, чтобы в ее дом (так она и выразилась — «в мой дом») не вселяли семей с детьми:

— От детей всегда идет беспокойство и сырость.

Алексей Максимович, выпроводив ее, сказал заинтересованно:

— Курьезная мадам. Ведь какое изуверство — сырость от детей... Говорит, как про слизняков каких-то... ⟨...⟩

В то же время он давал жестокий отпор истребителям людей умственного труда — махаевцам [9]. Помню, как, встретив очередное препятствие в организации Дома ученых, он, взволнованный, шагал по комнате и говорил:

— Такие прямо голову хотят отрубить России. А ведь хромоногий Кони [10] — и тот работает, взобрался сегодня ко мне по лестнице...

Он перечислял ученых, работавших с ним рука об руку, и восхищение звучало в его голосе. Неистребима была в нем вера в мощь человеческой мысли, человеческого труда.

Много хлопот доставляло ему устройство разных бытовых дел интеллигенции. Как-то, сочиняя очередное рекомендательное письмо для кого-то из литераторов, он вдруг откинулся на спинку стула и промолвил весело:

— А ведь я прямо как полицмейстер. ⟨...⟩

Горького хорошо знали в народе. На Красной улице помещались курсы комсомола, не успевшего справить в ту пору еще и первую годовщину своего существования. На этих курсах, где я проводил занятия, часто возникали разговоры о Горьком, о его героях как о живых людях. Юноши и девушки переносили героев Горького из прошлого в современность, как бы домысливая их развитие. Вспоминаю, как однажды спор о Гавриле из рассказа

«Челкаш» перешел в разговор о деревне, о путях крестьянства, о самых актуальных проблемах того времени.

Иногда мне приходилось сопровождать Алексея Максимовича с работы к нему домой на Кронверкский. Обычно Горькому давали лошадь. Как-то ехали мы на извозчике, и единственный экипаж на пустынном проспекте привлек внимание милиционера, молодого парня. Он остановил извозчика, подошел проверить и увидел Горького. Сдвинув белесые брови, милиционер напряженно всматривался в как будто знакомое лицо и не мог сообразить, где он встречал этого гражданина в старомодной черной широкополой шляпе, в черном длиннополом осеннем пальто с наполовину поднятым воротником и с толстым портфелем на коленях. Наконец он осведомился хрипловато:

— Как фамилие?

Алексей Максимович назвал свою подлинную фамилию:

— Пешков.

Похоже было, что фамилия эта ничего не подсказала милиционеру. Но лицо этого Пешкова было ему все же удивительно знакомо. Наконец он, решившись, махнул рукой:

— Проезжайте, товарищ Пешков.

Извозчик тронулся. А лицо милиционера вдруг просветлело, он вспомнил, сообразил или догадался — не знаю, но, во всяком случае, крикнул весело, радостно:

— Здравствуйте, товарищ Горький! 〈...〉

Двадцатого сентября 1920 года в петроградском Доме искусств был дан банкет в честь приехавшего к нам знаменитого английского писателя Уэллса [11].

Это был необычайно богатый по тем голодным временам банкет. Иностранного писателя принимали очень гостеприимно. Длинные столы в большом зале были покрыты чистыми скатертями Елисеева [12]. На столах не только хлеб и колбаса, но у каждой тарелки лежала даже палочка настоящего, давно не виданного шоколада. Горело электричество, топилась печь.

Максим Горький и Герберт Джордж Уэллс сидели друг против друга — старые знакомые, коллеги по мировой славе [13].

Приземистый, коренастый, упитанный, Уэллс, этот автор увлекательнейших фантастических романов, имел

вид расчетливого практика, реальнейшего из людей. Он был скептичен, устойчив, неподвижен.

Лицо Алексея Максимовича выражало все движения его души.

Вот глаза его улыбнулись,— Горький увидел среди присутствующих любимого им человека. Но тотчас же он насупился, посматривая направо и пальцем теребя ус: пришла и шумно разместилась за столом большая группа журналистов из закрытых буржуазных газет.

Да, лицо Алексея Максимовича нельзя было назвать неподвижным. Это было живое лицо живого человека, а не маска. И оно меняло свое выражение в зависимости от того, куда был направлен взгляд, и от того, что происходило.

А происходило неладное.

Когда начались речи, состав собравшегося общества определился ясно. Особенную активность проявляли журналисты закрытых газет. Отдельные голоса советских литераторов заглушались ораторским темпераментом людей, выбывших вскоре после этого вечера в эмиграцию. Эти ораторы жаловались, просили помощи, клеветали, но действовали они все же в достаточно осторожной форме: они орудовали намеками, дополняя слова безнадежными жестами, скорбными и гневными взглядами: «Невозможно, мол, все сказать до конца, опасно, но вы сами понимаете...» Один из ораторов так и выразился:

— Мы лишены права говорить членораздельно.

Апогеем этого ряда выступлений была речь известного в дореволюционные времена писателя Амфитеатрова. По изобилию сочиненных им книг он был равен, пожалуй, только Боборыкину и Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, и был этот человек неимоверных объемов.

Он решил быть самым бесстрашным и разоблачить все до конца.

Он говорил, вкладывая в слова весь свой темперамент:

— Вы, господин Уэллс, видите хорошо одетых людей в хорошем помещении. Это обманчиво...

Тут он взъярился и, вообразив себя, очевидно, перед многотысячной аудиторией, завопил:

— Но если все здесь скинут с себя верхние одежды, то вы, господин Уэллс, увидите грязное, давно не мытое, клочьями висящее белье!..

Тут Алексей Максимович улыбнулся.

Это уже был анекдот. Стараясь разоблачить перед

иностранным гостем «ужасы революции», противники самым комическим образом разоблачали самих себя.

Все же Алексей Максимович поднялся с места и промолвил:

— Мне кажется, что ламентации здесь неуместны.

Но это замечание вызвало разные протестующие возгласы. Амфитеатрову оно только прибавило пафоса.

Вскоре после этого Амфитеатров бежал за границу и объявился уже в белогвардейской прессе.

Здесь, в этом зале, как и везде, Алексей Максимович олицетворял движение, вечное движение вперед — жизнь.

Его произведения, самые реалистические, самые страшные, проникнуты мечтой о лучшем человеке и лучшей жизни.

Алексей Максимович прошел сквозь испытания потяжелее, чем «клочьями висящее белье», и не пошатнулся в вере своей в творческие силы человека.

Свою ответную речь Уэллс адресовал главным образом небольшой кучке присутствовавших здесь подлинно советских людей. В его ответе сказалось стремление понять суть «коммунистического опыта», как выразился он [14].

Никто больше не просил слова.

Представление кончилось.

Тогда Алексей Максимович поднялся и сказал очень весело:

— Приветственные речи кончились, чему я очень рад. Я надеюсь, что прекрасный ум Уэллса,— вежливый полупоклон в сторону гостя,— извлечет из всех этих речей какое-нибудь жемчужное зерно, если оно имеется в них. Революция непобедима. Она перестроит мир и людей...

Он, первый мировой писатель пролетариата, говорил как судья и хозяин — уверенно и свободно. Его краткая, чуть ироническая речь дышала огромным достоинством.

В. М. ХОДАСЕВИЧ

ТАКИМ Я ЗНАЛА ГОРЬКОГО

В 1916 году на выставку в Художественном бюро Н. Е. Добычиной [1], в Петрограде, где я выставила много своих живописных работ, пришел Горький. Мои работы его заинтересовали, и он хотел купить большой холст, изображавший улыбающуюся девушку в черемисском костюме, стоящую под деревом,— вдали поля, холмы, небо. Девушку звали Саша, её я писала с натуры у себя в мастерской, а пейзаж был выдуманным. Вероятно, Горького прельстили в этой вещи декоративность, веселость красок и этнографичность. Но «Саша» к Горькому не попала, так как была уже куплена молодым коллекционером В. Ясным.

После истории с «Сашей» прошло несколько месяцев, и я о ней забыла. Но однажды телефонный звонок из издательства «Парус» заставил меня вспомнить о ней. По поручению главного редактора издательства Горького звонил мне Александр Николаевич Тихонов, работавший в издательстве, и просил, если я не имею ничего против, в ближайшее время прийти в редакцию для разговора с Горьким по поводу работы. На следующий день я уже неслась «на всех парусах» в издательство «Парус», с Васильевского острова на Петроградскую сторону, где на Монетной улице (ныне улица Скороходова) [2] и находилось это издательство и редакция журнала «Летопись», неутомимым работником которых был А. М. Горький.

В редакции меня встретил А. Н. Тихонов, познакомил со своей женой Варварой Васильевной Шайкевич, секретарем редакции, и повел меня в кабинет Горького.

Удивительно, до чего же сложившееся у меня еще с детства представление о Горьком (благодаря разгово-

рам, которые часто возникали в доме моих родителей, и фотографиям, которые я видела в журналах и газетах) не соответствовало облику того Горького, который меня встретил в редакции! Передо мной был высокий тонкий человек с упрямо посаженной на туловище небольшой, по отношению ко всей фигуре, головой, отчего он казался еще выше, чем был на самом деле. Сразу поразили пристально вникающие, необычайно внимательные, думающие, детской голубизны глаза. Рука, протянутая мне, была ласковой, мягкой и доброжелательной. Движения неторопливые, походка скользящая, легкая, неслышная. Ничего деланного. Необычайная простота и естественность. Ничего от «знаменитости». Очень хорошо сшитый серый костюм, ловко и непринужденно сидящий на нем, рубашка голубая (почти совпадающая с цветом глаз) с мягким воротником. Удивило отсутствие галстука. (Галстуки Алексей Максимович не любил и никак не мог привыкнуть быстро завязывать их.)

Редакционный кабинет Горького занимал большую комнату, обставленную удобной мебелью делового типа. У окна стоял письменный стол и кожаные коричневые кресла. В глубине — большой полированный стол, окруженный стульями,— очевидно, для собраний и заседаний. У стен стояло несколько шкафов с книгами и папками. Алексей Максимович предложил мне сесть в кресло у письменного стола, сам сел напротив. Он вспомнил о том, как ему не удалось приобрести мою «Сашу», и перешел к разговору о предлагаемой мне работе. На первый раз мне было предложено сделать иллюстрации к сказке «Глупый король» К. И. Чуковского для детского сборника «Елка» [3]. Я сразу же согласилась. «Ну вот, очень хорошо! Поработаем вместе. Мы и в дальнейшем на вас рассчитываем, а сейчас познакомлю вас с автором». Алексей Максимович вышел из кабинета и вскоре вернулся с таким же худым и высоким человеком, как и он сам, но моложе его, с прядью темных волос, перечеркнувшей наискось его лоб. Это был Корней Иванович Чуковский, который тут же передал мне свою рукопись — «Сказку о глупом короле».

И Горький, и Чуковский, и Тихоновы, и вся атмосфера редакции мне очень понравились, и я возвращалась домой, уже обдумывая новую работу.

Прошло несколько дней. Углубившись в рисунки к «Глупому королю», слышу телефонный звонок. Подхожу.

Очень приятный, но актерски поставленный женский голос говорит: «Валентина Михайловна? Здравствуйте! Я Андреева Мария Федоровна — жена Алексея Максимовича. Он мне рассказал о знакомстве с вами, и мы оба очень хотели бы, чтобы вы пришли к нам в гости послезавтра вечером. У Алексея Максимовича будут друзья — хотелось бы видеть и вас в их числе».

Я все еще не могла после Москвы окончательно привыкнуть к Петрограду и казавшимся мне чопорными петроградским художникам. Бывая у них, чувствовала себя неуютно и как-то чуждо. Получив приглашение от Андреевой, я сразу решила, что не пойду, и, поблагодарив, сказала, что, к сожалению, я не смогу быть, так как этот вечер у меня уже занят. «Как жалко,— очень искренне воскликнула Мария Федоровна,— а у меня на вас были виды!» — «Какие виды?» — спросила я. «Народу будет у нас много, и я, опасаясь, что не хватит ножей и вилок, надеялась, что вы меня выручите и привезете из вашего хозяйства». И эти «ножи и вилки» как-то сразу заставили меня почувствовать, что мне нечего бояться чопорности в доме Горького. Мне очень захотелось пойти на этот вечер. И я как-то наивно-быстро сказала Марии Федоровне: «Ах, если вам нужны ножи и вилки, я, конечно, приеду и привезу все, которые имеются в моем хозяйстве».— «Запишите наш адрес,— сказала Мария Федоровна.— Кронверкский проспект, дом 23, верхний этаж [4]. Так, значит, мы вас ждем послезавтра!»

На вечере я была, вилки и ножи привезла, меня опекали и радушные хозяева, и Тихоновы. Там я познакомилась со многими певцами, балеринами и художниками. Вечер был шумный, дымный, в одних комнатах горели свечи и шли беседы и споры, в других ярко горел электрический свет. Столы были разбросаны по разным комнатам, и гости пристраивались ужинать, где хотели и кто с кем хотел. Веселились, танцевали, пели — до утра. Мне тоже было интересно и весело. Мария Федоровна и Алексей Максимович были внимательными и любезными, но не надоедливыми хозяевами.

Я следила за Алексеем Максимовичем и заметила, что он как-то незаметно переходил от одной группы гостей к другой, а часто стоял один, с папиросой в руке, прислонившись к чему-нибудь, наблюдая за происходящим. Лицо его то выражало почти детское любопытство, то он ласково улыбался, то делался очень серьезным и почти

гневным. Видно, жил он какой-то своей, углубленной жизнью. И всегда в дальнейшем я замечала, что он, бывая среди большого количества людей, любил в какой-то момент предоставить их самим себе, а сам делался сторонним наблюдателем, но делал это так деликатно, что мало кто замечал, как он «выходил из игры».

Знакомство наше шло скачками. Алексей Максимович был раза два у нас гостем на Васильевском. Уже приближался бурный 1917 год. У каждого была своя насыщенная работой жизнь, но встречи с Алексеем Максимовичем приближали меня неуклонно к большой дружбе с ним и его близкими. ⟨...⟩

НА КРОНВЕРКСКОМ

Портрет Горького я писала летом 1918 года в его новой квартире на Кронверкском проспекте в доме 23, квартира 7, четвертый этаж. Алексей Максимович был очень «заинтересованной» и терпеливой моделью, но, чтобы он меньше утомлялся, я решила писать его сидящим за небольшим столом. Писала я его в натуральную величину, маслом.

Позировать, конечно, в любой позе и утомительно, и надоедливо. Мне самой приходилось предлагать ему делать перерывы для отдыха. Он говорил: «Ничего, ничего, сударыня. Вы только пишите, обо мне не беспокойтесь...» Так что я иногда, заметив, что моя модель как-то «тускнеет», сама притворялась уставшей и говорила: «Не могу больше, давайте отдохнем недолго».— «Ну, пожалуй»,— соглашался Алексей Максимович. Единственная вольность, которую он себе позволял и заранее оговорил, было курение. Когда он затягивался и как-то украдкой выпускал дым изо рта, он каждый раз извинялся.

Позировал мне Алексей Максимович раз восемь-десять, но не каждый день. Сеансы длились часа два — два с половиной.

В то время я чувствовала себя опытным и бывалым портретистом (я уже много написала заказных портретов), и храбрость молодости мешала мне долго задумываться и мучиться над работой.

Во время сеанса Алексей Максимович, стараясь не менять позы, рассказывал мне интереснейшие похождения своих молодых лет — разнообразные истории о людях Нижнего Новгорода, о быте и нравах именитого купече-

ства, о ярмарках, духовенстве, монастырях, об Арзамасе и Америке, Италии, Финляндии и многом-многом другом.

Это был поток интереснейших рассказов. Поражали точно найденные слова для характеристик людей, городов, пейзажей. Передавая диалог разных людей, он никогда не прибегал к имитации их интонаций и жестов. Но в этом и не было надобности — такими убедительно найденными словами они были охарактеризованы и таким типичным было их поведение. Они получались живыми и абсолютно правдоподобными. К сожалению, я не всегда достаточно внимательно вслушивалась в эти рассказы, так как мне приходилось вникать в свою работу. Я знала, что Алексей Максимович это замечал, но он не прерывал своих рассказов, во-первых, из деликатности, всегда присущей ему, чтобы внезапным молчанием не разрушить моей творческой напряженности, а во-вторых, он ведь рассказывал не только для меня, а и самому себе. Наблюдая мою реакцию на рассказы и выверяя на слух, как неутомимый и взыскательный профессионал, эти свои литературные заготовки, он дорабатывал отдельные куски своих будущих рассказов и романов, а иногда подготовлял новую редакцию старых. Это я поняла уже позднее, когда многое из рассказанного мне встречала в его новых творениях. Я ужасаюсь до сих пор, понимая, какие духовные и литературные ценности так щедро предлагались моему вниманию и что я теряла (и не только я!) из-за того, что невнимательно слушала и вникала в рассказы, вовлеченная в свой творческий процесс. Быть бы мне тогда лучше стенографисткой!

Обычно до завершения работы свои я никому не показывала — особенно портреты. У меня был какой-то суеверный страх того, что, показав начатую работу, я не смогу закончить ее.

Позднее я поняла, что понятие «законченности» в искусстве — весьма относительное понятие и со зрелостью к художнику приходит постоянное чувство неудовлетворенности своей работой и желание все больше совершенствовать. Но в то время, когда я писала портрет Алексея Максимовича, мне еще мало были знакомы «муки творчества».

И вот настал день, когда портрет был закончен [5]. Надо было его показывать, и, конечно, прежде всего Алексею Максимовичу. Мне было очень страшно. Алексей Максимович тоже заметно волновался. Когда он увидел порт-

рет, лицо его выражало огромное любопытство. Наконец, после мучительной паузы я услышала, как он приглушенно (от волнения, вероятно), но с интонацией какого-то облегчения сказал: «Вот это здорово! Молодчина! Ловко вы меня задумали! — и глаза голубые, и рубашка голубая, и куски неба... вот жаль, что я не покрасил усы в голубой цвет, ну это уж в другой раз изобразите, а это — мне нравится!»

Алексей Максимович всегда очень чутко и внимательно относился к всяческим поискам нового в искусстве, и, если даже ему что-то и не нравилось, он готов был часть вины приписать своему непониманию. ⟨...⟩

...К началу 1919 года мы не только сдружились с Алексеем Максимовичем и его женой Марией Федоровной Андреевой, но так случилось, что они предложили нам с мужем переехать жить к ним в большую квартиру на Кронверкском проспекте. Мы согласились и жили там с ними до отъезда Марии Федоровны и Алексея Максимовича за границу в 1921 году [6].

В квартире было двенадцать комнат. В них жили: Алексей Максимович, Мария Федоровна, Иван Николаевич Ракицкий, Петр Петрович Крючков, Мария Игнатьевна Бенкендорф-Закревская, Мария Александровна Гейнце (приехавшая из Нижнего Новгорода учиться в Военно-медицинской академии) и я с мужем [7]. Питаться приходили живущие в верхней квартире этого же дома дочь Марии Федоровны с мужем и ее племянник Женя Кякшт с женой. Образовалось нечто вроде «коммуны». Все мы работали в разных учреждениях (муж, Ракицкий и я — в Экспертной комиссии Внешторга, Мария Игнатьевна — секретарем в издательстве «Всемирная литература», Крючков — помощником Марии Федоровны в отделе театра и зрелищ), получали скудные пайки, которые приносили домой в «общий котел», и плохо, но как-то питались. Общее хозяйство «коммуны» вела пожилая, но очень энергичная женщина Анна Фоминична. Часы досуга мы проводили вместе и так как были молоды, то ничуть не унывали и даже, бывало, веселились. Алексею Максимовичу такое окружение нравилось.

Четыре маленьких проходных комнаты в общей квартире были владениями Алексея Максимовича. Первая — библиотека, следующая — спальня, третья — кабинет и

четвертая, почти без мебели, только с шкапчиками и витринками — для коллекций китайских и других восточных вещей. Комната, в которой библиотека,— длинная, с одним окном, в ней, кроме полок с книгами, стоявших вдоль стен, и полок, стоявших к ним перпендикулярно, был небольшой стол у окна, два стула и треногая жардиньерка, а в ней горшок с каким-то растением. Один из углов комнаты был срезан кафельной печкой, выходившей в следующую комнату — спальню — и коридор. Перед печкой — низкое кожаное кресло. Это — рабочая библиотека Горького, и он относился к каждой книге в ней, как к старому испытанному другу — бережливо, с любовью и уважением. ⟨...⟩

Алексей Максимович сказал мне, что когда перед пим лежит чистый лист бумаги и он берет в руки перо, накопившиеся мысли, как бомбы, взрываются у него в мозгу, а писать ему нужно петиции, докладные записки и проч., адресованные учреждениям, и... «представьте себе — я сажаю на бумагу кляксы, имеющие вид чернильных взрывов...».

Однажды утром раздался звонок у входной двери, и, когда Соловей [8] открыл дверь, в переднюю ворвалась молодая женщина и, плача, требовала, чтобы ее пустили к Горькому. Соловей сказал, что Алексей Максимович работает, беспокоить его нельзя, и просил ее назвать себя. Она оказалась поэтессой Наталией Грушко, рассказала, что у нее грудной ребенок, что у нее нет молока и она пришла просить Горького, чтобы он похлопотал о регулярной выдаче молока ее ребенку. Говоря это, она окончательно расстроилась и громко зарыдала. Ракицкий понял, что ее надо отвлечь от горя чем-нибудь. Он принес из кладовой щетку, совок и тряпку и предложил ей в ожидании Алексея Максимовича подмести переднюю, а заодно и его комнату, а также вытереть пыль. Это было неожиданной, но удачной мыслью: Грушко как-то сначала растерялась, но потом взяла щетку и принялась за уборку.

Когда появился Алексей Максимович, сделавший перерыв в работе, Грушко уже была «в порядке» и толково все рассказала ему. Он написал и дал ей адресованное к кому-то из товарищей, ведавших распределением продовольствия Петрограду, письмо. Причем для большего успеха дела он написал, что речь идет о его незаконном ребенке, но он просит сохранить это в тайне. Грушко

ушла, роняя слезы благодарности. Соловей просил ее как-нибудь зайти и рассказать, дают ли ей молоко, а заодно убрать его комнату — уж очень хорошо она это делает! Этим он довел ее даже до улыбки. Молоко Грушко получала [9].

Еще много женщин приходили с теми же просьбами. Алексей Максимович, желая им всем помочь, писал письма, усыновляя в письмах их детей, пока, наконец, товарищ, которому адресовались письма, не сказал, что, к сожалению, он не в силах снабдить молоком такое количество «детей» Горького. А мы смеялись над Алексеем Максимовичем и стыдили его. «В вашем возрасте... в вашем положении... как-то неловко... столько детей, да еще от разных матерей!» — «Вот черти драповые! Клянусь — больше никогда не буду!» — говорил Алексей Максимович и смеялся до слез.

Бабахают вдали пушки — наступает Юденич. Город готовится к обороне. В то время я работала в Экспертной комиссии при Внешторге, которая помещалась в доме Салтыковой, выходящем и на набережную, и на Марсово поле. Опаздываю я, поэтому почти бегу через Александровский парк. Меня останавливают балтфлотцы, дают в руки лопату и объясняют, что надо рыть окопы. Оглядевшись, вижу, что вплоть до моста много людей копают землю. Говорю, что мне надо на службу. «Служба подождет, а вот Юденич — нет»,— говорит мне давший лопату. Копаю, пока не кончаются силы. По Каменноостровскому мчатся грузовики, груженные какими-то станками, матрацами, и даже самовар кто-то спасал от Юденича. Поняла, что паника. Стало тревожно. Мой муж и Ракицкий тоже работали в Экспертной комиссии, они продолжали ходить туда, а я по просьбе Марии Федоровны сидела дома, чтобы Алексея Максимовича не оставлять одного.

Домой, как узнала от Алексея Максимовича, приходили к нему то товарищи из Смольного, то какие-то странно одетые люди. Товарищи уговаривали его уезжать в Москву. Говорили: «Многие уже уехали, а для вас есть распоряжение насчет специального вагона». Уверяли, что, если белые займут город, Алексея Максимовича повесят на ближайшем фонаре около дома. А странно одетые люди шепотом говорили: «Наши уже на Лиговке, но вы не бойтесь — как только займем город, поставим охранять вас

к дому вооруженных солдат. Так что не паникуйте и оставайтесь здесь».

От всего этого Алексей Максимович осунулся, озлился и беспрестанно кашлял. Мария Федоровна вернулась с работы и сказала, что была в Смольном — никого не застала. Она долго была у Алексея Максимовича и, уйдя вечером из дома, не вернулась ночевать. ⟨...⟩

Девятого января 1920 года в Железном зале Народного дома в Ленинграде открылся Театр народной комедии [10]. Худруком и главным режиссером был С. Э. Радлов, а главным художником — я. От дома № 23 на Кронверкском проспекте, где мы жили, театр был в десяти минутах ходьбы. Несколько раз на спектакли приходил Алексей Максимович и, уступив настойчивым просьбам Радлова и актера Народной комедии акробата-клоуна Дельвари, согласился и написал одноактную злободневную пьесу «Работяга Словотеков». Словотекова изображал Дельвари.

Артистам Горький предоставил право добавлять к тексту пьесы импровизации на злобу дня их собственного сочинения. «Работяга Словотеков» — это острый шарж на тип лентяя, который вместо работы все время митингует и произносит речи.

Дельвари (клоун — любимец публики), потеряв в погоне за успехом чувство меры, на премьере так переигрывал, а импровизации его были так грубы и вульгарны, что получалось совсем не смешно. Мы с Радловым замирали от ужаса, поглядывая на ложу, где сидели руководящие ленинградские товарищи и Алексей Максимович. Кончилось очень плохо: «Работягу Словотекова» приказано было снять и больше не показывать. Даже Алексей Максимович сказал, что, возможно, он чего-то недопонял, когда писал эту вещь. «Видите, как товарищи строго отнеслись — а им и карты в руки!» Видно было, что все это ему очень неприятно. Еще бы! Он долго сидел за столом, подперев подбородок левой рукой с дымящейся папиросой, а правой дробно барабанил пальцами по столу. Редко я видела его таким хмурым. А я-то, грешным делом, думаю, что в запрещении этого спектакля сыграло роль и то, что некоторые узнали себя в Словотекове и обиделись [11].

У меня хранился эскиз моей декорации и текст пьесы. Я отдала и то и другое в Архив А. М. Горького. ⟨...⟩

Еще до отъезда Марии Федоровны в Берлин (она уехала туда весной 1921 года вместе с Ракицким и Крючковым по делам торгпредства) шли разговоры о выезде Алексея Максимовича тоже за границу — лечиться. Уже и Владимир Ильич уговаривал его [12], но поначалу Алексей Максимович сопротивлялся. Здоровье его ухудшалось, и понятно было, что ему необходимо, чтобы поправиться, уехать. ⟨...⟩

Вот и последний вечер — 15 октября 1921 года. Наутро отъезд. Алексей Максимович едет через Финляндию в Берлин. Собралось много народу, плохо помню, кто именно. Положение такое, что никто не знает, кто с кем и когда свидится, а тем более с Алексеем Максимовичем, но для него и ради него все играют и бодрость и веселье. Сам он был и весел, и очень грустен, и казался даже немного чужим. ⟨...⟩

В СААРОВЕ

⟨...⟩ Сааров — летний грязевой курорт. Много санаториев. Зимой они не функционируют. Все же владелец одного из таких учреждений соблазнился и сдал Горькому второй этаж [13], но целиком. Согласились, тоже с условием, чтобы больше в доме никого из посторонних постояльцев не было. Комнат — в изобилии; кажется, десять (с запасом на гостей). У Алексея Максимовича спальня и кабинет, очень похожий на все его рабочие комнаты. Где бы он ни поселялся, сразу же столяру заказывался письменный стол, аскетически простой, но чуть выше нормального [14], его покрывали куском нетолстого сукна. Остальное писательское подсобное хозяйство кочевало с Алексеем Максимовичем, и он сам все расставлял и раскладывал на столе, и никто не должен был ничего трогать.

Конечно, были и полки с книгами, и несколько стульев, и два кресла. Спальня и того аскетичнее. Во всех комнатах выходящая на балкон стена так сконструирована, что можно открывать или отдельные фрамуги, или всю стену, и так все пригнано, что никакой ветер и мороз не попадают в комнату, если все закрыто. Удивительная точность работы. Алексей Максимович этим восторгался.

Хозяин — средних лет стандартный провинциальный немец, почтительно относится к Горькому, но каждую неделю увеличивает плату за помещение и еду. Кормит экономно. Приходится докупать самим. Штат прислуги

состоит из кухарки и горничной. Отоплением занимается сам хозяин. До двенадцати дня он не показывается, но аккуратно во время обеда появляется и произносит значительно «Mahlzeit» *. Одет в черный старомодный сюртук, крахмальный стоячий воротничок и из рукавов — белоснежные манжеты. Он высокий, худой, масть черная, горизонтальные усы. Мы называем его Жердь в сюртуке.

Алексей Максимович ведет размеренную жизнь, почти не отрываясь от работы. Пишет с упоением — дорвался! Со здоровьем еще неважно. Часто вижу его грустно гуляющим с палкой среди редких сосен, на фоне скучнейшего плоского пейзажа. Кроме воздуха и тишины, ничего хорошего. Он очень озабочен судьбой все более ожесточающегося в противоречиях человечества. Бывало его очень жалко, и мы все старались дуракаваляньем развлечь его, на что он поддавался. ⟨...⟩

Приближалась масленица, и мы обсуждали, как нам ее отпраздновать. Алексей Максимович сказал, что блины, конечно, нам не осилить — кухарку-немку еле научили делать котлеты и щи, на нее рассчитывать не приходится,— и он предложил пельмени. Тесто и фарш он сделает сам и вообще будет руководить, а женщины (Тимоша, я, Берберова и Галина Суханова, которую нужно вызвать из Берлина) будут помогать. Мы все одобрили его предложение и просили сделать список, что нужно купить для этого экзотического для немцев кушанья. Подсчитали приглашенных гостей из Берлина — человек двадцать наберется со своими; надо было прикинуть, сколько пельменей делать. Уж не меньше чем пятьдесят штук на человека, уверял Алексей Максимович. Сделаем тысячу пятьсот штук — ведь надо угостить и хозяина, и кухарку, и горничную.

Продукты закуплены. Будем делать пельмени за день до пиршества — их необходимо еще проморозить. Суханова приехала, и после утреннего завтрака мы спускаемся в полуподвальный этаж, где находятся кухонные угодья. Алексей Максимович относится ко всему затеянному, как к веселой игре, но понимает и всю ответственность своего положения. На нас покрикивает, чтобы примечали и учились, снимает пиджак, засучивает рукава, надевает клеенчатый фартук и на огромном специальном столе

* Время обедать *(нем.)*.

замешивает и раскатывает тесто, очень ловко — прямо хоть в повара! Поодаль стоят хозяин, кухарка и горничная с открытыми ртами от удивления и временами предлагают свою помощь. Алексей Максимович отказывается и говорит нам, что разве эти проклятые немцы понимают что-либо в нашей российской еде! Он очень веселый и даже помолодел. Тесто и фарш готовы, очередь за нами, женщинами,— надо делать пельмени. Конечно, Алексей Максимович нам показал что и как, но поначалу нам влетало, так как у нас никак не получалось так хорошо, как у него. Все же мы лицом в грязь не ударили... В разгар всей процедуры наш немец-хозяин вдруг вызвал Максима в коридор, откуда вскоре послышался повышенный и сердитый голос Максима. Уже когда пельмени (тысяча пятьсот штук!) унесли на досках в ледник и мы пошли к себе наверх, Максим рассказал, что он чуть не избил хозяина. Тот, оказывается, вполне серьезно предложил Максиму устраивать время от времени (и он даже возьмет расходы на себя) пельмени с участием Горького, а он, рекламируя свой санаторий, напишет, что сам «великий Горький» делает у него «russische Pelmeny». В таком случае он не будет увеличивать цену за проживание в гостинице... «Вот жалко, что раньше не уговорились и не было фотографа, чтобы сделать снимки с Горького, работающего на кухне»,— сказал он. Вот тут-то Максим и взорвался. Алексей Максимович хохотал и говорил сквозь кашель: «Вот это нация! Учиться надо!» ⟨...⟩

СОРРЕНТО

В 1924 году, в начале лета, мой муж был командирован Внешторгом как знаток антикварных вещей в Лондон и Париж. Я ехала как переводчик.

По окончании дел мы хотели отдохнуть у Алексея Максимовича в Сорренто. ⟨...⟩

Алексей Максимович проникновенно и восторженно воспринимал красоты Неаполитанского залива, и ему всегда хотелось ими похвастаться и приобщить к ним всех посещавших его гостей. Неаполитанский музей, вид с горы Вомэро на Неаполь, Помпеи были основными поводами «хвастовства» отчасти и потому, что в этих экскурсиях он мог участвовать сам и быть гидом. Более отдаленные красоты Италии были ему уже не под силу из-за здоровья,

а также оттого, что он очень много писал в те годы и не мог надолго отрываться от работы. <...>

Неаполитанский музей Алексей Максимович очень любил и знал там буквально каждую вещь. Особенно его восхищала «Психея» Праксителя, мозаика, изображавшая битву Александра Македонского, и портрет папы Павла III с сыном и внуком работы Тициана. Он показывал нам все экспонаты с гордостью и сиял, видя, что и мы восхищаемся вещами, которые он любит.

Он поощрял и составлял маршруты наших поездок с Максимом по побережью Неаполитанского залива и рассказывал подробности того, что мы увидим и на что надо обратить внимание. Он говорил Максу: «Смотри, не позабудь им показать...» — и называл, что именно. «Знаешь — это там, сразу за поворотом налево»... А как взволнованно он встречал нас после поездок, требуя подробно рассказать — что и почему понравилось.

Первый год жизнь наших друзей на Капо ди Сорренто протекала сравнительно уединенно. Но уже при мне поток людей, русских и иностранцев, желавших попасть к Горькому, все увеличивался.

Алексей Максимович и с ним живущие решили издавать журнал «Соррентийская правда». Девизом журнала было: «Долой профессионалов — дорогу дилетантам». В номере первом журнала от редакции сообщалось, что ни одно профессиональное произведение не будет допущено. До нашего приезда было выпущено два или три номера и готовился материал для следующего.

Надо сказать, что «выпускать» этот журнал было нелегко — он был рукописным и богато иллюстрированным. Хорошо еще, что тираж его был небольшой — один экземпляр. Больше всех доставалось Максиму — он и редактор, и один из художников, да бывал и автором многих литературных произведений. Оформление журнала роскошное. Бумага — ватман, формат — $^1/_4$ листа. В журнал принимались опусы любой литературной формы: роман, повесть, рассказ, очерк и стихи. В нем был отдел «Светская жизнь» и страница объявлений.

Конечно, и Горькому, и Владиславу Ходасевичу, да и Берберовой трудно было избавиться от профессиональных признаков, но они очень старались и скрывались за псевдонимами.

Все же Алексей Максимович был уличен редактором, и в журнале появилась гневная заметка о бесчестном по-

ступке профессионала М. Горького. Сообщалось, что разоблаченная рукопись выброшена в мусорную корзину.

Около столовой висел на стене ящик наподобие почтового с надписью: «Для рукописей». Ключ — у редактора.

Все участники скрывали друг от друга свое участие в журнале, и только уже в готовом виде оно делалось достоянием всех и вызывало много смеха, обсуждений и споров. Авторство нескольких произведений так и осталось нераскрытым. ⟨...⟩

В СТРАНЕ СОВЕТОВ

⟨...⟩ За несколько дней пребывания Алексея Максимовича в Ленинграде [15] мы с ним видались ежедневно — хоть ненадолго. Обедали или ужинали на крыше «Европейской». Конечно, на Горького глазели восторженно и с большим любопытством. Я посоветовала ему пойти в «Сад отдыха», там Н. К. Черкасов и Березов изображали Пата и Паташона [16]. Они привели в восторг Алексея Максимовича, но джаз, выступавший в «Саду отдыха», ему не понравился. Он вообще плохо переносил этот тип музыки, и еще в Сорренто, когда Максим в нижнем этаже ставил джазовую пластинку, он просил прекратить эту «трепку нервов», и если Максим (а он мог такие пластинки слушать часами) мешкал, он поворачивался и быстро уходил, прихлопнув за собой дверь.

Как-то мы пришли к Алексею Максимовичу вечером. Еле пробрались в его большую комнату. Мы мало кого знали из присутствовавших. Вдали рядом с Алексеем Максимовичем сидел С. М. Киров. Было шумно и сумбурно. Поразила Алексея Максимовича девушка (которую привел то ли Сергей Городецкий, то ли Ю. Либединский) — она знала наизусть 4500 частушек, специально объезжала нашу страну, собирала и записывала тексты и музыку частушек. Алексей Максимович сразу же стал прикидывать, как бы издать такой сборник частушек. Все часы у Алексея Максимовича были расписаны — куда когда ехать, когда кто придет. Так что понятно — к нам он больше не выбрался...

С того времени, как Алексей Максимович окончательно вернулся в Москву, переписка наша еле теплилась. Во-первых, он так был занят, что еле выкраивал время

даже для «Самгина», а кроме того, я очень часто приезжала из Ленинграда в Москву навещать мою мать и Алексея Максимовича. Жил он в основном в Горках X, а в Москве бывал на различных совещаниях и иногда оставался ночевать на Малой Никитской, 6 [17]. Он не любил этот парадный особняк. Про спальню свою он, смеясь, говорил, что скорее она подходит приме-балерине, чем ему,— вероятно, спутали. Кое-что из «роскоши» было утихомирено — например, потолок в комнате, которую Алексей Максимович предназначил для библиотеки. Покрытый выпуклыми лепными улитками и какими-то растениями, он весь был золотым. Его закрасили незначительной по цвету серо-зеленой краской. Стало лучше — потолок можно было почти не замечать.

Вообще Алексей Максимович не выносил показной роскоши. В Горках его комнаты во втором этаже — спальня и кабинет — были исключительно скромно обставлены (да и весь дом также). Они были большие, хороших пропорций, много воздуха. В спальне балкон. Из окон видна внизу площадка цветника, за ним, еще ниже,— Москва-река, на другом берегу которой — лес, а за ним виднелся поселок Николина гора. Но если стоять не близко к окну, то видишь небо, огромное воздушное пространство неба, и, глядя на него, кажется, что дышать легче.

Мы часто наблюдали по утрам, когда пили кофе на террасе второго этажа, как ровно в половине девятого снижался и как бы нырял чуть ли не до самого цветника самолет, покачивая крыльями в знак приветствия, и круто взмывал в небо. Первое время все за столом инстинктивно пригибались, а Алексей Максимович говорил: «Ух ты! — ну, на этот раз пронесло!» Вскоре мы привыкли и, когда самолет не появлялся, даже беспокоились.

Алексей Максимович развел такую бурную деятельность, что стало понятно, как ему трудно было быть вне родины, да и родине тоже был очень важен и нужен его приезд. Со всех ее концов стекались к нему люди — самые разнообразные. Просто возникло какое-то паломничество и старых, и малых. ⟨...⟩

В 1932 году у меня была передышка в срочной работе, и я отпросилась к 17 сентября в Москву на празднование сорокалетия литературной деятельности Алексея Максимо-

вича. Я попала на Малую Никитскую перед обедом. Груды телеграмм и писем ждали Алексея Максимовича в столовой, так как в этот день он все равно с утра до обеда работал. В половине второго (он был всегда очень аккуратен) Алексей Максимович появился в столовой, я его поздравила и, к удивлению своему, увидела, что он мрачен. Я даже спросила: «Вы здоровы?» — «Как сказать? Я зол»,— ответил он. Я еще больше удивилась, так как уже утром прочитала опубликованное постановление ЦИК Союза ССР, в котором говорилось о мероприятиях, предпринятых в связи с юбилеем: об учреждении Литературного института имени Горького, стипендий имени Горького, о переименовании МХАТа в МХАТ имени Горького.

Алексей Максимович даже осунулся и мрачно сказал, что он, конечно, все ценит и благодарен, но что переборщили товарищи! «Разве же так можно? Желая мне добра, назвать МХАТ именем Горького. В каком же я виде оказываюсь перед Чеховым! Да и перед всеми русскими людьми. Это же в основном театр Чехова. Не знаю, как и быть!»

Во время обеда пришли сообщения о переименовании Нижнего Новгорода в город Горький и Тверской улицы в Москве в улицу Горького. Алексей Максимович и этим был огорчен и весь день был грустным. К вечеру набралось много гостей, и он отвлекся и повеселел. ⟨...⟩

После ужасной трагедии — смерти Максима 11 мая 1934 года — Алексей Максимович имел мужество остаться в живых, но уже не принадлежал себе, и казалось, что он не человек, а учреждение, им же самим порожденное и теперь, несмотря ни на что, обязанное работать.

Алексей Максимович всегда много работал, но теперь он, стиснув зубы, выполнял, творил, писал, поучал, воспитывал, организовывал, спорил, доказывал, добивался, не считаясь со своими подорванными силами, а может быть, и наперекор им, чтобы забыться. В любом случае он продолжал еще смолоду намеченную линию своего жизненного пути — всегда нести людям добро познания, отдавая этому весь свой талант и — вплоть до смерти — горячее свое сердце. ⟨...⟩

Не раз Алексей Максимович приглашал меня приехать в Крым в Тессели, где по требованию врачей он проводил зиму и весну. Осуществить эту поездку мне удалось в конце

ноября 1934 года. Мне позвонил из Москвы по телефону секретарь Горького и сказал, что Алексей Максимович неважно себя чувствует и хорошо бы мне навестить его.

Я знала, как мучительно тяжело переживает Алексей Максимович смерть Максима. Маленькие внучки Алексея Максимовича — Марфа и Дарья — уже учились в школе и вместе с матерью находились в Москве. Я решила хоть на несколько дней съездить к Алексею Максимовичу... Мне удалось уладить мои дела в театрах, и 25 ноября я выехала в Крым. В Москве уже шел большими хлопьями снег, дул пронзительный ветер...

Через полтора суток я высадилась на вокзале в Севастополе, где меня встречал давнишний мой друг — Соловей. Нас ждал автомобиль.

...Машина остановилась у крыльца одноэтажного дома, построенного без особых архитектурных причуд, из грубо отесанных серых камней. В дверях я попала в объятия всеми любимой Липочки — Олимпиады Дмитриевны Чертковой. Смолоду она была горничной, а вскоре стала другом Марии Федоровны Андреевой и Алексея Максимовича. Позднее она окончила фельдшерские и акушерские курсы.

С 1929 года Олимпиада Дмитриевна жила в семье Алексея Максимовича в качестве медицинской сестры, ведала хозяйством и вносила, как всегда и везде, атмосферу уюта и радости. За здоровьем и режимом Алексея Максимовича она следила строго и неотступно, а он любил шутить и подтрунивать над ней.

А вот и сам Алексей Максимович!

Он вышел из своего кабинета легкой, мягкой, неслышной походкой, с добрыми ласковыми глазами и приветливо сказал: «Наконец-то пожаловали! Вот это хорошо! Пойдемте завтракать».

Я сразу же спросила его о здоровье и о работе. На первое, хитро подмигивая в сторону Липочки, он ответил: «Здоровье? Это я от вас, пожалуй, скрою! Ишь какая вы любопытная! Вот поживете тут — сами увидите!» А на второе сказал: «Очень много работы... Тружусь над Самгиным, пишу статьи, предисловия, нравоучения молодым писателям. Да и не только их приходится «нравоучать»... А ведь все это нужно! И как много всего нужно!.. И еще, как всегда,— редактура. Даже любопытно: до чего же некоторые безграмотно и неряшливо пишут!..»

В два часа все собрались за обедом в столовой. Алексей Максимович расспрашивал меня о наших ленинград-

ских и московских знакомых. После моего краткого «отчета» он с юмором, но слегка раздраженно сказал: «А вот меня опять сослали сюда, да еще посадили под стеклянный колпак, и под праздники милый человек Липа приподнимает колпак и мягким веничком смахивает с меня слегка накопившуюся пыль, приговаривая: «Пыль — это очень вредно, Алексей Максимович!» А я говорю ей: «Что там пыль — жить вообще вредно!»

У бедной простодушной Липочки от этих слов начали навертываться слезы на глаза, а Алексей Максимович продолжал со смехом: «А то вот еще что придумала эта рыжая чертовка (иногда в шутку он так называл Олимпиаду Дмитриевну). По утрам, ежедневно, мне предписано врачами выпивать два сырых яйца с соком, выжатым из половины лимона. Так, видите ли, она завела тут какую-то ненормальную курицу, которая несет яйца с двумя желтками каждое, и тут уж мне не отвертеться: яиц — два, а желтков — четыре! Факт!.. Проклятую курицу эту я вам потом покажу».

После обеда Алексей Максимович повел меня в парк, небольшой, но очень красивый, с тенистыми аллеями и дорожкой, спускающейся к самому морю. Похвастался гигантской араукарией.

Восхищенно глядя на окружающий пейзаж, говорил: «Видите, какие красоты мы имеем в Крыму — не хуже Италии!»

Показывая мне большой серо-зеленый камень в рост человека примерно и как-то странно выбитый в разных местах, Алексей Максимович сказал: «Вот завтра покажем вам, как все мы тут трудимся — откалываем куски этого камня, ими будет выложен бассейн, который собираются здесь сделать. Сегодня по случаю вашего приезда решили устроить день отдыха. Да вот и дождь начинает накрапывать! Идемте пить чай!»

Войдя в дом, где было прохладно и сыровато, он сразу же спросил: «Камин в столовой, надеюсь, еще не топили?» Он любил сам растапливать камин и печки... И на этот раз он, пройдя в столовую, подошел сразу к камину и стал деловито перекладывать как-то по-своему приготовленные уже в камине короткие и толстые поленья бука и очень ловко и быстро разжег их.

Вечером, после ужина, часов в девять, как обычно, сели играть в карты на полтора-два часа. Играли в «тетку».

В одиннадцать часов Алексей Максимович ушел к себе, уже на ночь.

На следующий день утром неожиданно приехал побывавший на одном из крупных уральских заводов Л. Авербах — товарищ, хорошо знакомый всем нам по Москве. Он рассказал много интересного о людях и работе завода и привез в подарок от рабочих несколько произведений вновь восстановленного цеха художественного литья.

После обеда Алексей Максимович, вооружившись геологическим молотком, созвал всех домашних на работу — к камню. Не избавлен был от этого и приехавший товарищ, который очень быстро устал и вспотел. Алексей Максимович подтрунивал над ним. Остальные часа полтора трудились.

Наутро Л. Авербаха машина повезла в Севастополь на поезд, а обратно привезла приехавшего из Москвы секретаря Алексея Максимовича — П. П. Крючкова.

Алексей Максимович в тот день плохо себя чувствовал, мало выходил из своего кабинета и рано ушел спать. Мы же еще долго сидели за чайным столом и мирно беседовали.

Около двенадцати часов ночи секретаря позвали к телефону, который находился в одном из деревянных флигелей. Звонок был из Москвы, сообщили, что в тот день (это было 1 декабря) в Ленинграде в Смольном убит Сергей Миронович Киров [18].

Мы были совершенно ошеломлены этим известием. Решено было до утра ничего не сообщать Алексею Максимовичу об этом трагическом событии. Мы долго не расходились по своим комнатам. Казалось, что стало очень холодно и неуютно в доме. Вдруг послышалось какое-то грохотанье по дороге. Оказалось, что это приехала на грузовике военная охрана, присланная по распоряжению Москвы для охраны Алексея Максимовича.

Наутро, когда он вышел пить кофе, секретарь сообщил ему о смерти С. М. Кирова. Алексей Максимович побледнел, сильно закашлялся и ушел к себе в кабинет [19]. Звонили в Москву, узнавали подробности, но их не было.

После обеда Алексей Максимович все же позвал всех дробить камень, но скоро бросил инструмент, сел на скамейку, стоявшую поблизости в аллее, и как-то внезапно, сразу же заснул, опершись обеими руками на палку и сильно сгорбившись. Таким болезненным и старым я его еще не видела и впервые так остро и горестно осознала, что Алексей Максимович смертен, как и все. ⟨...⟩

Через несколько дней, с грустью распрощавшись с Алексеем Максимовичем и остальными, я села в машину, которая доставила меня в Севастополь. Надо было возвращаться в Ленинград, на работу. ⟨...⟩

В 1936 году Алексей Максимович вернулся в Москву из Тессели, в самом конце мая. Дня через два я уже примчалась в Москву. Звоню Крючкову на Никитскую; говорит, что пошлет за мной машину к вечеру — ехать в Горки. После смерти Максима и моей поездки в Тессели мне всегда было беспокойно за Алексея Максимовича. В Горки приехали часов в восемь. Волнуюсь — с осени не видались. Вбегаю в дом — Алексей Максимович встречает меня в вестибюле, все мои волнения кончаются: он неплохо выглядит и, как всегда, точно оживляющий душ — его ласковый сине-голубой взгляд. Тут же и Липочка. Он говорит нарочно строго, что мне ужинать придется сейчас же,— он будет ждать меня в столовой. Очень неуютная столовая в Горках — серая, с бесконечно длинным столом,— но с Алексеем Максимовичем никогда не бывает неуютно.

Забегаю в комнату, где обычно живу, когда приезжаю в Горки, оставляю сумку, мою руки и бегу в столовую, где во главе стола сидит Алексей Максимович с папиросой и устраивает на досуге в пепельнице костер из спичек. Рядом — прибор для меня. «Какие новости? Рассказывайте, но извольте и ужинать»,— говорит Алексей Максимович и встает, так как его начинает душить очень сильный приступ кашля. Наконец это мучение кончается, и он, как всегда, с каким-то слегка виноватым видом говорит: «Извините, пожалуйста. Видно, и Тессели уже не помогает». И он начинает рассказывать, кто его посещал в Тессели, какие новые дела намерен затеять, а меня расспрашивает про ленинградцев.

Появляется Липочка, как всегда к вечеру — в профессионально белом медицинском халате. Я вижу у нее на лице беспокойство. Она подходит к Алексею Максимовичу, трогает его лоб и говорит: «Что-то вы мне не нравитесь — нет ли у вас жара? Я думаю, вам лучше лечь — пойдемте». «Вот видите, как меня угнетают в этом доме»,— говорит Алексей Максимович, но видно, что ему очень нехорошо, и он, не сопротивляясь, следует за Липой, обещая завтра утром удивить меня своим новым приобретением,

Утренний кофе пили в зале верхнего этажа, чтобы Алексей Максимович не тратил времени и сил на спуск вниз. Ему не терпелось, и он еще до кофе пригласил меня пройти в кабинет. При этом я должна была честно закрыть глаза и открыть, только когда он скажет: «Смотрите!» Я даже волнуюсь. Все выполнила, открываю глаза и вижу замечательно написанную картину — ясно, что Нестерова. Я потрясена сюжетом: передо мной почти в натуральную величину на квадратном холсте изображена молодая женщина, умирающая от туберкулеза. Она лежит в постели. Сама она и все вокруг жемчужно-белое, волосы черные, и только запекшиеся губы и роза, почти падающая из безжизненно свесившейся, предельно исхудавшей руки,— черного, лилово-красного цвета, напоминающего сгустки крови. Это еще не смерть, но уже и не жизнь... В глазах девушки спокойствие и примиренность. Все тихо, естественно, торжественно и очень красиво. Без мелодрамы... [20]

Но почувствовала я, что с картиной этой сама смерть вошла в кабинет Алексея Максимовича. Я нашла в себе силы повернуться к Алексею Максимовичу, а он как-то озорно посмотрел на меня и сказал: «Так-то вот... Удивлены? Я так и знал! А право же — великолепная картина!»

После завтрака я должна была уехать по делам в Москву. А Алексей Максимович к вечеру этого дня совсем разболелся и был уложен в постель. ⟨...⟩

О. В. ГЗОВСКАЯ

ИЗ КНИГИ «ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ»

...в ноябре 1925 года Гайдаров [1] и я поехали в Италию. В те же края поехал и Яков Станиславович Ганецкий, старый друг Алексея Максимовича. Ганецкий и его жена, Гиза Адольфовна, были и нашими хорошими друзьями.

У нас было намерение повидать Горького, которого мы, как актеры МХТ, любили, ценили, глубоко уважали и часто слышали его произведения в исполнении Качалова, да и сами читали.

Попасть на свидание к Горькому нам давало основание еще и то, что у Гайдарова было к Алексею Максимовичу деловое предложение. Гайдаров давно мечтал о роли Барона и об экранизации «На дне». Он имел большие связи с хорошими режиссерами и крупными фирмами, часто снимался и хотел лично договориться с Алексеем Максимовичем о сценарии по пьесе «На дне».

Ганецкий сказал, что Алексей Максимович очень милый и простой и будет рад видеть нас у себя. Еще одно обстоятельство помогло нам быть принятыми у Горького: жена его сына, Тимоша, как тогда называли ее все домашние, была ученицей Студии имени Шаляпина [2], где в свое время мы вели занятия.

Полные надежд, что свидание состоится, мы приехали в Неаполь. 24 декабря отправились на Капри и узнали там, что Горький живет в Неаполе на вилле, находящейся далеко от центра города. На другое утро мы позвонили Алексею Максимовичу и получили ответ его сына Максима, что Горький очень занят и принять нас сможет не ранее чем 29 декабря.

Этот день настал. Состоялось наше первое свидание.

Мы подъехали к калитке, за которой виднелся большой сад, а в глубине его — красивый особняк в итальянском стиле, с большой стеклянной дверью — парадным входом в виллу. Мы вошли в калитку, нажали кнопку звонка. Вскоре дверь открыл сын Горького, а спустя несколько секунд навстречу вышел и сам Алексей Максимович.

Он показался мне необыкновенно высоким — на фото и портретах он казался ниже. Лучистые голубые глаза и светлая улыбка делали его просто красивым. От всего его облика веяло каким-то особым обаянием и величавой простотой. Вероятно, это свойственно всем гениальным людям.

Алексей Максимович крепко пожал нам руки. По его приглашению мы прошли в кабинет. Алексей Максимович, предложив нам сесть, начал задавать вопросы. Сначала самые обыкновенные: надолго ли мы здесь, какие впечатления от всего, что видели в Италии? Потом сказал, что чувствует себя не очень хорошо. Однако вид у него был бодрый и живой, голос — спокойно-энергичный. Он ласково и внимательно смотрел то на одного из нас, то на другого и улыбался.

Я сказала о том, что у нас есть к нему письмо от М. Ф. Андреевой. Алексей Максимович сначала немного нахмурился, а потом сказал: «А мне не надо никаких рекомендаций, я знаю, кто в Художественном театре играл хозяйку гостиницы» [3],— но тем не менее быстро пробежал письмо, затем отложил его: «Потом подробно прочту, а теперь я лучше с вами поговорю».

Он расспрашивал, какова наша работа за рубежом и что за программы мы исполняем в концертах [4]. Очень интересовался Маяковским, и мы рассказали о знакомстве с ним и о том, как он у нас на квартире в Москве читал свои стихи и как записал «Наш марш» [5]. При этом я гордо добавила: я первая актриса, читавшая Маяковского с эстрады. Теперь, будучи в Германии, читаю его стихи по-немецки. Алексей Максимович очень внимательно все выслушал, а потом сказал: «Да, Маяковский — это талантище! Настоящий большой поэт нашего времени! Это хорошо, что вы с ним знакомы и его читаете, это вам много поможет и в вашей работе!»

Мы знали, что не имеем права отнимать у Алексея Максимовича много времени, и Гайдаров прямо заговорил о деловой цели встречи. Горький сказал, что сам мечтает о постановке «На дне» в кино [6]. Однако знает нравы кинематогра-

фистов и остерегается безоговорочно отдавать свою пьесу, как он сказал, кинематографическим безграмотным галантерейщикам-блузочникам:* «Может быть, они хорошо продают блузки, но они же изуродуют пьесу». Гайдаров, вполне разделяя мнение Алексея Максимовича, попытался все же успокоить его, сказав, что, к счастью, директора-«блузочники» уходят в прошлое, а в кино уже поставлены и «Натан Мудрый» Лессинга, и «Илиада» по Гомеру, и «Манон Леско» Э.-А. Прево.

Это несколько успокоило Алексея Максимовича, и он склонялся к тому, чтобы написать сценарий, хотя и считал, что как сценарист он недостаточно сведущ. Условились, что Горький набросает общие контуры сценария, который поступит в обработку к киносценаристу и только после утверждения автором может быть запущен в работу. Предупреждая дальнейшее развитие событий, могу сообщить, что Алексей Максимович оказался прав. Кинопромышленникам «На дне» показалось слишком философским, недейственным произведением, малопригодным для экранизации.

В кабинет вошел сын Алексея Максимовича, и нас позвали в столовую к чаю.

Мы сели за чайный стол и начали вспоминать с Тимошей, державшей на руках малютку дочь, Студию Шаляпина, Лиду и Ирину Шаляпиных.

Разговор стал общим. Только когда рассмеялась внучка, Алексей Максимович сказал: «Вот устроили себе развлечение, назвали Марфой, почему Марфой — не знаю, и рады! А смеется наша Марфа очень заразительно! Как вы находите?» Мы вполне согласились с ним.

Кто хоть раз видел Горького, никогда не забудет особенного очарования всего его облика.

Он наделен был простотой и совершенно своеобразной приветливостью, точно вы давно с ним знакомы, а не в первый раз у него в доме. Передает ли он вам, угощая, как хозяин, варенье или еще что-нибудь, все это делается внимательно, естественно, само собой, будто именно так и надо! Никогда не забуду, как он очистил и подал мне на тарелочке апельсин, красиво разделив его на дольки и загнув кожу, как лепестки цветка. Он поставил тарелочку передо мной и весело посмотрел на меня,

---

* В то время многие директора кинофирм в прошлом были торговцами. *(Примеч. О. В. Гзовской.)*

точно спрашивая: «А ведь хорошо, правда?» Я тоже не смогла не улыбнуться и от души поблагодарила его за внимание.

Когда на мгновение воцарилась пауза и я посмотрела в окно, Горький спросил, что привлекло мое внимание. «Море, люблю я его!» — ответила я и тут же рассказала Алексею Максимовичу, как мы, еще будучи в гимназии, не раз говорили, что многие его рассказы начинались описанием того, каким было море. Ведь оно у него всегда разное: то смеется, то бурлит, то шумит, то грозит, то хочет приласкать и т. д. и т. п.

Горький внимательно посмотрел на меня и как бы вскользь заметил: «Юность трудно обмануть, ей свойственно подмечать красивое... Это хорошо, что вы так внимательно читали!» Я рассмеялась: «Да что мы такое? «Гимназа» были! Весь мир не менее внимательно читал и читает вас, Алексей Максимович...»

В беседе время летело быстро. Надо было дать отдохнуть хозяевам. Поблагодарив их за радушный прием и за ласку, мы простились, думая, что это наше первое и единственное свидание с Горьким. Но все обернулось по-другому.

Мы уже собирались укладываться, готовиться к отъезду в Берлин, как вдруг в дверь постучали и принесли записку:

«Ждем Вас к обеду в 7 часов. Очень рады, что вместе встретим Новый год. С приветом. *М. Горький. М. Пешков. Т. Пешкова. Марфа*».

Все наши планы полетели вверх тормашками. Мы забыли и о билетах, и о сборах к отъезду и были бесконечно рады снова побывать у Горького.

Незадолго до назначенного часа за нами заехали Ганецкие и советский консул в Неаполе, и мы отправились на знакомую виллу.

Вечер был ясный, теплый, все небо в звездах. Мы позвонили. В передней зажегся свет, и нам открыли. Нас встретил сам Алексей Максимович, и мы направились в столовую, где был накрыт стол, а в углу стояла оригинально украшенная большая елка. На ней были не только свечи, но и игрушки, куклы из итальянского народного кукольного театра: «прекрасные дамы» и средневековые рыцари в латах, прелестные тележки сицилийских крестьян, запряженные осликами, так называемые «карроца сицилиана». Они представляют собой квадратный, довольно

глубокий ящик, лежащий на оси двух очень больших, пестро раскрашенных колес. Снаружи борта тележки были разделены на квадраты, в которых помещались очень искусно нарисованные веселые, яркие картинки из жизни крестьян, а также сценки на мифологические и библейские сюжеты. Все это украшали прибитые по краю тележки блестящие кусочки жести. В тележку впряжен ослик, на голове которого султан из пестрых перьев, а вожжи и вся упряжь и ярки и блестящи. Вообще «карроца сицилиана» выглядит очень эффектно, красочно и нарядно.

Я получила в подарок такую повозочку, а Гайдаров — средневекового рыцаря в серебряных латах... Долго хранила я эту игрушку и только в год возвращения на родину подарила ее внучке Станиславского Киляле.

Получив такие чудесные подарки, мы весело уселись за стол. Больше всех радовался Алексей Максимович, радовался, что подарки всем понравились, что он угадал вкус каждого и доставил гостям удовольствие. Он приветливо смотрел на всех и улыбался.

Мы с Гайдаровым все думали, чем бы ответить на дружеское гостеприимство хозяев. Нам помог Яков Станиславович Ганецкий, который сказал: «Я думаю, дорогая Ольга Владимировна, Алексею Максимовичу будет любопытно послушать некоторые ваши пародии». За столом дружно раздалось: «Просим! Просим!» Тогда мы с Гайдаровым решили показать одну из наших пародий [7].

Она представляла собой диалог двух героев, которые, не смея в этом громко признаться, любят друг друга.

Схема их диалога примерно такова (иногда в ходе пародии мы многое импровизировали):

«О н а *(с очень значительным выражением лица и грустными глазами спрашивает «его»)*. Скажите, отчего, когда собаки лают, их прогоняют или бьют, а когда адвокаты разговаривают, их слушают, им аплодируют? Какая разница между адвокатом и собакой, между лаем и брехней?

О н *(отвечает, думая только о своей невысказанной любви)*. Не знаю, но... вы чудная, Нина Сергеевна, вы необыкновенная, и, когда вы все это говорите, я вижу в ваших глазах вашу измученную душу.

(Пауза. Неожиданно уронив голову на клавиатуру рояля, она рыдает.)

О н а. Я верю, что души существуют и они переселяются... переселяются... Так каждый день... Только надо закрыть глаза... *(Пауза.)* Не хотите ли ломтик лимона?

О н *(многозначительно)*. Благодарю вас... Кто были ваши родители?

О н а. Не знаю. *(Пауза.)*

О н *(с любовью)*. Дайте мне бутерброд с сыром.

О н а. Пожалуйста. *(Пауза.)* Зачем? Зачем мы существуем?

(Пауза. Она плачет. Молчание.)

О н *(встает, собирается уходить. Дойдя до двери, глубокомысленно произносит)*. Дорогая!.. Я пойду!.. Если спросят, куда я пошел, скажите — на скотный двор».

«Он» и «Она» беседуют с бесконечными вздохами и паузами. Слышен стук капель дождя, падающих с крыши, изображаемый Гайдаровым. «Она» берет на рояле бессмысленные аккорды. Словом, все недостатки и ошибки, существовавшие в тогдашних постановках пьес Чехова, да и Горького, осуществленных в плохих периферийных театрах плохими режиссерами, мы стремились показать в нашей пародии. Эти режиссеры преподносили зрителю «настроение», которое пронизывает чеховские и горьковские пьесы, и упускали их глубокую сущность. Они бездарно копировали Московский Художественный театр, упуская самое главное в его искусстве.

Прекрасно поняв нашу пародию, Горький, как тонкий художник, почувствовал, что тут есть намек и на его пьесы, что и в его огород летят наши камешки. Он так хохотал над тем, что мы проделывали, что сполз в конце концов с дивана на пол и, хлопая руками по паркету, вскрикивал: «Под суд их за это, по-од суд! Ах, разбойники! Ах подлецы! Хо-орошо! Хо-орошо!» Слезы катились из его глаз.

Затем мы читали Блока, Есенина, Маяковского, Василия Каменского. Наконец, я показала номер, который давно и не раз делала на квартире Станиславского. Я представляла продавщиц магазинов Парижа, Вены, Берлина, к которым приходит русский (его играл Гайдаров) со словарем, чтобы купить жене заграничные подарки.

Посмотрев эти шутки, Алексей Максимович поблагодарил нас за то, что мы его так порадовали и насмешили. Мы оба были счастливы и стояли смущенные. Поздно, почти около четырех часов утра, мы уехали в гостиницу.

Так закончилась эта незабываемая встреча Нового года у Горького.

На другой день, прощаясь с нами по телефону, Алексей Максимович вспомнил наши сценки и сказал: «А ведь там что-то вы и из «Дачников» подцепили к себе в пародию». Я очень убежденно ответила: «Уверяю вас, Алексей Максимович, это случайно. Ведь текст мы каждый раз импровизируем». Горький пожелал нам счастливого пути, сердечно с нами простился. Условились, что в Москве увидимся.

Встречи с Горьким в Неаполе оставили в моей памяти неизгладимый след.

Гениальный русский писатель и необыкновенного обаяния, большой простоты человек — таким запомнился мне Алексей Максимович.

П. Т. БОЛГАРЕВ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

...Много говорил Алексей Максимович о сельском хозяйстве и, в частности, о выдающихся работах в этой области.

Однажды, рано утром, мы встретились в саду.

— Вы так рано поднимаетесь? Это хорошо. Работу рано утром я считаю наиболее продуктивной. Как видите, я свою «сидячую» работу стараюсь сочетать с физической. Каждое утро и вечером я что-либо делаю в саду. Кстати, у меня имеется несколько кустов винограда. Пойдемте, я вам их покажу. Скажите, какого вы мнения о культуре винограда в Италии?

Я изложил свои впечатления.

— А знаете, я также об этом думал,— сказал Алексей Максимович.— В нашей стране многие еще полагают, что за границей все лучше, чем у нас. А это далеко не так. Например, если взять вашу специальность, то мы увидим, что виноградники Крыма находятся в более культурном состоянии, чем в Италии. Вы вот едете в Сицилию. Рекомендую обратить внимание на бытовые условия и особенно на положение женщины. Вам легко это будет наблюдать в таких пунктах, как Марсала, Мацара и другие. Женщины юга Италии находятся примерно в таком же положении, как в феодальный период.

Впоследствии, объезжая Сицилию, я не раз убеждался, как глубоко прав был Алексей Максимович.

Поразили меня огромные знания А. М. Горького в сельском хозяйстве. Он хорошо знал теоретически и практически плодоводство, виноградарство, декоративное садоводство и др. За небольшим садом в Сорренто Алексей Максимович следил сам. Уход за садом был для него не только приятным занятием, а необходимым дополнением к на-

пряженной умственной деятельности. Алексей Максимович хорошо знал работы И. В. Мичурина. О Мичурине он как-то сказал:

— Приходится поражаться, как Мичурин из чиновника железнодорожной станции превратился в крупнейшего садовода, преобразователя древесных пород. Его научные открытия прямо-таки поразительны. Вот посмотрите мою прививку. Здесь вы увидите наглядно, какое огромное влияние оказывает подвой на привой, как правильны выводы Мичурина.

Однажды вечером мы сидели в саду на скамейке. Наши взоры были обращены через гладь Неаполитанского залива на Везувий. Вулкан выделял более густые, чем обычно, клубы дыма и пламенные языки. Зрелище было необычайно красивым. Разговор шел о лучших ученых нашего Союза, чьи имена известны всему миру. С большинством из них Алексей Максимович был лично знаком. Особенно подробно Алексей Максимович говорил о Тимирязеве, который продолжительное время сотрудничал вместе с Горьким в издании журнала «Летопись» [1]. В моем дневнике я записал вечером того же дня слова Алексея Максимовича: «На фоне русской интеллигенции того времени Клементий Аркадьевич так же резко выделялся, как этот огнедышащий гигант Везувий. Когда я вспоминаю Клементия Аркадьевича, его образ мне представляется идеалом ученого, кристально чистого борца с неправдой и темными силами царской реакции. Это человек высокой культуры, громадных знаний. Перед ним я всегда себя чувствовал учеником».

Много и оживленно говорил Алексей Максимович о своем скором возвращении на постоянное жительство в Москву, о развитии социалистической литературы.

Три дня пролетели незаметно. Не хотелось расставаться так быстро с великим писателем нашего времени. Но ехать мне было необходимо. Прощаясь, Алексей Максимович дал мне много ценных указаний, ряд рекомендательных писем. Они в значительной степени облегчили мне изучение виноградарства в южных районах Италии, а также обеспечили работу в институте в Конельчио (Венеция), на опытных станциях в Асти, Альба, Мацара и других.

С сожалением и неохотно надел я на плечи свой рюкзак и вышел из ворот соррентийской дачи. Оглядываясь несколько раз, я долго еще видел стоящую в воротах знакомую фигуру. Горький о чем-то думал, глядя вдаль... 〈...〉

П. М. КЕРЖЕНЦЕВ

У ГОРЬКОГО В СОРРЕНТО

⟨...⟩ В вилле «Il Sorito» и в соседнем отельчике небольшая русская колония. С Горьким живет его сын Максим с семьей. Маленькая внучка Марфа — «проказница» (в отличие от ее тезки — посадницы) [1] занимает, можно сказать, «командующие высоты» в доме.

В виллу Горького заезжают все советские граждане, которые попадают в Неаполь. Один раз, когда в Неаполь прибыли две наши миноноски, к Горькому нахлынула целая депутация матросов [2].

И много душ, смятенных и ищущих, сбитых с линии жизни и нашедших свой путь, приезжают в Сорренто, чтобы увидеть Горького, найти поддержку, отвести душу.

Сам Горький, севши за свой письменный стол, захваченный работой, не любит отрываться и уезжать даже ненадолго. Все эти последние годы он почти безвыездно прожил в Сорренто,— одну зиму (из-за ремонта дома) в Неаполе. Изредка делает он небольшие поездки куда-нибудь не очень далеко — в Неаполь на осенние народные празднества («Piedigrotta»), в Сиенну посмотреть на старинный обычай конских состязаний, совершаемый в средневековых костюмах по древнему ритуалу.

Большую часть времени он сидит за своим столом и работает.

Кабинет, одновременно служащий спальней, во втором этаже виллы. Большая, просторная комната. Стол, кровать, несколько стульев, этажерка для книг, на стенах этюды масляными красками.

Стол очень большой и самого простого типа. На столе листы линованной бумаги с очередной работой. Верхний

лист исписан наполовину. Ясно выделяются тут и там четко зачеркнутые цветными карандашами слова и строки. Горький особенно тщательно добивается сейчас наибольшей сжатости и четкости своего стиля.

Перед пачкой бумаги целый ворох различных цветных карандашей и чернильница. Больше на столе нет ничего. Кажется, будто Горькому для творческого процесса нужно иметь перед собой широкое свободное пространство, ничем не отвлекающее внимания.

К кабинету примыкает балкон, откуда прекрасный вид на Везувий, Сорренто, залив и далекий Неаполь. Под балконом, висящим высоко в воздухе, деревья сада.

Первые вопросы — о здоровье.

Горький кажется крепким и бодрым. В волосах очень мало седины, но я-то знаю, что кровохарканье регулярно повторяется. Бессонница мучает месяцами. Покашливанье — хроническое. И когда он месяца два хорошо спит, когда исчезает кровохарканье, Горький уже расценивает свое здоровье как прекрасное.

По существу, работа последних лет идет все время среди борьбы против недуга.

Когда я был последний раз у Горького, он работал над второй частью своей большой вещи «Сорок лет» [3]. Первая часть ее — «Клим Самгин». Эта работа, охватывающая период двух войн и двух, а может быть и трех, революций, представляется Горькому как некоторое подведение итогов своей художественной работы.

Горький работает над ней с большим увлечением.

— Пишу по десяти с половиной часов в день,— говорит он.

Он рассказывает, что распределил свой день совсем «по-нотовски» [4]. Он садится за стол в девять часов утра и работает с двумя перерывами — до ночи; утром с девяти до часу, затем после пяти часов и, наконец, вечером. Так изо дня в день.

Несмотря на такую загрузку работой, Горький успевает очень внимательно следить за всей нашей литературой и за литературой иностранной. Нет ни одного сколько-нибудь заметного имени или интересного рассказа, которого бы Горький не знал.

Он не раз говорил мне о вещах, напечатанных в каком-нибудь журнале Ярославля или никому не известном провинциальном сборнике. Ни одно явление в области литературы не ускользает от него. С особой любовью и радо-

стью Горький следит за молодой пролетарской и крестьянской порослью нашей литературы. Он с увлечением говорит о свежести, талантливости и крепости этого молодняка.

Горькому приходится получать и оценивать много рукописей начинающих авторов. Последний раз он рассказывал мне о рукописи, полученной им от железнодорожного сторожа из-под Москвы. Это уже пожилой человек, впервые взявшийся за перо. Он описал свою жизнь в ряде эпизодов. Мальчиком он видел голутвинские расстрелы рабочих и декабрьское восстание. Затем участвовал в экспроприациях на Урале с шайкой Лбова [5] и т. д. Сцена экспроприации написана с особенной силой.

Горький не находит слов, чтобы охарактеризовать эту повесть, и заканчивает словами: «Просто замечательно! Замечательно!»

Горькому приходится вести обширнейшую переписку. Здесь и просьбы и вопросы. Здесь письма, свидетельствующие о той великой любви, которую вызывают личность и творчество Горького. Здесь поносительная ругань белогвардейцев. Здесь курьезные просьбы, например, «немедленно» передать прилагаемое письмо автору «Соборян» Николаю Лескову [6] («А как передать ему это письмо, да еще немедленно?»).

Белогвардейская печать, а за ней иногда и часть европейской буржуазной печати время от времени начинает травлю Горького. То обрушиваются на него за слова о прекрасном сердце Дзержинского [7], то печатают выдуманное интервью сотрудника газеты «Observer», то пускаются в прямые доносы... Один раз по доносу белогвардейцев в одной из комнат квартиры Горького был произведен обыск итальянской полицией [8]. Вскоре после этого у его секретаря на границе при выезде из Италии были отобраны рукописи и письма Горького.

Эти факты так взволновали Горького, что он выразил свой протест в письме Муссолини и собирался немедленно покинуть Италию [9]. Мне пришлось беседовать с Муссолини на эту же тему и получить завереньья, что обыск явился результатом недоразуменья, которое больше не повторится. ⟨...⟩

Н. А. БЕНУА

⟨У ГОРЬКОГО В ИТАЛИИ⟩

⟨...⟩ Встреча с Алексеем Максимовичем была чрезвычайно сердечной, и его теплый, радушный прием глубоко нас тронул и взволновал[1]. Трудно вообразить более гостеприимную атмосферу, нежели ту, что царила в прекрасной вилле «Соррито», озаренной его присутствием, несмотря даже на то, что он сам вел в ней скорее замкнутый образ жизни, редко отрываясь от своей неутомимой, страстной работы, чтоб — как он говорил — «перевести дух» в обществе своих домочадцев и избранных друзей. Среди последних мне особенно приятно было встретить моего закадычного друга, художника Бориса Шаляпина [2], сына Федора Ивановича, который тоже недавно прибыл в Сорренто и поселился с женой неподалеку от виллы Алексея Максимовича, в маленьком отеле, напротив пансиончика, где мы нашли себе пристанище. Я и Борис отправлялись на работу с натуры и возвращались лишь к обеду, нагруженные громадными этюдами, которые, робея, несли Алексею Максимовичу на просмотр. Его мнение нам было бесконечно ценно и глубоко нас волновало, и лучшей, конечно, наградой являлось его одобрение, которым, впрочем, он нас не всегда баловал. Некоторые его сдержанные «мычанья» красноречивее всяких слов говорили о том, что он не совсем удовлетворен нашей работой. Но зато частенько он открыто приходил в восторг и горячо нас хвалил, а однажды ему так понравился один мой этюд прибрежных скал, что он тут же его у меня «реквизировал» (и впоследствии увез с собой в Москву)[3]. ⟨...⟩

Зимой 1929 года представился исключительный для меня по значительности случай продемонстрировать Алек-

сею Максимовичу одну из моих тогдашних наиболее крупных театральных работ — оформление «Бориса Годунова». Главной приманкой явилось при этом то обстоятельство, что роль Бориса исполнял сам Федор Иванович Шаляпин, и, вероятно, благодаря этому Горький решился покинуть на пару дней свое соррентинское убежище, из которого он отлучался лишь в самых редких случаях. Итак, он прибыл в Рим на машине Макса, в сопровождении всего семейства [4]. ‹...›

Оба спектакля сошли блестяще и закончились небывалым триумфом Шаляпина, покорившего всех и своим дивным голосом, и гениальной игрой. Восторгу нашему не было конца, а Алексей Максимович просто сиял от счастья... И дабы должным образом отпраздновать подобное событие, мы все после премьеры отправились ужинать в ресторан, именуемый «Библиотекой», целиком расположенный в бесконечных, извилистых погребах, своды коих густо заставлены, наподобие книжных полок, бесчисленными бутылками и разнообразнейших форм сосудами, наполненных чудесными винами. Нас было человек двадцать, так как к нашей компании вскоре присоединились некоторые члены советского посольства, и ужин удался на редкость оживленным и веселым.

И вот по просьбе Горького Шаляпин вдруг запел, наполнив сразу лабиринт погребов своим могучим голосом, на который сбежались из самых дальних углов любопытные клиенты и служащие этой оригинальной «Библиотеки». Тут же разнесся слух, что за столом с Шаляпиным находится и сам великий и популярнейший в Италии «Массимо Горки». С этого момента началась такая давка в окружающих нас подвалах и столько людей, одержимых желанием получить «исторические автографы», навалилось на наш стол, что дирекции «Библиотеки» пришлось вызвать на помощь карабинеров, которые, с трудом пробив себе дорогу в этой толпе, победоносно взяли нас под свою защиту... Этот неожиданный инцидент несколько охладил наш пыл, и остаток вечера протек в более спокойной, хоть и по-прежнему радушной обстановке. Я же чувствовал себя на седьмом небе, ибо еще при выходе из театра, по окончании спектакля, Алексей Максимович меня обнял и поцеловал, выразив свою благодарность за — как он сам соизволил выразиться — «чудесные декорации и костюмы». Эта похвала явилась для меня наивысшей наградой за проделанную громадную работу, в которую я на

самом деле вложил всю душу, будучи во власти глубокой тоски по Руси и по нашей златоглавой красавице Москве...

С этой незабываемой встречи в Риме прошло года два, и вот мы снова все оказались в Сорренто, куда я вместе с женой вернулся провести лето. ⟨...⟩

Незадолго до нашего прибытия Алексей Максимович вернулся из своей новой, поистине триумфальной поездки по Советскому Союзу [5], где он уже побывал и в предыдущем году и откуда он, и на сей раз, вынес восторженные впечатления.

Поездки на родину, безусловно, благотворно повлияли на общее состояние дорогого Алексея Максимовича. Он даже как-то воспрянул духом и стал более общителен, что сказывалось и в том, что он охотнее засиживался с нами до поздней ночи, принимал горячее участие в беседах, причем каких бы тем мы ни касались, мнение его всегда поражало нас своей остротой, своей изумительной способностью точно определить то или иное, даже самое сложное понятие.

Иной раз Алексей Максимович звал нас всех после заката солнца на каменистый берег, что расстилался в глубине сада, спускавшегося террасами к морю. Там он разводил огромный костер из пахучих сухих ветвей кедров и олеандров и рассаживал нас вокруг. Вооружившись длиннющим шестом, от времени до времени он разжигал им замиравшее пламя и подымал вихрь искр, устремлявшихся к черному, звездному небу, явно испытывая удовольствие от созерцания этого первобытного фейерверка.

Помню хорошо одну из последних наших бесед с Алексеем Максимовичем, случайно возникшую в один прекрасный, тихий вечер на террасе, куда выходил его обширный, уставленный книжными шкафами рабочий кабинет. Это было незадолго до нашего отъезда из Сорренто, и предвидение долгой разлуки с Горьким, быть может даже навсегда, меня очень тяготило. В те дни я невольно искал случая с ним почаще встречаться. Бывало, что он сам шел мне навстречу в этом моем желании, как случилось и в тот памятный вечер, о котором я сохранил столь отчетливое воспоминание. Я находился в саду, где только что закончил этюд оливковой рощи, покрывавшей своей серебристой гривой склон ближнего холма, когда услышал сверху голос Алексея Максимовича, звавшего меня поглядеть с террасы на закат «необычной красоты». Я побросал все художественные пожитки и устремился наверх. Алек-

сей Максимович стоял в одиночестве, облокотясь своей длинной и слегка сутулой фигурой на балюстраду террасы, и взирал на действительно изумительную панораму неаполитанского залива в золотистых лучах уходящего за горизонт солнца. Вдали розовел Везувий, украшенный «кочаном» густого серо-рыжего дыма. У подножия его замирала белеющая полоса Неаполя, быстро исчезнувшая в голубоватой дымке, поднявшейся с застывшего залива, который расстилался перед нами, как огромное зеркало, отражавшее ясное, прозрачное, вечернее небо. Я остановился, как зачарованный, около Алексея Максимовича, и мы оба после беглого обмена восторженными впечатлениями стали молча следить за «световыми эффектами», что «незримый чудодеец-электротехник» производил в этой бесподобной «декорации».

Сумерки быстро опускались, и расстилавшийся перед нами вид погружался постепенно в общий синеватый «раствор», придававший и пейзажу, и нам самим все более и более призрачный облик. Последним на горизонте потух царственный Везувий и увенчавшая его вышку дымная корона. Зажегшийся у его подножия яркими огнями город превратился в узкое сверкающее ожерелье.

Как всегда на юге, смена дня и ночи произошла с удивительной быстротой, и, когда, наконец, спектакль угасающего дня завершился, чтоб уступить место новому, ночному чародейству, Горький — очевидно ощутивший ночную прохладу — произнес: «Ну, пора!» — и бросил последний взгляд на замерцавшие по склонам окружающих холмов огоньки и на восходивший из-за величественной горы Святого Ангела желтоватый диск луны. Как бы неохотно отрываясь от этого насыщенного новой поэзией зрелища, он сказал мне, направляясь в кабинет: «А теперь, друже Николай, посидим и поболтаем, пока не позовут ужинать...» И вопреки моей попытке удалиться немедленно, чтоб не утомлять его своим присутствием, он усадил меня в кресло и, сам тоже усевшись насупротив, стал меня расспрашивать о работе, о моих планах на будущее, о том, когда я думаю вернуться в Россию, куда сам он вновь собирался поехать, и постепенно разговор наш приобрел обычный, задушевный и сердечный тон.

Большая лампа под желтым абажуром, стоявшая на огромном письменном столе, бросала резкий свет на столь мне знакомые и родные черты, отмеченные жестокой, безжалостной болезнью, медленно, но неумолимо подтачи-

вавшей организм этого поистине великого Человека... Глубокие тени легли под нависшими бровями и скрывали его добрые, светлые глаза, а впалые щеки круто подчеркивали выдающиеся скулы, придавая всему его облику какое-то изнуренное, скорбное выражение, которое не исчезало даже тогда, когда лицо его озарялось столь свойственной ему обаятельной, почти детской улыбкой.

В тот памятный вечер Алексей Максимович как-то особенно тепло и сердечно беседовал со мной об искусстве, о наших знакомых художниках, перебывавших за эти годы в Сорренто, среди коих он с особой нежностью поминал Валентину Ходасевич, братьев Кориных, Борю Шаляпина и Григория Шилтяна — каждый из них, по-своему плененный красотой этих мест, увез с собой немало прекрасных этюдов, изображавших либо те или иные виды, либо натюрморты, либо местных живописных жителей этого благодатного края...

Потом Алексей Максимович стал меня расспрашивать о моем отце [6], с которым он хоть и обменивался иногда дружескими письмами, но о житье-бытье и о деятельности коего ему хотелось после стольких лет разлуки узнать поподробнее.

Каждое слово, произнесенное в тот вечер Максимом Горьким, глубоко и навсегда врезалось мне в память.

В глубоком волнении внимал я суждениям Алексея Максимовича о моем дорогом отце. Я мог бы дословно рассказать все, что он мне поведал в те достопамятные моменты, но я ограничусь лишь кратким изложением наиболее поразившего и тронувшего меня. Горький еще сказал мне, что он высоко ценил ум и глубокую образованность Александра Николаевича, но одновременно он глубоко почитал его как чуткого художника, изумительно тонко умеющего проникать в поэтическую суть природы и обладающего чудесным даром возрождать образы прошлых времен, в которые он «вдыхает жизнь и присущие им настроения...» «Видите ли, дорогой мой Николай, ведь нет более убедительного путеводителя по истории, нежели вот это таинственное свойство Искусства, воскрешающего перед нами видения ушедших в бездну времен, эпох,— пояснил мне свою мысль Алексей Максимович,— и не просто оформляя сухие образы оных, а воссоздавая и самый их климат, поэтическую их сущность, ну так, точно художник сам все это видел своими глазами...»

«Как я люблю папашины «Версали» [7],— продолжал Горький,— сколько в них подлинной правды, как проникновенно он в них изобразил не только внешний облик, но и внутренний мир тогдашних людей, точно он был лично с ними знаком...»

«Папаша-то ваш,— прибавил еще Алексей Максимович,— много способствовал торжеству нового духа в театре и как высоко поднял он эстетический и культурный уровень декораторского искусства! Вам надо, дорогой Николай, немало потрудиться, дабы догнать отца, а вот удастся ли Вам его перегнать — не знаю!.. Правда, вы человек еще молодой и талантливый, поживем — увидим! Желаю вам счастья!»

Прежде чем покинуть кабинет Алексея Максимовича, мы с ним крепко обнялись и поцеловались, точно уже наступил момент нашей окончательной разлуки, и вдруг я не выдержал и... заплакал!.. Будто мрачное предчувствие овладело мной, что я уже никогда больше не буду иметь другой возможности так долго и сердечно беседовать с этим замечательнейшим Человеком... Увы! — предчувствие мое действительно оправдалось,— Горький вскоре после этого отбыл на родину, и так я его больше и не встретил...

Н. Н. АСЕЕВ

ВСТРЕЧА С ГОРЬКИМ

До своей поездки в Италию я никогда не видел Горького. То представление, которое составилось у меня еще с молодых лет от знакомства с его ранними произведениями, формировало в воображении фигуру неуемного, жадного до жизни, беспокойного человека, доискивающегося своих, впервые введенных им в литературу героев. То, что рассказывали о нем, было неопределенно и противоречиво. ⟨...⟩ Тем с большим интересом я ожидал встречи с ним, рассчитывая восстановить личными впечатлениями те выпавшие из представления куски и сплывы, которых недоставало в его литературном и биографическом портрете.

Когда слышишь издали грохот мельницы, представляешь себе огромную массу воды, несущуюся на множество сложных колес, вращающихся с чудовищной скоростью. Подойдя к мельнице вплотную, видишь одно колесо, медленно ворочающееся в белом водовороте пены, а за ним тихую и широкую заводь, совершенно не представляемую воображением издали. Вот эту-то заводь, эту медленную работу главного колеса мне и хотелось увидеть, став вплотную к каждодневному труду, быту и личному обаянию Максима Горького.

Горький — большое дерево, обойденное топором и высящееся среди мелкой поросли послевоенного человечества. Видеть и говорить с ним — больше, чем сидеть в огромной библиотеке, заполненной материалами по истории литературы и по истории человечества эпохи 900-х годов. В нем все, начиная с внешности, разговора, речи, кончая вкусами, симпатиями, тенденциями,— от наших

отцов, от нашего детства, от детства нашей эпохи. И вместе с тем перед вами культурнейший и оборудованнейший знаниями современник, далеко заглядывающий за грань своей эпохи, живо интересующийся мелочами техники, изобретательства, строительства будущих лет. Два крыла времени соединились в нем, далеко покрыв и его жизнь, и жизнь его поколения. Отсюда, может быть, и то двоящееся впечатление, которое оказывается верным и единственным не только с далекого расстояния, но и при ближайшем наблюдении, при ближайшем знакомстве с этим писателем. Один его размах уходит широко в темноту и тишину царских времен, касаясь истории «земли русской», «ее исторических судеб», ее устава и уклада, ее великих князей и губернаторов, ее скитов и моленен, необработанных полевых ширей и лесных пространств. Эта темная теневая сторона его фигуры, покрытая фиолетовыми тенями полуночной империи, тяжело повисшей на этом крыле тысячью воспоминаний, связей, впечатлений. Другое крыло, высоко вскинутое, облегченное и очищенное от праха традиций, от тяжести воспоминаний, парит высоко и вольно, освещено блеском новой эпохи и молодым светом ее ранней зари.

И выходит, что похож Горький на того самого Буревестника, образ которого он в молодости взял и поднял, как лозунг своего творчества, как знамя всех предвестников бури, кружащихся над взволнованным морским простором.

Я не хотел предвзято рисовать этот образ. Он взвился сам после долгих попыток представить себе и уяснить облик Горького таким, как я его видел и понял.

Четырнадцать дней я прожил в Сорренто [1], четырнадцать вечеров провел, слушая Горького, и это впечатление взволнованности, беспокойства и постоянного желания взлететь, взвиться, вспыхнуть по малейшему поводу — не покидало меня за все время пребывания.

Чтобы не увлекаться сравнениями и выводами, зачастую оказывающимися лишь риторическими фигурами, попробую описать быт и жизнь Горького, как они мне представились за эти четырнадцать дней. Позволю себе только еще одно, по-моему, очень правильное сравнение, характеризующее Горького, для меня лично наиболее точно.

Горький, когда его видишь в первый раз, похож на колючий и щетинистый кактус, с очень заостренными зуб-

цами, до которых, по первому впечатлению, дотронуться небезопасно. Такие растут по обочинам дорог в Италии. Даже колючки их, выгоревшие от солнца, так же рыжеваты, как оттенок усов и волос Горького. Но если дотронуться до этого кактуса, все шипы и острия оказываются мягкими и нежными, как отростки молодой сосны. Таким именно видом кактуса и засеян цветник в саду Горького. Твердость и заостренность его очертаний только с виду угрожающа и колюча. На самом деле он сочен и мягок и цветет замечательными, совершенно неожиданными для него цветами, обрамляя цветник темно-зеленым упругим и свежим газоном. Таков и Горький, с виду колючий и щетинистый, на самом деле мягкий и впечатлительный, быстро восхищающийся даже и несогласными с его вкусом и привычками вещами.

Голубые, рассеянного света глаза его под подвижными бровями, на розоватом, похожем на пустыню с выжженными кустиками усов и бровей лице,— прохладны и созерцательны. Лицо упрямо и как будто не согласно ни с чем в мире. Но стоит задеть его за живое чьей-либо удачной строкой, каким-нибудь не известным ему живым сообщением, как лицо это светлеет, поднимаясь легко движущейся кожей к стриженной ежиком прическе; радостная озадаченность ребенка переходит в теплоту и умиленность неожиданного подарка; он взволнуется, замашет руками, забубнит в ответ похвалы, и видно, что действительно понравилось ему, что, вопреки и наперекор давным-давно сложившимся мнениям и вкусам, живет в нем свежий и вольный дух восторженности восприятия, впечатлительности, умения радоваться неожиданно и широко. ⟨...⟩

После обеда,— обедают поздно, не раньше семи вечера,— завязавшиеся разговоры переносятся вниз, в комнату с музыкальными инструментами и бутылками «Асти Спуманти». Горький много курит и, присев где-нибудь в сторонке, наблюдает и слушает разговоры и музыку. Максим Алексеевич играет на банджо, художник [2] берет гитару. Мария Игнатьевна садится к пианино. Играют русские песни; потом заводят патефон с новыми пластинками Шаляпина. В уголке присаживаюсь к Горькому; разговор цепляется за прошлое; глухой басок Горького рокочет тихо и приветливо; постепенно умолкают инструменты, и оказывается, что в комнате остается лишь один звук горьковского голоса, к которому прислушиваются все. ⟨...⟩

Я беру книжку Кирсанова, имеющуюся в библиотеке у Горького, и начинаю читать «Германию», «Мельника Ажуха», «Мзри-наездницу», «Быка». Горький слушает сначала без особой симпатии, но замечательный ритм, неожиданность упрощений, задор, молодость и блеск кирсановских строчек забирают его за живое; он начинает теплеть и светлеть и после третьего или четвертого стихотворения прорывается похвалами и возгласами: «Здорово! Ах ты, батеньки мои, как это здорово, а я и не знал этого Кирсанова! Сколько ему лет? Кто он такой?» Сообщаю ему краткие сведения о Кирсанове, говорю о его молодости, одаренности и неожиданности, и Горький довольно поводит усами, протирает глаза платком, потом задумывается и говорит: «Ну и читаете же вы, батенька мой, все-таки замечательно! В вашем чтении любое стихотворение пройдет!» Это он упрямится, не желая принимать Кирсанова целиком, желая разъяснить себе секрет впечатления, произведенного на него столь просто сделанными по виду и отличающимися от всех канонов высокой поэзии строчками. Я возражаю ему, что сам Кирсанов читает в три раза лучше меня, что секрет его строк именно в том, что они уже перестроены со зрительного впечатления на слуховое, что именно этот вид стихов и имеет только право на существование, что для него только и годны широкие горла радио на площадях и многочисленных собраниях, что камерный комнатный стих, продукт потребления индивидуального единичного читателя, закончил круг своего развития. Горький упрямится, не соглашается, пытается доказать вечность существования единых законов воздействия искусства на зрителей и слушателей, но это в конце концов не приводит ни к чему. Мы расходимся удовлетворенные друг другом практически и наёршенные теоретически. ⟨...⟩

Я берусь за Сельвинского, читаю его «Цыганщину», потом главы из «Улялаевщины» (разговор чекиста с Штейном). Горький слушает внимательнейше, иногда покрякивает от удовольствия, и по окончании чтения опять умиляется, засыпая похвалами новую советскую литературу и мое чтение. В этих усиленных похвалах моему чтению я вижу некоторую сторожкую отстраненность от значительности самих вещей и вновь подчеркиваю свежесть и необычность произведений читаемых мной поэтов. Горький и соглашается, и нет, оставляя себе поле для дальнейшей критики; говорит, что все-таки, главным образом,

здесь дело в чтении, что Кирсанова он внимательно читал вчера на ночь и что, конечно, он не сравним при чтении на глаз с восприятием его с голоса. Я опять пытаюсь доказать, что стихи эти сделаны на голос и на слух, что в том-то их и преимущество, что их нужно слушать большим залом, зажигаясь и радуясь совместно с соседями огневыми ритмами и взрывами рифм, что в одиночку в комнате они так же не нужны, как партитура хоровой песни. Горький отстаивает свое мнение, поддерживаемое его домашними; разговор переходит в спор; мне тащат Есенина в доказательство иного способа письма. Читаю Есенина как можно добросовестнее; куски «Песни о великом походе» мне нравятся самому, но, стилизованные в манере «Купца Калашникова», они уже не доходят до слушателей после Кирсанова и Сельвинского. Слушатели на меня в обиде; им кажется, что они хуже слышат, потому что я хуже читаю, а на самом деле им уже больше понравились другие стихи и они не хотят в этом сознаться, защищая внутренне есенинскую лирику. Под конец Горький приносит мне свои ранние стихи — сказку о смерти, побежденной юностью [3]. Предлагает мне их прочесть, несколько смущаясь и говоря, что вот и эти стихи, если я захочу, могут в чтении выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.

Стихи Горького натуралистичны, повествовательны, но в них есть горячность эпитетов, диалогическая правдивость, и читаю я их с удовольствием, как непривычный, а значит и интересный материал. Горький решает, что Есенина я все-таки читаю хуже, чем других, потому что меньше его чувствую и ценю. Спорить дальше не о чем, но странно все-таки, что Горький, понимая и ощущая каждый удачный литературный шаг, каждое движение по-живому выраженной мысли, дичится и сторонится свежести, буйства и яркости, не только же в моем чтении возникающих в строках Кирсанова и Сельвинского. Здесь, очевидно, другое. Здесь традиция «высокого искусства», утвержденность в некотором необходимом пафосе литературного слова, противодействие его снижению, раскрепощению, вмешательству в него уличной, разговорной речи. Это в особенности ясно в применении к стихам. Горький чувствует некоторое неудобство от снижения того самого высокого стиля, который включил и его произведения в свой круг, не без сопротивления и приглядывания к нему самому.

Разговариваем еще о советской поэзии. Говорю ему о Николае Тихонове и Михаиле Светлове. Первого он знает достаточно;[4] со вторым знаком совсем мало. И в этом опять-таки чувствуется некоторое тяготение к уже закрепленной формуле успеха, доносящей до ушей Горького наиболее известные имена. Он этому противодействует, выбирая сам из груды присылаемой ему литературы совсем уже не известных начинающих авторов, пытаясь сделать поправку на молодость и невыясненность таланта, но авторов он отбирает по-своему, по биографиям, по искренности их писем, по темам их стихов. Однако когда я вспоминаю засевшие в памяти строчки светловской «Гренады», Горький поднимается с места, как будто его тронуло качкой, переспрашивает и просит повторить строфы еще раз, и видно, что с голоса, с расшифровки ритма стихи он понимает быстро и правильно. Разговор о поэзии вновь затягивается далеко за полночь, и мы уходим от Горького несколько смущенные тем, что засиживаемся так поздно, что Горькому нужно работать с девяти часов утра, и даем в душе обещание следующие дни прощаться не позже двенадцати. ⟨...⟩

Дни проходят в Сорренто светло и бодро. С утра, с девяти часов, Горький за письменным столом: он работает над третьей частью «Жизни Самгина». Пишет он от руки, диктовки на машинке не признает. К завтраку, к двум часам, выходит после работы несколько рассеянный и взбудораженный ею; за завтраком идут разговоры об Италии, о быте ее, о том, где нужно шить костюм, какие нужно покупать рубашки. Помощь в хозяйственных делах оказывает нам участливо второе поколение Горьких. Максим Алексеевич ведет меня к знаменитому соррентинскому портному, выбираем материю, узнаем о том, что портной шьет настолько замечательно, что ему присылают заказы даже из Англии. Костюм стоит восемьсот лир, но из уважения к постоянному заказчику Максиму мне он уступает до семисот лир — семь червонцев на наши деньги.

Пока мы возимся с такими делами, Горький уже опять у себя в кабинете, разбирает корреспонденцию, откладывает наиболее значительные письма, на которые отвечает собственноручно. Возвращаясь к пятичасовому чаю, я еще застаю Горького за этой работой; он показывает мне некоторые письма, дает на рецензию какие-то беспомощные стихи, указывая на искренность тона и на не-

посредственность заявлений в письме автора этих стихов. Я говорю Алексею Максимовичу свое мнение о стихах, но отвечать он автору все-таки будет. ⟨...⟩

Снова обед, шаляпинский бас в патефоне, ломаный говор итальянских хозяев Горького, чтение стихов, разговор о литературе. Иногда эта программа разнообразится новым приездом какого-нибудь из русских или иностранцев. При мне приехал товарищ Ганецкий, привезший Горькому подарки с Урала. В этот вечер я читал своего «Проскакова»[5]. Вечер был один из самых хороших за время жизни в Сорренто. «Проскаков» понравился и Горькому, и Ганецкому, растрогались все трое, говорили о своей стране, и видно было, что Горький здесь, в Сорренто, связан с ней тысячью кровных связей, что связи эти не могут быть оборваны никаким ветром, что желание быть наиболее близко к ней, не утерять с ней ни одного ритма дыхания — сейчас главная цель Горького. Как раз в этот день были получены газеты из Берлина и Парижа. В «Руле»[6] троекратно — и в передовице, и в фельетоне, и в хронике литературы — поносилось имя Горького, говорилось о подлости, заключающейся в том, что Горький с восторгом отзывается о советском строительстве, на все лады склонялась его фамилия как синоним «продажности» его большевикам,— и чувствовалось, что Горькому особенно приятно в этот вечер сидеть плечом к плечу с советскими людьми, чувствовать их симпатию к себе, слушать строки стихов, родившихся там, в далекой от Сорренто обстановке. ⟨...⟩

Совсем еще молод Горький. Глядя на него, никак не дашь ему больше сорока лет. И это не в комплимент ему, не из желания сказать приятное слово. В нем нет ничего старческого, ничего брюзгливого, одряхлевшего и обвиснувшего. Отлично он тренирован жизнью, просвежен сквозняковыми ветрами скитаний, закален тысячами встреч, наблюдений, опытов. И поэтому нет в нем ничего от маститости, простота его не лицемерна, человечность не теоретична, интерес к жизни горяч и глубок. Новое время в нем имеет крепкого друга, несмотря на множество связей, корней, зацепок, которыми пришит он к прошлому. Больше чем кто-либо иной из «стариков» предшествовавшего поколения культурных людей, он может понять и поднять задачи и стремления вновь нарождающейся культуры. Но для этого необходимо нужно все время держать его в курсе ее повседневных достижений,

ее местных технических условий, ее внутренних взаимоотношений. Говоря это, я имею в виду новую, советскую поэзию, но думаю, что правильно это и во всяком другом отношении. Ведь не вспомни я строф Светлова, так бы и прошли они мимо горьковского слуха. А Светлов — один из таких поэтов, которыми бросаться нельзя. И как бы ни искал Алексей Максимович подлинных живых строк, направленных в письмах к нему, живей и горячей строки Светлова отыскивать не приходится. Но, найдя ее, нельзя оставлять ее без призора, нельзя успокаиваться на этой находке, откладывая ее в сторону до более свободного времени. Так как и блестящая строка может потускнеть и заржаветь без постоянной полировки, постоянной обтачиваемости о внимание и сочувствие своих современников. Это Горький должен знать и помнить в первую очередь. Этим напоминанием постоянным и, может быть, несколько докучливым и была заполнена моя жизнь в Сорренто, как заполнена она этим всегда и везде. ⟨...⟩

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ГОРЬКИМ

Горький сидит, заложа ногу за ногу, подняв свое костистое лицо к свету, падающему с высокого потолка столовой. Он молод, вопреки всем своим годам. Его кожа свежа и чиста, табачные усы над розовыми свежими губами и такого же табачного цвета брови над добрыми запавшими голубыми глазами шевелятся во время разговора. Когда же он слушает, лицо его каменеет вниманием и, настораживаясь, глаза мягко обнимают собеседника. Он стрижен коротко ежиком, и волосы его поседели значительно меньше моих. Они густы и, должно быть, мягки на ощупь. Ни один из его портретов не дает точного впечатления. Фотографии сильно огрубляют его, заостряя скулы и лоб. На самом деле свет гораздо мягче распределяется по его чертам, и тени на них ложатся вовсе не так глубоко и резко. Горький часто морщит нос, поднимая его кверху, особенно если рассказывает что-нибудь трогательное или смешное. Тогда морщинки взбегают на переносицу, и все лицо становится чрезвычайно выразительно. Хочет ли он похвалить что-нибудь, восторгается ли он чем-либо — нос морщится умиленно и радостно, как будто в глаза ему брызнул неожиданный свет. Чисто выбритый подбородок вызывает воспоминание о праздничном дне мастерового человека. Голос глуховат, но

ясен, отличной дикции, с небольшим оканием. Вся фигура пряма, плечи чуть-чуть согнуты длинной сложной жизнью; фигура худа хорошей худобой незалежавшегося человека. Особенно прямы, длинны и крепки ноги: ноги опытного пешехода, неутомимого шагателя, прирожденного альпиниста.

Впечатления от его внешности многообразны и многосложны. Вот он начал говорить о промышленности, о богатствах Союза,— и видишь перед собой незаурядного хозяйственника, зоркого инструктора, жадного исследователя и экспериментатора; его интересуют самые разносторонние отрасли науки, техники, промышленности.

То он начнет рассказывать о прошлом, плотно сложенном и упакованном в обширной его памяти, и вот вытащены и поставлены на свет купцы из Нижнего, староверы и самодуры,— и меняется его лицо, по-иному складываются морщинки, выступает тайный свидетель прошлого, его неотразимый обвинитель, его неподкупный обличитель, знающий каждую извилину, каждое биение его жилок.

То он обрадуется и умилится прочитанному ему стихотворению до сих пор незнакомого поэта или какому-нибудь новому для него бытовому факту советского строительства,— и вот запавшие голубые глаза покраснеют, он заморгает быстро, быстро тронет пальцем как будто бы зачесавшуюся бровь и начнет повторять быстро, быстро, подавляя нахлынувшее волнение: «Какая страна, какая страна! Ведь вот, черт возьми, чего только не смогут они сделать! Ах, черт возьми, замеча-а-тельный народ, замеча-а-тельное время». ‹...›

Отлично слушать Горького, когда он начнет ворошить воспоминания. Люди, лица, даты, названия местностей засели у него в памяти крепко, как колючки в платье. И вынимает он их ловко, осторожно и привычно, вынимает, точно шерсть с них распутывает, точно яблоки зимой вывертывает из бумаги, так они свежо и вкусно у него пахнут. Начинается ли разговор о подполье, о губернаторах, о купечестве — Горький знает и помнит все, будто вчера только наблюдали за всем его, с виду равнодушные ко всему, глаза. Зайдет ли разговор о 1905 годе, московском восстании, 9 января — факты и люди в рассказе Горького оживают, заполняют собой комнату, топят ее своими толпами.

Вот вспоминает он о 1905 годе и о Гапоне[7]. Как шли

рабочие плотной массой по скрипучему снегу, как торжественно были настроены и как эту приподнятость и торжественность в клочья разорвали и разметали три неожиданных залпа с двадцати пяти саженей. Стрельба была так неожиданна, что первые упавшие в передних рядах идущими дальше не были признаны за убитых; на них, на мертвых, еще покрикивали, думая, что они поскользнулись и упали от испуга; еще подшучивали и подбадривали их, уже не слышавших ни насмешливых, ни сочувственных возгласов; кричали им, что заряды холостые, что трусить не надо. А затем раскрылись коридорами пехотные части и из-за них карьером вылетели драгуны с шашками наголо.

«И ведь вот стервецы,— говорит Алексей Максимович,— ведь вот человек уже упал под лошадь, уже плечо у него перерублено, так драгуну надо его дорубить, достать его с седла концом шашки, и изгибается, кривится, подлец, с лошади изловчась достать упавшего клинком. ⟨...⟩

Вот девушка, в порыве смертельного ужаса повиснувшая на остриях железной решетки, подпрыгнувшая в смертельном страхе и сама себя распявшая на железных прутьях да так и пригвожденная в этой позе сразу десятком пуль. Вот мальчонка, залезший наблюдать процессию на лошадь памятника Пржевальскому [8] и сваленный залпом на бюст путешественника. Еще и еще встают люди в странных позах, застывшие, изрубленные, пронизанные свинцом...»

«Похороны Баумана. Идет вся Москва. Рабочие и интеллигенты, офицеры и артисты, дамы, студенты и купцы. Вон и тогда уже седая голова Станиславского, вон широкие ноздри Шаляпина, вон Серов, вон Брюсов. И флаги, флаги, флаги — впервые красные, совсем еще непривычные тогда. Движется невиданная процессия тысяч в четыреста человек, и никто ее не смеет тронуть, настолько могуча и стихийна эта первая массовая демонстрация Москвы. Избиение началось позже, уже при возвращении с похорон». ⟨...⟩

Рассказывает Горький, и не перечесть, не вспомнить всех мелочей, характерных подробностей, деталей, которые оживляют, делают свежим, по-живому дышащим ход событий в его воспоминаниях. А он помнит все до мельчайших подробностей, до номеров домов, до отдельных восклицаний. ⟨...⟩

Горький стоит у двери балкона, шевелит недовольно

усами. Внизу садовник раскапывает клумбу, а Горькому самому это хочется делать. Он смотрит вниз на садовника с ребяческой жадностью и завистью — ему не позволяют возиться в саду, потому что у него только на днях начиналось воспаление легких. Его вылечил итальянский врач каким-то местным способом, обкладывая горячей кашей. Вторичное заболевание для него может быть смертельно опасно. Но ему так хочется покопаться в земле, что никакая опасность им во внимание не принимается. И вот домашние следят, чтобы он тайком не убежал в сад, не схватился за лопату. Горький сидит взаперти на верху своей дачи. Он недоволен и бубнит обиженно, глядя через стекло балкона: «Вот черти драповые, что же они мне всю клумбу раскопали, все бегонии повысадили». А у самого, видно, руки чешутся покопать клумбу. ⟨...⟩

Горький любит все делать сам. Пока этого не заметишь, часто попадаешь в неудобное положение: «Алексей Максимович, у вас можно бумаги попросить, у меня вся вышла?»— «Отчего же нельзя,— конечно, можно». И Горький исчезает в своих мягких туфлях, взбегая по крутой лестнице на второй этаж за бумагой. Когда он возвращается, и сетуешь ему, зачем он сам бегал, а близкие набрасываются на него за то, что он рискует здоровьем, подставляя себя сквозняку,— он бубнит, стараясь перебить все эти запоздалые возгласы: «Да бумага-то хороша ли? Хватит вам ее?» ⟨...⟩

Ходит он дома в мягкой серой рубашке и верблюжьем жилете с рукавами. Брюки стянуты широким поясом-лентой; на ногах мягкие глубокие кожаные туфли. Походка у него легкая, пружинистая, военная. Кожа на лице розоватого оттенка, недавно обгоревшая от летнего солнца, и потому лицо как будто бы освещено постоянно солнцем или только что чисто выпарено. Той серости, которая темнит его на портретах, нет и следа.

Но Горького описать трудно. Еще труднее передать его речь, а главное, запомнить ее. Факты, цифры, имена, названия городов, деревень, улиц так густо в ней насажены, что, пытаясь вспомнить его рассказ, тотчас же запутываешься в многочисленности точных обозначений. А они-то и придают значение подлинности и точности его речи. ⟨...⟩

СИБИЛЛА АЛЕРАМО

С ГОРЬКИМ В СОРРЕНТО

Я не видела моего прославленного друга с того времени, когда он жил на Капри [1]. Это было до войны. Теперь он поселился в Сорренто, куда я приехала в поисках воспоминаний после шести лет мучительной тоски. ⟨...⟩

Я вхожу в старую калитку, и в глубине аллеи вижу идущего мне навстречу высокого человека. У него ясное, улыбающееся лицо с монгольскими чертами. Он обращается ко мне [2].

— E lei!* — говорит он по-итальянски. Потом продолжает по-русски, и я слышу голос стоящей с ним рядом дамы, которая переводит:

— Вы не изменились. Я узнал бы вас, даже если бы встретился с вами на улице.

Мы пожимаем друг другу руки и оба чувствуем: да, мы все те же, мы такие же, какими были тогда, когда впервые познакомились,— в тот день, когда Горький неожиданно вошел в мою маленькую римскую квартирку; это случилось вскоре после того, как моя первая книга была переведена в России; [3] Горький посмеивался тогда над моей робостью и над моим неумением найти подходящие слова.

— Да. Прошло почти двадцать лет,— говорит он снова по-итальянски.

В голубом сиянии его глаз — чарующая юность и вместе с тем — бесконечная мудрость. Такие глаза бывают иногда у детей.

Мы входим в дом. Дом двухэтажный. Чай накрыт в небольшой гостиной, украшенной фестонами из разноцветной бумаги. Горький только что отметил свое шестидесятилетие, совпавшее с тридцатипятилетием его лите-

* А, это вы! *(ит.)*

ратурной деятельности. По этому случаю из Москвы был прислан серебряный самовар, подарок русских писателей, а также банки с икрой и коробки с папиросами. Горький знакомит меня с сыном, невесткой, внучкой и несколькими гостями и соотечественниками, художником и художницей [4]. Он ничего не ест, не присаживается, курит и, разговаривая, ходит по комнате. Я хорошо помню эти жесты его красивых рук, эти настолько богатые и выразительные интонации его голоса, что, кажется, понимаешь, что он сказал, еще до того, как слышишь переводчицу. Но теперь он более строен, чем раньше, и я сказала бы даже, более молод, несмотря на седину в густых волосах и в свисающих книзу усах, которые делают его похожим на некоторые портреты Ницше. Когда я встречалась с ним прежде, чувствовалось, что он болен, теперь он выглядит здоровым и очень бодрым.

Я снимаю шляпу, и Горький замечает, что кое-какие изменения в моей внешности все-таки произошли. Обозначились признаки воли, говорит он: больше силы, больше характера. И вдруг оборачивается к своей секретарше, милой баронессе Будберг:

— Кого напоминает вам этот профиль?

Баронесса не знает.

— Екатерину Великую.

— Правда! Правда! — кричат все хором.

Горький замечает, что я смущена, не зная, надо ли мне радоваться столь царственному сходству. Он уверяет, что я могу им гордиться, и снова радостно смеется. Потом он предлагает мне пройти в его кабинет.

Прежде чем сесть за письменный стол, он показывает на стоящий за его спиной книжный шкаф, на верху которого стоит бюст Пушкина.

— Все это книги молодых русских писателей.

— Интересно, талантливо?

— Очень, очень. Молодежь снова возвращается к Гоголю. А скажите, скажите-ка мне, как у вас в Италии с молодыми силами?

— Надеюсь, Горький, вы не собираетесь меня интервьюировать?

Впрочем, он знает обо всем, что у нас напечатано. У нас и во всем мире. Нет сколько-нибудь значительной книги, философского направления или духовной тенденции, которые остались бы ему неизвестны. Этот самоучка и замечательный художник милостью божьей обладает

поразительной внутренней культурой. В нашей беседе мелькают самые различные имена. Из современных писателей, не говоря уж об итальянских, мы переходим от Джемса Джойса к Монтерлану, от Стефана Цвейга к Штейнеру. Его оценки блестящи и ясны, как его взгляд, но я чувствую, что они — плод длительных раздумий.

Вскоре он опять вернется в Россию, но лишь на несколько месяцев. Ему кажется, что только здесь он может по-настоящему работать. В ближайшее время он хотел бы закончить большой роман «Сорок лет» [5]. Он показывает мне два превосходно изданных тома, по 600 страниц каждый. Доволен ли он ими? Он говорит, что нет и что только через пять-шесть лет напишет что-нибудь, что его удовлетворит. Он весело смеется. Потом говорит, что изо всех своих произведений он больше всего любит небольшой рассказ, написанный им еще в юности,— «Рождение человека» [6].

В углу кабинета стоит ширма, закрывающая железную кровать. Одно из окон выходит на террасу. Горький отдыхает на ней, когда не гуляет по саду или по виа дель Кано. «Dolce» *,— говорит он по-итальянски, кивая на открывающийся из окон пейзаж.

На его худом лице у рта залегли глубокие складки; глубокие морщины пересекают его лоб. Я вспоминаю, как однажды этот поэт показал мне карту России, на которой были обозначены путешествия, совершенные им пешком по этой бескрайней стране. Прежде чем стать писателем, он был бродягой, рабочим, грузчиком, он знал голод, холод, изведал тюрьму и болезнь, а затем, в тридцать лет, к нему неожиданно пришла слава. Европа. Америка. Дружба с самыми великими людьми. Потом война, великая революция. И опять золотая Италия, «dolce».

Нет человека более простого, более человечного. Нет человека, взглянув на которого, ощутил бы такую же спокойную веру в жизнь.

Когда он был еще молод, Лев Толстой сказал ему как-то: «У вас умное сердце... Да, у вас умное сердце». А потом старый великий волшебник из Ясной Поляны добавил: «Странно, что вы добрый, имея право быть злым... Да, вы могли бы быть злым... Но вы добрый, и это хорошо» [7].

Горький приглашает меня остаться обедать, провести у него весь вечер и просит зайти к нему еще и завтра.

---

* Хорошо *(ит.)*.

Мы выходим из дома и спускаемся по хорошо мне знакомой улочке к «купальне королевы Джованны». На Горьком надета серая фланелевая рубашка и поверх нее только свитер касторового цвета. Он здоровается с встречными ребятишками; останавливается, чтобы поговорить с теленком, который, по-видимому, великолепно его понимает. Сидя на обдаваемых соленой пеной скалах, мы вспоминаем некоторых из тех, кто бродил по этим местам: Вагнера, Ницше, Ибсена.

Автор «На дне» — неутомимый и превосходный рассказчик. Это ему принадлежат слова: «Всякая вещь существует для того, чтобы о ней можно было что-нибудь рассказать».

Неожиданно для себя самой я задаю ему вопрос:

— Что такое, по-вашему, счастье?

Он смотрит на меня очень внимательно, некоторое время говорит о чем-то совсем другом, а затем произносит:

— Счастье для меня — это знать, что моя последняя книга кому-то понравилась, и ежедневно получать письма от простых, неизвестных людей, которые благодарят меня.

Потом, немного помолчав, он добавляет:

— Впрочем, счастье значительно менее редкая вещь, чем об этом принято думать...

На следующий вечер, после ужина и огромного количества музыки в мою честь — рояля, балалайки, саксофона, граммофона, русских и американских танцев,— художница, которая превосходно знает театр, и сын Горького, художник-карикатурист, с большим вкусом импровизируют номера с переодеваниями. Известно, что в области грима русским театром достигнуты чудеса. Белила и пастель, накладываемые щедро и с превосходным знанием цветовых сочетаний, делают их лица очень выразительными и совершенно неузнаваемыми. Чувство юмора, свойственное русскому народу, проявляется здесь во всей своей наивной непосредственности, чистоте и с большим изяществом. Максим Горький тоже по-мальчишески радуется красочным костюмам и забавным шуткам. Но иногда неожиданно на его лице появляется выражение какой-то непередаваемой суровости, которая не отталкивает, а, напротив, еще больше привлекает к нему сердца его близких и сердца всего мира. Около одиннадцати часов Горький извиняется и просит у меня разрешения удалиться. Он устал. Сегодня он тоже получил сотни писем с родины и почти на все из них ответил. ⟨...⟩

В. М. БАХМЕТЬЕВ

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Десятого июня 1951 года многие тысячи москвичей участвовали в торжественном открытии на площади Белорусского вокзала памятника А. М. Горькому [1]. И среди участников этого всенародного праздника было немало тех, кто, взирая на бронзовое изваяние великого русского писателя, невольно отдавался воспоминанию о событии, которое произошло без малого четверть века назад,— то была торжественная встреча здесь же, у Белорусского вокзала, Алексея Максимовича в день возвращения его на родину.

Солнечный май 1928 года [2]. Колонны москвичей заполняют площадь, колышутся красные знамена, звучат оркестры, слышатся молодые, звонкие голоса, исполняющие революционные песни. А на перроне вокзала — ряды красноармейцев в почетном карауле, и тут же живою пестрою лентой выстраиваются пионеры с букетами цветов в руках. Из распахнутых дверей вокзала на перрон проходят представители партии и правительства, делегации рабочих, работников науки и искусства, писатели.

Нарастает, приближаясь, железный рокот, и вот все живое здесь, на перроне, устремляется навстречу экспрессу. Множество вскинутых приветственно рук. Гремит могучее «ура», перекатываясь с перрона на площадь, с площади в устье Тверской магистрали [3], заполненной толпами народа... И чудилось, что вся Москва шлет свое голосистое, радостное приветствие тому, кто и вдали от нее был с нею, жил ее чаяниями, ненавидел и бичевал ее врагов.

А вот и он! Взволнованный, с горячими, влажными от слез глазами, он намеревается спуститься из тамбура ва-

гона, но, подхваченный с подножек на руки, оказывается на гребне живой волны: она влечет его вперед, он, улыбаясь, вскидывает руку с зажатою в ней широкополою шляпой, пытается освободиться из ласковых объятий. И когда наконец это ему удается, его с звонкими возгласами окружают пионеры, хватают за полы серого, широко распахнутого пальто, жмутся к коленям его. Он наклоняется к детям, касается рукою их плеч, поглаживает обнаженные головы и что-то говорит, но тут десятки пар дюжих рук вновь подхватывают его, подымают над тесно сомкнутыми плечами и несут к выходу.

И вот он на трибуне, высокий, широкоплечий, с неразлучной своей тростью в руке, с глазами, зорко, по-соколиному, устремленными к народу,— совсем такой, каким увековечен ныне ваятелями в бронзе памятника.

Вот Горький у микрофона. Глаза и впалые скуластые щеки его влажны; нависшие к самому, казалось, подбородку светловолосые усы подрагивают. Видно, как, стремясь выразить в живом слове радость этой встречи с народом, Алексей Максимович пытается унять волнение.

Площадь затихает, люди таят дыхание, вслушиваясь, ловя порывистые фразы, которыми Горький желал передать свое счастье, счастье видеть и слышать тех, чье величайшее в мире дело — дело построения невиданного под солнцем государства — потрясло его там, на чужбине, за тысячи километров от родной земли.

— Я взволнован и потрясен, дорогие товарищи! — Он беспомощно взмахивает шляпой, а другою рукой проводит по темно-русым, подстриженным бобриком волосам на голове.— Вы уже простите меня, я не умею говорить, я уж лучше напишу, что сейчас чувствую.

Взрыв аплодисментов, как бы одобряющих его решение, и затем под восторженные крики «ура», под ликующий марш оркестра Алексей Максимович сходит с трибуны, усаживается в автомобиль. Продвигаясь среди толпы, машина напоминает ладью среди взволнованных морских вод. Жмурясь под солнцем, Алексей Максимович ловит протянутые к нему руки, пожимает их на лету, а с той и другой стороны на него сыплются цветы.

Сердцем и мыслями тянулись труженики Москвы к Горькому, а тот, в свою очередь, тянулся к ним, чтобы почерпнуть «живой воды» из родников чудесной, изумительной действительности.

В тот же день он побывал в университете имени Свердлова [4], на следующий день, 29 мая, отправился на происходивший в то время съезд железнодорожников страны. Встреченный здесь бурею приветствий, он взял слово, в котором выразил свой восторг перед героизмом вольного труда, перед людьми, которые не останавливаются ни перед какими трудностями, которые осуществляют прекрасную мечту человечества.

— ...Вы,— закончил он свою речь, обращаясь к собранию,— вы самое великое, самое прекрасное и самое значительное явление на земле... Привет вам, мои дорогие товарищи, привет, родные мои!

31 мая Алексей Максимович был в Мавзолее Ленина и оставался у изголовья своего великого друга и учителя свыше часа. О том, что пережил и передумал он здесь, можно судить по его выступлению в тот же день на пленуме Московского Совета в Большом театре.

Он говорил о своем посещении Мавзолея, которое «потрясло его сильно, очень сильно», однако он тут же глубоко осознал, что — нет! — Ленин не умер.

— Ленин не умер, нет! — закончил он, обращаясь к переполненному залу театра.— Ленин живет в созидаемой вами самой передовой в мире общечеловеческой культуре. Он живет в героическом вашем труде. Он по-человечески живет в каждом из вас...

Голос Алексея Максимовича окреп:

— Дорогие товарищи! Там, на Красной площади, лежит Владимир Ильич Ленин. Но я вижу его здесь, в этом зале... В вашем лице передо мной коллективный Ленин!

Последняя фраза его о том, что все это говорит им, собравшимся на пленум, «не художник, не литератор, а простой рабочий, русский человек», сопровождалась долго не смолкаемыми аплодисментами.

1 июня Алексей Максимович гостил в цехах автомобильного завода АМО [5], ⟨...⟩ провел беседы с рабочими, заглянул и к рабкорам, в редакцию заводской газеты. Здесь один из рабкоров выразил Алексею Максимовичу свое недоумение по поводу того, что вот он, великий писатель, интересовался заводом, а московские писатели не показываются в стенах завода и не пишут о них, советских рабочих.

На это Алексей Максимович живо откликнулся:

— А вы сами о себе пишите! Среди вас столько дарований! Пишите, обязательно пишите!..

На заводском митинге в обеденный перерыв свое краткое обращение к рабочим Алексей Максимович закончил горячим призывом «верить в свои силы».

— У вас, товарищи,— сказал он,— учатся рабочие всей земли. Не забывайте этого! Верьте в себя, в свои силы, и вы преодолеете все, все трудности.

Вечером того же дня он навестил коммуну молодежи Рогожско-Симоновского района, где призывал юных граждан юной республики идти по славному пути Ильича. ‹...›

В последующие дни Алексей Максимович встретился с рабочим коллективом Трехгорки, побывал в трудовой колонии ОГПУ, выступил па многолюдном собрании рабкоров «Правды» с обширным докладом о своем писательском пути, присутствовал на совещании военкоров Московского гарнизона, а 7 июня, после полудня, прибыл к нетерпеливо ожидавшим его писателям.

Небольшой зал Дома Герцена на Тверском бульваре был переполнен жаждущими услышать слово Горького.

Заняв место за столом президиума, Алексей Максимович выжидающе озирал плотные ряды старых и молодых писателей, приглушенным баском откликался на обращения к нему соседей и улыбался, теребя большим пальцем свои усы.

Собрание открыл А. Фадеев. В своем вступительном слове он предложил писателям поговорить запросто, от души, о достижениях и нехватках на литературном фронте.

— Будем говорить откровенно, чтобы Алексей Максимович мог иметь живое представление о том, чем мы собственно располагаем, какими силами, и чего нам не хватает.

В знак согласия с этим предложением Алексей Максимович склонял одобряюще голову в такт с постукиванием рукою о крышку стола.

После выступлений слово взял Алексей Максимович.

В своей ответной речи он развернул перед аудиторией величественную картину строительства, под руководством Коммунистической партии, социализма в стране, принявшей на себя дело всемирно-исторического значения.

Он говорил об огромных достижениях трудящихся всех национальностей на великом пути революции, о созидании в нашей стране новой социальной базы, о рождении нового человека — строителя нового государства. Касаясь насущных задач литературы, Горький указывал: задачи эти прямо вытекают из того неоспоримого

положения, что она, наша литература, должна быть революционной, а стало быть, и литератор не может не быть революционером. Но чтобы быть таковым, литератор обязан неустанно изучать жизнь миллионов тружеников, идти об руку с ними, прислушиваться к их голосу, вникать в их социалистическую практику и научиться видеть в настоящем ростки будущего, сочетая неразрывно реализм и романтизм в творческом труде своем.

После паузы он повел речь о мещанстве в старом обществе и о родимых пятнах мещанства в наше время.

Двумя днями позже, 9 июня, в беседе с писателями в редакции журнала «Красная новь» Алексей Максимович подчеркивал, что, разоблачая «воинствующего мещанина», необходимо прежде всего искать и открывать положительные черты нового человека, который еще себя не видит, но хочет, чтобы его видели литераторы и показали в своих произведениях.

— И литература наша обязана это сделать!

Этот призыв Алексея Максимовича к показу нового человека нашел живой отклик в сознании многих тружеников советской литературы.

ИВАН ЖИГА

ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ»

Это было в Большом театре. В пять с половиной часов вечера открылось заседание пленума Московского Совета, посвященное встрече Горького с руководителями партии и правительства, с депутатами Моссовета, с представителями трудящихся Москвы [1].

В сущности говоря, это небывалое в истории событие. Где, когда это было, чтобы столица государства, лучшие представители народа приветствовали писателя как своего национального героя?

Большой театр во всем своем бархатно-хрустальном блеске принял в свои ложи, в партер и на все ярусы столько людей, что поистине яблоку упасть было некуда.

От наркомов до пионеров, от ткачих Трехгорки до академиков, от рабочих «Серпа и молота» до всемирно известных мастеров культуры — все были представлены здесь.

Анатолий Васильевич Луначарский, по его словам, экспромтом, но, как всегда, с блеском искусного оратора сделал о Горьком доклад.

Доклад был блестящий, полный искреннего пафоса и веселого остроумия. Это не был научный анализ творческой деятельности писателя, нет, скорее это был художественно-литературный очерк личности Горького как писателя и человека, как ближайшего друга Ленина и верного сына рабочего класса — великого выразителя его чувств и дум.

Луначарский, как бы карандашом рисуя, мастерски набросал эскиз портрета Горького. И аудитория, такая живая и отзывчивая, дышащая любовью к Горькому, бурно реагировала на каждое удачное сравнение и яркое слово.

— Мы уверены,— сказал Луначарский,— что Алексей Максимович запустит руку в богатейшую кладовую своего сердца и выбросит нам полную горсть великолепных художественных ценностей.

И воскликнул:

— Да здравствует великий рабочий класс и его великий писатель!

В ответ весь сверкающий зал Большого театра, со всеми его семью ярусами, до отказа заполненными людьми, обрушил на Горького лавину громокипящих чувств.

Алексей Максимович, казалось, чувствовал себя подавленным. Он будто прятался за столом президиума, сидел, низко склонив голову, не глядя в зал, и только время от времени нервно пощипывал усы.

Но вот начали выступать представители московских фабрик и заводов. Рабочий Соловьев от завода «Серп и молот» трогательно говорил:

— Каждому рабочему хотелось бы лично пожать руку Алексея Максимовича, но всякий знает, что это невозможное желание: надо беречь время писателя, чтобы он подарил нам новые хорошие произведения.

Работница Ермакова из Хамовников рассказала, что она, как и многие другие работницы, до революции была неграмотна, а теперь сама читает произведения Горького. Она подносит ему подарок — вышитый на полотне портрет Ленина. Горький встрепенулся, быстро встал, долго и крепко жал руку Ермаковой, а потом порывисто обнял ее и расцеловал.

Делегация баумановцев от семидесяти тысяч рабочих района приветствует своего «кровного пролетарского писателя» и подносит ему адрес:

«Алексей Максимович! Не езди обратно в Италию! Мы создадим тебе все, какие только нужны будут, условия, чтобы ты мог работать вместе с нами, чтобы ты мог вместе с нами строить великое дело социализма!.. Мы не выбираем тебя никуда, ни в какие почетные члены, а мы просто скажем: «Ты, Алексей Максимович, хороший парень, ты свой нам человек!..»

Комсомолка-швейница под веселый шум и хохот всего зала дарит Горькому новенькую форму... юнгштурмиста.

— Как! И это мне? — удивленно вырывается у Горького.

— Тебе!— тряхнув головой, весело отвечает девушка.— Мы ведь знаем — душа твоя молода.

Пионеры со звоном горнов и рокотом барабанов идут на сцену приветствовать Горького от имени московских школьников.

Горький поражен. Он впервые столь близко видит юную, красивую, жизнерадостную поросль советского народа, с таким шумом и громом и с такой решительной смелостью заполнившую сцену и зал театра. Все как будто расцвело, заиграло, засияло улыбками. У всех пожилых заблестели глаза гордостью и радостью за своих детей. Все, казалось, помолодели.

Горький любовно смотрел на ребят и сам, видимо, не замечал, как крепко сжимаются его ладони, на лбу образуются глубокие складки, на щеках вздрагивают мускулы. Видно было, каких усилий стоило ему удержать радостное свое волнение.

А на трибуне стоял гражданин с красным галстуком, в синих трусиках и звонко повествовал о том, что нет теперь в Советской стране таких пионеров и школьников, которые не читали бы произведений Горького, что он, Горький, самый любимый писатель у ребят, что на его книгах они учатся, как жить и бороться.

Но вот зал затихает. Слово предоставлено Горькому. Он волнуется. Перед каждым своим выступлением он всегда волновался. Но тут было волнение особенное. Он не то что не мог говорить, а ему как будто не хватало воздуха. Избыток чувств мешал говорить. И он страдал, он мучился от бессилия произнести хотя бы одно слово. Он явно сердился на себя, топорщил усы, рывком теребил свой ежик, а потом, видимо, поймал самую простую мысль и произнес:

— Дорогие товарищи, я начну с возражения Анатолию Васильевичу.

Передохнул, пошевелил усами, вскинул голову и продолжал:

— Дело в том, что уже нельзя рассматривать как нечто исключительнейшее тот факт, что Алексей Пешков, преодолев малограмотность и кое-какие внешние препятствия, стал литератором сравнительно таким же искусным, как литераторы, проходившие гимназию, университет. Нельзя считать исключительным этот факт потому, что если до Горького фактов такого объема не было, то теперь, здесь, где сидят две тысячи пятьсот отличнейших строителей новой жизни, новой культуры,— здесь таких фактов найдется, вероятно, не одна сотня...

Это был разбег, это был только окольный подход к главной мысли, которую ему хотелось сказать и которую не мог он сразу высказать — так она была значительна для него, и так она его волновала. Но вот он вдруг возвысил голос и, будто жалуясь, будто ища сочувствия, произнес полным мучительной боли голосом:

— Милые товарищи, я сегодня был в гостях у Владимира Ильича Ленина... Этого человека я любил, как никого...

Голос дрогнул и оборвался. Дрогнули сердца и у нас всех, сидящих в зале. Наступила тишина.

На лице Горького отразилось глубокое страдание, в глазах блестели слезы. И у многих, многих, смотревших на него, слезы заблестели на глазах!

— ...И я тоже пользовался его вниманием и его любовью...

И снова дрогнул голос, и снова тишина.

В глубине сцены возвышался большой портрет Ильича. Лицо его в профиль повернуто было в сторону трибуны, на которой стоял Горький. Создавалась иллюзия того, будто Ленин стоит в глубине сцены и с чуть заметной, присущей только ему лукаво-ласковой улыбкой смотрит на плачущего Горького. А тот, борясь со своим волнением и не имея сил подавить его, бросал бессвязное:

— Ну... конечно... ладно...

И вдруг, помолчав, словно оправдываясь перед залом, произнес:

— Я уехал, когда он был еще здоров...

Но эта фраза опять как бы смяла волю Горького, и он снова в бессилии произносил отрывочные фразы:

— Ну, да ладно... Что об этом говорить... Каждый из вас прекрасно знает, что значит потерять этого великого и прекрасного человека...

Смерть Ленина еще очень остро ощущалась всеми. И когда Горький со слезами на глазах заговорил об этой тяжелой потере, боль его души передалась залу и еще глубже слилась с любовью людей к ним обоим... Оба они любили друг друга, и скорбь живого по ушедшему была глубокой скорбью всех.

— Само собой разумеется, что сегодняшний визит меня взволновал глубоко... Это и сейчас сказывается: я не могу говорить...

Зал ответил не шумом, не аплодисментами, а каким-то единым могучим вздохом сочувствия. И это укрепило

волю Горького. Он справился с собой, подавил волнение, выпрямился и продолжал:

— Но представьте, товарищи, что произошло: после этого визита я поехал в Институт Маркса и Энгельса, и, когда там посмотрел на гигантскую работу товарищей, я вдруг со стыдом вспомнил, что то глубокое потрясение, которое я испытывал несколько минут тому назад, я утратил.

Теперь Горький окончательно овладел собой и уже с иным волнением и чувством — с чувством бодрости и веры говорил о бессмертии ленинского дела...

В зале раздались аплодисменты, но не в похвалу себе аплодировали люди, а в похвалу ему, Горькому, за то, что он увидел главное, чем живут советские люди, стремящиеся воплотить в жизнь ленинские заветы. А он, не обращая внимания на аплодисменты, все с бо́льшим и бо́льшим увлечением говорил:

— Я там жил вдали от России, слушал, читал газеты, книги, письма, я воображал себе, правда, смутное представление было о том, что есть сейчас в России. А вот теперь это представление ясное. Я уже поговорил со многими, многих видел, ко многому присмотрелся. Это другой народ. Это не тот народ. Это не тот народ, который я знал, не тот, о котором я писал,— другой. Этот народ должен и может создать своих писателей и создаст. Он должен и может сделать все, что он хочет; он сделает...

Уверенность и твердость звучала теперь в словах Горького. Он глядел в зал полными внутренней силы и огня глазами, голос его окреп, жестикуляция стала энергичной. Протягивая руки к тысячам слушателей, сидящих перед ним, он теперь уже вдохновенно говорил:

— Дорогие товарищи, на Красной площади лежит Владимир Ильич Ленин. Здесь сидит коллективный Ленин. Этот Ленин должен как-то углубиться, он должен создать много Лениных, таких огромных, таких великих, таких настоящих, массовых, громадных Лениных!

...Вы достойны высокой оценки. Вы поверьте мне, я не преувеличиваю. Это вам говорит не художник и не литератор, вам говорит простой рабочий русский человек...

Буря аплодисментов. Гром оркестра. Долгое, могучее «ура».

Так, после долгой разлуки, встретил Горького живой, бессмертный в коллективе Ленин. ⟨...⟩

Летом 1929 года Алексей Максимович, вернувшись в Москву, жил на даче в Краскове. Я получил приглашение побывать у него.

Встретил я Алексея Максимовича в лесу гуляющим по усыпанным желтым песком дорожкам, недалеко от дачи. Шел он спокойно, медленной походкой, вскинув голову.

Как всегда, на вид казался он гораздо моложе своих лет. На слегка потемневшем от загара лице разгладились морщины и складки. Ясные серые глаза его сияли молодо. Он был бодр и производил впечатление человека лет сорока, живущего во всю полноту физических и духовных сил. Вот только кашель — глухой, надрывный, как бы раздирающий ему грудь, и потому особенно мучительный. Проклятый этот кашель иногда продолжался у Горького с минуту и больше, мешая ему говорить. И всякий раз в таких случаях мне самому становилось мучительно больно.

Сегодня ему было, видимо, лучше. Приветливо улыбнувшись, он протянул мне широкую свою ладонь:

— А, здравствуйте!.. А я вот гуляю. Да, не работаю... не работаю! — как будто оправдываясь, говорил он.— Любуюсь! — Поднял руку вверх.— Чудесно!.. Дышать легко!

Действительно, день был чудесный, и дышалось легко. Смола таяла на соснах. Высокие, стройные стволы их отливали золотом. Темно-зеленые кроны, густо переплетаясь под небом, хранили на земле теплую, душистую тень. Сквозь зеленую хвою пробивалось солнце, рассыпая под ноги нам радужные блики... Вокруг — тепло, легко, просторно, и мне было понятно восклицание Горького: «Любуюсь!»

Мы направились в глубь леса по расчищенной от хвои тропинке. Горький спросил:

— Ну, как у вас с очерками?

Я изложил планы предполагаемых к изданию новых очерковых сборников, и мы заговорили об очерках, о литературе вообще, о читателях и писателях.

— Наши читатели жадные, требовательные,— сердитые, да, сердитые! — трогая усы, говорил Горький и сам как будто сердился при этом.

Это всегда было у Горького, когда он заводил разговор о требовательности читателя. У него получилось так, будто он сам сердится вместе с читателем за какую-нибудь плохую книжку.

— Читатели каждое фальшивое слово замечают... Да, да, понимаете ли, замечают и ругаются! Да еще как!.. Умно ругаются, превосходно! — воодушевленно продолжал Алексей Максимович.— Таких читателей надо уважать, любить надо. Живой народ! Они хотят все знать, знать правду, и писатель обязан говорить им правду. Нельзя, понимаете ли, шутить с ним, с читателем, его не проведешь. Наш читатель проделал две революции, много страдал, много боролся, великолепно боролся!.. Он изумительно умен! Да, умен и много знает. Ему порою не хватает только обобщения по поводу его собственной работы. И писатель должен уметь обобщать то, что знает читатель. Из тысячи знакомых читателю фактов писатель должен взять самое главное, обобщить и как бы подсказать читателю: «Вот, смотри, видишь, что получается из твоей работы?!» И то, что получается, надо изобразить просто, ясно, выпукло...— Горький поднял руки на уровень своего лица, растопырил пальцы, словно поддерживая глобус, и добавил: — Да, понимаете ли, надо уметь обобщать и обобщенное показывать выпукло. А мы это не всегда хорошо умеем делать.

Мне уже не первый раз приходилось слышать от Алексея Максимовича слово «мы», когда дело касалось литературы. Он никогда не гордился своим собственным мастерством. Наоборот, кажется, никто не относился к его работе с такой жестокой критикой, как он сам. Никогда, например, он не говорил, что вот, мол, возьмите такую-то мою книжку или такое-то произведение и поучитесь, как надо писать. Никогда, ни одним словом не подчеркивал он, что стоит выше других литераторов. Если приходилось ему говорить о тех или иных недостатках литературы, он говорил обычно, что эти недостатки «у нас», что плохо работаем «мы». О своих же книгах он или совсем не говорил, или, прищелкнув пальцем, с досадой бросал реплику:

— Плохо! Фабулы не умею строить. Да и действия мало!

Он никогда, кажется, не был удовлетворен своей работой, и потому, очевидно, никакого впечатления не производили на него расточавшиеся похвалы и восторги по поводу того или иного его произведения, выраженные ему лично.

Мы проходили мимо небольшой полянки, сплошь заросшей цветами. Горький остановился и долго наблюдал,

как заботливо трудились пчелы. Они облетали каждый цветок и, отягченные пахучим соком, медленно подымались ввысь. На смену им прилетали другие. Зарывшись головками в пахучие чашечки и раздвигая пушок сердцевины цветка, они жадно припадали к нему.

Указав мне палкой на одну из пчел, Алексей Максимович задумчиво проговорил:

— Вот так и писатель... Видите, с какой она, пчела, страстью работает? И заметьте, от всех цветов возьмет то, что ей надо, возьмет самое главное и даст человеку мед... Учиться надо. Писатель должен работать, как пчела!

— Но можно ли этому научиться, Алексей Максимович?

— Можно! Из множества фактов прошлой или настоящей жизни, из наблюдения над тысячами людей надо отбирать самое главное и научиться наиболее полно и ярко изображать словами внутреннюю и внешнюю, бытовую жизнь человека, его мысли, чувства, идеи. Это, собственно, связано в известной мере с литературной техникой, и этому можно и должно научиться. 〈...〉

А. БАРБЮС

БЕСЕДА С ГОРЬКИМ

Я увидел его впервые [1]. Порой нас объединяла работа, но жили мы вдали друг от друга...

И вот он передо мной; мы обменялись рукопожатием и обнялись у входа в дом, между белых колонн... ⟨...⟩

И вот Горький сидит против меня, и первое впечатление от него я простодушно выражаю в словах: «Да ведь он не похож!»

Лицо Алексея Максимовича — во всяком случае, судя по тому, как оно выглядит сейчас,— заметно искажено художниками и попросту изувечено толпами фотографов. Бесчисленные портреты дают лишь смутное представление о внешности Горького. Он гораздо более изящен, чем его бумажные двойники, рассеянные по всему миру... Лицо у него матовое, светлое. И нет слова, которое могло бы передать сверхъестественный блеск его синих глаз.

...Прежде чем начать разговор, он взял своими тонкими, нервными пальцами последний номер «Monde» и, осенив очками восхитительные, почти фосфоресцирующие глаза, стал его просматривать — прочитывал заголовки, отдельные фразы, отдельные места...

Затем он отвечает на вопросы.

Чем он здесь занимается? Сейчас у него перерыв на несколько дней, он отдыхает, собирает материалы. Вскоре он отправится на Украину, затем — на Кавказ, затем — в Нижний Новгород, его родной город. Пишет ли он? Да, но в данный момент не книги: путевые заметки, статьи... Его настроение, первое впечатление? *Он был потрясен.*

В Италии, где Горький прожил несколько лет, он получал обширную корреспонденцию из России. Он читал

газеты, он был в курсе всего, что там происходило. Но знал он далеко не все. Достаточно сказать, что многого он не узнал, приехав сюда. А между тем он смотрел во все глаза, во все вглядывался, расспрашивал всех подряд, говорил со всеми. Советская пресса отметила эту активную и неутомимую любознательность, вникающую во все мелочи, охватывающую в подробностях все события, прислушивающуюся ко всем суждениям и мнениям...

Итак, самое впечатляющее для него в современной России — это громадная перемена, беспримерная по шири и глубине...

Он говорит с нежностью в голосе:

— Я не узнал здесь ни полей, ни птиц. А как хорошо знал я их раньше!

Не узнал он и Москвы, хорошо ему известной в прежние годы. Конечно, силуэт столицы с той поры заметно изменился... Но не это имеет он в виду, когда говорит о перемене... Другая атмосфера, другие люди, другая жизнь. Перемена явилась ему в форме *омоложения*. Именно это слово он неустанно повторяет, это лейтмотив его нынешних ощущений. Он говорит:

— До приезда в Россию я был более усталым и старым, чем сейчас. Все, что я здесь увидел, омолодило меня.

Он говорит о «юном и славном лице», о «независимом и уверенном взгляде», о «новых созидателях»... Подчеркивает, что окружен «атмосферой энергии и творчества, разумной и святой»... Он растроган, и волнение мешает ему говорить. Он предпочел бы не говорить, а писать обо всем этом, так как в разговоре труднее найти нужные слова; рука — его более послушная переводчица мыслей и более красноречива, чем его уста.

Это внутреннее потрясение человека, которому Россия и русские были так хорошо знакомы и который так глубоко постиг человеческую натуру,— явление поразительное и волнующее, тем более что он прибыл сюда не из глубины веков — он отсутствовал всего несколько лет... Он анализирует причины и движущие силы происходящего, раскрывает общие закономерности. В них — суть. Он отчетливо видит недостатки и пробелы, он видит все, но взгляд его — взгляд великого человека, понимающего истинный смысл мелочей, и он заключает:

— Советское общество на подъеме, и это самое прекрасное и важное событие из всех происходящих на земле.

Его определению присуща историческая ширь.

Он говорит о человеке прошлого — каким он был прежде и каким еще отчасти остается, а также о новом человеке...

Новый человек, заявляет Горький,— это человек, который «внутренне омолодился»... Новый человек — борец. «Он набирает умственные силы, он приобретает знания и — что особенно важно — овладевает мировоззрением, ясным и точным. Он проникается социальным сознанием, пониманием своей исторической миссии. В революционных свершениях участвует не только его голова, но и сердце»...

Во всех областях жизни Горький видит проявление ленинского духа:

— Если народные массы России осуществили идею обновления и упорно продолжают трудиться, то потому, что вдохновлены Лениным. Ленин вновь оживает в коллективе...

Максим Горький особо подчеркивает роль личности в новом обществе: коммунизм вовсе не принижает личность, он рождает энтузиазм:

— Противники коммунизма утверждают, будто он обезличивает людей, превращает их в застывшую «серую массу». Нет, здесь все кипит и все обжигает. Особенно поражает меня то, что в Советском государстве люди приобретают ярко выраженную индивидуальность. Мы свидетели роста личности...

У Максима Горького есть грандиозный замысел, который в скором времени будет претворен в жизнь; речь идет о новом ежемесячном журнале под названием «Наши достижения». Это периодическое издание будет иметь чисто документальный характер...

— Совершенно необходимо, как мне кажется,— говорит он,— создать орган, который, подобно зеркалу, отражал бы наши трудовые успехи; необходимо потому, что, по-моему, мы недостаточно ясно осознаем, что совершили мы здесь, в Советском Союзе, и здесь, в Москве, где каждый человек живет совсем иначе, чем десять лет назад [2].

Мы касаемся другой темы — нового искусства, пролетарской литературы. ⟨...⟩

...нет сомнения: новое общество должно создать своих собственных писателей и создаст их... Литература теперь должна быть революционней, чем когда бы то ни было. Ей нужно внимательно исследовать основные черты но-

вого человека, развернуть художественную критику отрицательных явлений современности... Растут новые кадры. Из числа рабочих корреспондентов, выдвинутых большими пролетарскими газетами, за короткое время вышли сотни журналистов и писателей, достойных похвалы...

И он подчеркивает, что необходимо дать этим людям максимум образования и помочь в овладении литературным мастерством.

— Чтобы ставить слова на свое место, чтобы владеть инструментом, который макают в чернила, нужны годы учебы. Этому научиться так же трудно, как и обработке железа. В письмах рабочих корреспондентов (в Италии я получал их по десятку в день) встречаются орфографические ошибки, но есть и талант. Пройдет года два, и ошибки исчезнут, а талант останется: авторы этих писем станут квалифицированными писателями.

Над чем Горький будет работать в дальнейшем, он точно сказать пока не может. Но он твердо знает, что будет работать во имя великой трудовой коммуны, которая вот уже десять лет как утвердилась на развалинах царской империи. Ленин как-то подчеркнул, что Горький «крупнейший представитель *пролетарского* искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать» [3]. И Максим Горький, верный направленности и целеустремленности всей своей трудовой жизни, с убежденностью, признательностью и волей, которую он черпает в общении со своими соотечественниками, будет следовать этому.

Б. М. ЕРМАКОВ

У КОЛОНИСТОВ-МАКАРЕНКОВЦЕВ

28 марта 1928 года А. М. Горькому исполнилось 60 лет. В конце мая великий пролетарский писатель прибыл на родину. Этого приезда ждали все и всюду. В детской колонии имени М. Горького задолго готовились к приезду любимого писателя, поддерживающего с колонистами тесную связь [1].

За один только май 1928 года воспитанники колонии получили 12 пакетов с книгами. 30 мая состоялось специальное собрание колонистов, обсуждавших вопрос, как лучше встретить дорогого гостя.

Была послана телеграмма М. Горькому. В ответ Алексей Максимович писал заведующему колонией Антону Семеновичу Макаренко:

«...Мне очень хочется подарить ребятам инструменты для духового оркестра и для оркестра балалаечников. Разрешите? Может быть, среди ребят окажутся талантливые музыканты. А я имею возможность приобрести все это очень дешево...

Передайте мой сердечный привет ребятам и научите меня сделать что-нибудь приятное для них» [2].

...И вот наступило 8 июля 1928 года. Было раннее воскресное утро. Столица Украины Харьков [3] торжественно встречает своего пролетарского писателя, певца и буревестника революции.

Задолго до прибытия поезда на привокзальную площадь пришли со знаменами и плакатами рабочие фабрик и заводов, пионерские и общественные организации. На перроне в ожидании поезда выстроился почетный караул

воспитанников детской колонии имени Горького и коммуны имени Дзержинского со своим оркестром.

К перрону медленно подходит поезд. В широком окне вагона показывается знакомая по портретам фигура М. Горького.

Оркестр встречает писателя «Интернационалом». В сопровождении представителей комитета, после рапорта заведующего колонии имени Горького, Алексей Максимович обходит почетный караул воспитанников колонии.

Он худощав, высок, широкоплеч, все поглаживает свои рыжеватые усы.

Начинается митинг.

— Алексей Максимович, вы не только великий пролетарский писатель, но и революционный борец за лучшее будущее человечества,— говорит председатель комитета по встрече товарищ Мороз.

Затем с большим воодушевлением выступает пионер, от имени всех пионеров Харькова он просит «дедушку» Горького:

— Оставайтесь у нас на все время, Алексей Максимович, не уезжайте больше за границу.

Слышны восторженные крики и приветствия.

У Алексея Максимовича от сильного волнения по щекам катятся слезы, он быстро смахивает их рукой, а затем поднимает пионера и крепко целует.

Долго не стихают дружные овации. Трудно выступать Алексею Максимовичу, он взволнованно говорит:

— Дорогие товарищи!.. Я становлюсь бездарным в такие торжественные минуты... Я не оратор... Я человек работы и с великим наслаждением наблюдаю, как кипит у вас всюду работа...

Он делает жест рукой, как бы подчеркивая свои слова.

— Я часами могу наблюдать, как работает какой-нибудь плотник... У вас всюду идет строительство... Я вижу, как тут у вас маленький человек творит большое, мировое дело. Освобожденный человек строит новую жизнь. Вы здесь показываете пример всему миру...

Алексей Максимович останавливается, подбирает какие-то нужные слова, потом, качнув головой, тихо произносит:

— Лучше я вам напишу, дорогие товарищи. Спасибо за встречу... Спасибо вам...

Митинг окончен.

Затем Алексей Максимович едет в Куряж, в колонию своего имени, расположенную вблизи г. Харькова, в бывшем монастыре.

С утра вся колония уже на ногах. Горьковцы ждут своего шефа. Конный дозор далеко от колонии встречает машину с гостем. Для дорогого гостя давно приготовлены уютные комнаты, в которых он будет работать и отдыхать во время пребывания в колонии. Всюду чистота и порядок.

Все здания убраны красочными полотнищами. В школе организована выставка о жизни горьковцев.

Алексея Максимовича просят отдохнуть, но он, окруженный тесной толпой ребят, осматривает колонию, интересуется, как живут и работают колонисты.

— Это удивительно,— говорит он мягким басом.

Вечером, после торжественной части, колонисты показали гостю его пьесу «На дне».

Алексей Максимович пробыл в колонии несколько дней, подружился с ребятами, побывал на сенокосе.

Увидев возвышающийся вдали монастырь, промолвил тихо:

— Знаете, ведь я-то в тысяча восемьсот девяносто первом году бывал здесь в монастыре, ночевал тут. Помню, у меня было тогда здесь острое столкновение с всероссийским мракобесом того времени, с проповедником Иоанном Кронштадтским. Монахи чуть пинка мне не дали в спину. Я напишу об этом... [4]

Помрачнел и стал молча осматриваться вокруг.

— Много я исходил по Руси, видел тяжелую жизнь, эксплуатацию и нищету народа.

Кашлянув немного, как бы заключая свои мысли, продолжил:

— И вот вам все дает государство. Одевает, кормит, учит, заботится. И я не сомневаюсь — вы станете настоящими людьми. Вижу — молодцы вы, молодцы. Хорошо у вас здесь...

Утром 9 июля М. Горький посетил трудовую коммуну имени Дзержинского вблизи Харькова.

В клубе тепло и сердечно приветствовал А. М. Горького заведующий коммуной А. С. Макаренко, незадолго до этого перешедший сюда из колонии имени Горького.

Затем выступил Алексей Максимович:

— Я тоже когда-то был таким же, как и все вы раньше.

А вот захотел и стал таким, каким вы видите меня сейчас. Я хочу верить, что ваше прошлое вы забудете здесь в повседневном, похвальном труде и выйдете отсюда учеными работниками честного труда, чтобы со свойственной вам энергией построить то, к чему стремится человечество.

Прощаясь с гостем, дзержинцы подарили ему свой альбом с краткими автобиографиями.

Наступают минуты расставания. Алексей Максимович, прощаясь с колонистами, говорит, что он всегда с молодым поколением потому, что оно лучше всех идет вперед.

П. Х. МАКСИМОВ

СВИДАНИЕ С А. М. ГОРЬКИМ

«Летом, вероятно, я Вас увижу»,— писал мне А. М. Горький 20 ноября 1927 года.

Я давно мечтал об этом, но как это произойдет — не знал.

...Из Москвы, со съезда, вернулся редактор «Молота» (ростовская областная газета).

— Товарищи,— сказал он,— в одном поезде со мной из Москвы в Харьков ехал Горький. Я видел его несколько раз, когда он выходил из вагона на остановках. Постарел, щеки ввалились, но живой, бодрый... Из Харькова он поедет на Горловку. Это же совсем близко от нас. Надо его обязательно залучить в Ростов, послать телеграмму с приглашением. Сейчас пойду в крайком, горсовет...

Прошел день или два. Прихожу в редакцию.

— Вы слышали? В шесть часов в Ростов приезжает Горький!

Это было 18 июля 1928 года.

Писатели и журналисты шумной кучкой двинулись к вокзалу. Туда же спешили колонны рабочих — с оркестрами, со знаменами. Привокзальная площадь заполнилась народом.

— Горький, Горький...— слышалось здесь и там.

Стало известно, что поезд сильно опаздывает. И ползли, ползли томительные минуты...

Мы прошли на перрон; там уже шумело людское море — пожилые рабочие, молодежь, дети... И все они — читатели Горького. Где и когда читатели так встречали

писателя? Нигде, никогда! Стояли, перегибались с перрона, смотрели на семафор: нет, не видно поезда, вероятно, задержали в Таганроге.

Паровоз вынырнул из-за поворота как-то неожиданно.

По перрону пробежал железнодорожник.

— Во втором вагоне, во втором вагоне! — кричал он на бегу.

Окна вагонов проплыли мимо. Народ, колыхнувшись, устремился к голове поезда.

Поезд стал. Где же Горький? Быстро скользнув глазами по окнам, я увидел в одном из них стриженую седеющую голову, свисающие усы... И он, и не он — ни один портрет не дает живого Горького!

...Встречающие — в растерянном оцепенении. Горький смотрит из окна, улыбается отцовской улыбкой. На нем фуфайка без воротника, в руке — янтарный мундштук с папиросой.

— Алексей Максимович! — кричу снизу, подняв голову к окну.— Здравствуйте! Помните Павла Максимова, который писал вам из Ростова? Семнадцать лет тому назад началась наша переписка... Семнадцать!..

Кричать снизу было неудобно, неловко как-то. Я очень был взволнован.

Алексей Максимович долго и внимательно смотрел на меня. У него были большие, синие, цвета выцветшего сатина глаза пожилого человека, без блеска и по-стариковски добрые.

Алексей Максимович быстро подал мне из окна руку. Она была большая, мягкая.

— Вот вы какой! — сказал он глуховатым баском...— Я вас почему-то не таким представлял...

Он говорил, заметно напирая на «о», как говорят волжане, и продолжал смотреть на меня.

А народ уже напирал на вагон, кричал «ура».

— Ничего, товарищ, они не опрокинут вагона,— шутливо сказал Алексей Максимович, обращаясь к стрелку железнодорожной охраны.

В вагоне вспыхнул электрический свет. Рядом с Алексеем Максимовичем показалось тонкое бритое лицо его сына Максима (ныне покойного); в соседнем купе были видны пассажиры, молодые рабочие.

— Вы не сойдете? — крикнул я Алексею Максимовичу.— Там, на площадке, вас ждут рабочие.

— Не могу,— ответил Алексей Максимович,— еду в Баку [1] этим же поездом.

— Тут близко... Только перейти через пути.

— Право, не могу.

— Скажите что-нибудь! — крикнул молодой голос.

— Да хорошо вам... А каково-то мне? Я же не умею говорить,— ответил Горький.

— А писать небось умеете!

Горький смущенно улыбался.

Между тем в вагон вошли представители краевых и городских организаций и, видимо, стали приглашать Алексея Максимовича сойти. Повернувшись спиной к окну, Алексей Максимович развел руками. Но сдался. Сын Максим заботливо накинул пиджак на плечи отца.

А молодежь продолжала кричать с перрона.

— Экая молодая страна! — с удивлением сказал Алексей Максимович, задерживаясь ласковым взглядом на молодых лицах.

Мешая друг другу, заиграли оркестры.

Дальше я видел только стремительный людской водоворот на путях и сухощавую фигуру Алексея Максимовича, которая то скрывалась в толпе, то вновь появлялась. Мелькала его стриженая, тронутая сединой голова без шапки да высохшая сутулая спина. Вытянув руки из окон вагона, аплодировали пассажиры.

Горького вели под руки. Он прикрывал ладонью рот и кашлял. У прохода через «парадные» комнаты образовался людской водоворот. В глазах Горького была растерянность.

В тот день не спрашивали перронных билетов: людской поток захлестнул контролеров.

...Очень высокий, тонкий человек без шапки, в застегнутом на все пуговицы пиджаке поднялся на трибуну и порывисто вскинул руки, приветствуя народ. Он был еще крепок, только шея у него была стариковская, сморщенная. Народ был всюду: на площади, в окнах этажей, на крышах... Не верилось, но этот человек был живой Горький. Он то опирался на перила трибуны, то нервно сжимал свои руки. Молчал, собирался с мыслями...

— Сорок лет тому назад я работал в этом городе,— напирая на «о», негромко начал Горький,— грузчиком на берегу работал... [2] Кожу, табак выгружали из турецких пароходов. Грязный, извините меня, был ваш город...

Плохо платили рабочему человеку... И полиция была свирепая.

И, словно вспомнив тяжелые времена, великий писатель, с совершенно обычным лицом трудового человека, красноречиво почесал за ухом. Мировая слава нисколько не испортила его: он, книги которого читают во всех странах мира, видимо, чувствовал себя на трибуне неловко, был явно смущен. Скажет, помолчит, опять скажет... Но постепенно голос его окреп, мысль бурно налетала на мысль.

— Я вот был на Днепрострое [3] и еще побывал в разных местах... *Вы* — хозяева страны, *вы*! На себя работаете, а не на дядю! Иногда вы этого недооцениваете... Побережнее относитесь к себе, товарищи... ⟨...⟩

В. М. АЛАЗАН

МАКСИМ ГОРЬКИЙ В АРМЕНИИ

Бывают в жизни счастливые минуты, которые навсегда остаются в памяти человека.

Это было 24 июля 1928 года. Позвонили мне из ЦК КП Армении:

— К нам приезжает Максим Горький. Через час правительственная делегация едет встречать его, вы — в составе делегации. Встреча состоится завтра в 8 часов, на вокзале Каракилиса [1]. Сопровождать Горького будете по маршруту Каракилис — Дилижан — Севан — Эривань. ⟨...⟩

До прибытия поезда оставалось больше часа, но вокруг вокзала Каракилиса шумела, подобно обильному ливню, большая толпа. Повсюду флаги, цветы, алые полотна. Встречать Алексея Максимовича собрался буквально весь город, а также крестьяне окрестных деревень и красноармейцы летних лагерей.

Когда подошел поезд, широкий человеческий поток, подобно живой преграде, растянулся на целый километр. Загремело громкое красноармейское «ура», общенародное «ура» в честь Горького.

Мы бросились в вагон Алексея Максимовича. Сердечно приветствовали его, познакомились. От восторга у меня дрожали губы. Я заикался, не мог говорить. Алексей Максимович, сидя спокойно, пил чай со своим сыном.

— Почему собрали столько народу? Что, у них нет дела? — с улыбкой заметил он.

О скромности Алексея Максимовича я знал давно. Знал, что он не любит торжественных встреч, шумихи вокруг себя, отгоняет фотокорреспондентов.

А на вокзале волновалось людское море, взоры всех были обращены к дверям вагона Горького. Но наш гость все медлил, казалось, он не хотел выходить из вагона, предполагая, видимо, что, если немного повременит — людское море поредеет. Он, конечно, ошибся.

Лицо Алексея Максимовича загорело, в глазах — выражение усталости — результат длительного путешествия, которое он проделал с берегов Сорренто до Кавказских гор, до Армении.

Наконец мы уговорили Алексея Максимовича выйти из вагона, объяснили, что оставшийся путь до Эривани поедем на автомобилях. Он встал с места и пошел к выходу.

— Добро пожаловать!

— Да здравствует Горький!

— Слава большому другу армянского народа! — раздалось со всех сторон по-армянски, по-русски, по-азербайджански.

На ступенях вагона, подняв правую руку, Алексей Максимович тепло приветствовал собравшихся.

После короткого митинга повезли Горького в дом отдыха Каракилиса. У входа я ему говорю:

— Алексей Максимович, раньше это была дача армянского богача Таирова, а сейчас здесь отдыхают трудящиеся нашей республики.

— Вот что означает Советская власть,— с гордостью ответил он.

Когда уезжали, к машине Алексея Максимовича подошел русский старик садовод, с длинной седой бородой и подарил ему два больших букета южных цветов — свое скромное «произведение» без автографа...

По пути до Эривани крестьяне с золотистыми снопами пшеницы, с цветами в руках восторженно встречали Максима Горького, который часто останавливал машину и беседовал с ними.

В Дилижане Алексею Максимовичу показали санаторий. В белом халате он прошелся по всем палатам, познакомился с больными, с медицинским персоналом, поинтересовался методами лечения, рационом больных и по их просьбе сфотографировался с ними.

Наши машины остановились на берегу горной красавицы — озера Севан. Алексей Максимович восторгался чудом армянской природы, но, как деловой человек, в первую очередь заинтересовался рыбным промыслом.

Торжественно встретила Алексея Максимовича столица Армении. Повсюду — красные флаги, цветы, пестрые ковры, лозунги, портреты писателя.

Эривань того времени, конечно, не могла похвастаться столь широким размахом строительства, как сейчас. Но все же у нас были новые заводы и фабрики, которыми мы могли гордиться. На наших новостройках Горький чувствовал себя не как гость, не как «турист», а как близкий, как родной член семьи, как брат. Удивительно просто, с обаятельной скромностью он беседовал с рабочими, вникая во все подробности, интересуясь всеми мелочами.

...Рабочие одного завода [2] давно уже с нетерпением ждали его. Показался Горький. Рукоплескания, радостные возгласы. Один из рабочих подошел к Алексею Максимовичу и сказал:

— Товарищ Максим Горький, если бы вы приехали к нам несколько лет назад, то еще увидели бы здесь сорную траву и развалины, а сейчас, смотрите, какой завод стоит!

— Вот какая сила заложена в вас! — убежденно сказал Горький.— В мире много фантазеров, однако никто из них не выдумал такой власти, какова Советская власть,— она делает все для благосостояния трудящегося народа.

Горький пожелал узнать, как живут рабочие. По его просьбе пошли осматривать вновь построенные дома рабочих.

Квартиры внешне были весьма приятно обставлены, но он захотел ознакомиться и с «мелочами» быта — приподнимал одеяла, простыни, «проверял» чистоту и мягкость постелей, качество пружин кроватей... Оставшись весьма довольным, он ласково погладил по розовым щечкам детей. Когда мы собирались уходить, ко мне подошла хозяйка дома и тихо спросила:

— Что, он уж совсем уходит? А я собиралась зарезать курицу...

— У него нет времени,— ответил я,— пусть твоя курочка пока поживет и снесет яйца для детишек...

Построенная на берегу Раздана первая электростанция была нашей гордостью, и потому мы поспешили повезти нашего гостя и туда. У гидростанции к нему подошел Егише Чаренц и подарил русское издание своего романа «Страна Наири» с дружественной надписью. Горький с благодарностью пожал ему руку и пообещал обязательно прочесть книгу.

На живописном берегу Раздана, где сто лет назад потом народа были взращены богатые, плодородные сады сардара [3], большое пространство занимает первый садоводческий совхоз Армении. Здесь правительство Армении дало банкет в честь Горького. Обращаясь к присутствующим, Алексей Максимович сказал:

— Когда я писал о Человеке с большой буквы, в то время я конкретно не представлял, каков он, этот человек. Но сейчас, когда я проехал по вашей стране, увидел, как вы буквально из пепла и руин воздвигли чудесные сооружения, как вы окутали бесплодную пустыню сетью каналов, застроили разрушенные города заводами, фабриками,— теперь я убедился, что описанный мною Человек — это вы, товарищи!

Ни один армянин никогда не забудет этих мудрых, сердечных слов Максима Горького.

Алексей Максимович с большим интересом осмотрел также исторические памятники армянской культуры, ознакомился с достижениями искусства и литературы советского периода, посетив исторический музей, центральную библиотеку, картинную галерею, где он с особенным интересом осмотрел творения Мартироса Сарьяна, познакомился с ним и во время беседы сказал ему, что картины ему очень нравятся и что он его знает уже давно.

Мы решили показать Алексею Максимовичу и наш знаменитый винно-коньячный завод «Арарат». Сначала он побывал в цехах, затем специалисты показали ему хранящиеся в длинных подвалах разные сорта старых вин и коньяков. Конечно, просили Алексея Максимовича отведать их, но он решительно отказался. Тут я вспомнил, как год тому назад я тоже сопровождал в эти подвалы друга и соратника Горького — Анри Барбюса. Он не отказался испробовать наши напитки и даже заметил, что армянское шампанское куда лучше французского. А вот Алексей Максимович почему-то так и не вкусил наших вин, что весьма огорчило рабочих завода.

Но когда мы вышли из «Арарата», к удивлению, заметили, что Алексей Максимович качается, а щеки и нос у него покраснели: видно, на него подействовала «крепкая» атмосфера винных подвалов. Мы вынуждены были под руку провести его до машины, представляя, как в Москве он будет вспоминать, что был на коньячном заводе, не выпил ни глотка и захмелел.

Вечером в саду Коммунаров состоялся митинг. Все аллеи были полны народа. С большим трудом удалось нам проторить дорогу к трибуне для Алексея Максимовича. На каждом шагу окружали его, каждый хотел поближе увидеть, поговорить с ним.

Открывая митинг, Асканаз Мравян обратился к гостю:

— Добро пожаловать, великий певец наших радостей и печалей, товарищ Горький!

В своей ответной речи Алексей Максимович, горячо поблагодарив армянский народ за теплый и радушный прием, сказал:

— Насколько я знаю из литературы и вижу собственными глазами, здесь все делается с помощью народа и только для народа.

После митинга состоялся концерт. Алексею Максимовичу больше всего понравились наши народные танцы, которым он дал после высокую оценку в своем известном очерке, опубликованном в журнале «Наши достижения» [4].

После ужина, в кругу писателей, деятелей искусства Максим Горький беседовал с нами. Говоря о взаимосвязях литератур народов СССР, он счел недостаточным переводы на русский язык из армянской литературы, а также и из других литератур.

Во время беседы один из наших писателей задал ему такой вопрос:

— Алексей Максимович, у кого, по вашему мнению, из современных молодых русских писателей большое будущее?

— У Михаила Шолохова и Александра Фадеева,— не задумываясь, уверенно ответил он.

Эти пророческие слова, как мы знаем, полностью оправдались. ⟨...⟩

К. А. КЕКЕЛИДЗЕ

ВСТРЕЧА В КОДЖОРИ

Был июль 1928 года. Народный комиссариат просвещения Грузинской ССР открыл в Коджори подготовительные курсы учительниц. Я недавно окончила среднюю школу и тоже была приглашена на эти курсы. На чистом воздухе, на лоне живописной природы спокойно текли дни.

Незадолго до этого в Коджори был открыт один из лучших и красивейших в Советском Союзе «детских городков» для сирот.

Находясь в Грузии, Максим Горький заинтересовался этим городком и решил посетить его.

Когда нам сказали, что завтра приедет великий писатель, мы той ночью от волнения не смыкали глаз. А утром, едва рассвело, мы уже были на ногах — еще раз прибрали комнаты, до блеска натерли каждую мелочь, словом, хотели придать всему праздничный вид. Потом собрали огромный букет полевых цветов. Все было готово к встрече.

— Едет! — сказал кто-то взволнованным шепотом.

Все мы замерли. Слышен был ритмичный рокот автомобильного мотора. Наконец на дороге появилась легковая машина. Шофер затормозил в нескольких шагах от нас. Дверца открылась, и вышел чуть согнутый в плечах мужчина. Он смотрел на нас широко раскрытыми голубыми глазами [1].

Мне казалось, что произошло чудо,— перед нами стоял великий Горький. Тот самый мой любимый писатель, которого раньше я знала только по карточкам.

Он был в пепельного цвета пиджаке с галстуком в темных крапинках.

Высокий, чуть сутулый, с привлекательным лицом, длинными усами и непокорными волосами, которые то и дело падали на высокий лоб, он смотрел на нас, и мне казалось, что струившийся из его глаз добрый свет окутывает нас.

Некоторое время мы смущенно молчали. Но потом все разом зашумели: захлестнувшая нас радость не вынесла тишины...

Мы забыли наставления директора курсов Маро Ломинадзе встретить гостя организованно, выстроившись в два ряда. И шумно окружили его, осыпая букетами. Горький стоял под этим дождем цветов и с улыбкой благодарил за столь теплую встречу.

Затем он долго беседовал с нами. Спросил каждого из нас о работе, желаниях и под конец сказал с удивительной силой убеждения:

— Воспитание детей — на редкость почетное дело. Большая ответственность ложится на вас, девушки! Вы должны воспитать поколение, которое построит коммунизм. Вот ваша задача!

Эти слова великого учителя навечно запечатлелись в наших сердцах.

Горький осмотрел детский городок. Он долго говорил с сиротами...

— Дети,— как-то особенно ласково обратился он к ним,— в старое время, когда господствовали царь и богачи, вы не смогли бы стать полезными стране людьми. Вы погибли бы так же, как погибали тысячи и миллионы сирот. Ленин и партия открыли вам дорогу к светлой жизни, учебе и счастью. Вы живете в замечательное время. У нас хозяевами государства являются рабочие и крестьяне. Враги рабочего класса — ваши враги. Коварный враг не спит, вы должны вооружиться знаниями и умением защищать родину. Помните, что наша страна строится, растет. Вы должны накапливать знания, учиться серьезно и добросовестно. Любите книгу — этот величайший источник знаний... А знания сделают вас духовно богатыми, честными и мыслящими людьми. Ленин и Советская власть дали вам радостную жизнь. Наша молодежь счастлива тем, что у нее есть широкие возможности свободно развивать полезные народу навыки, способности, все таланты и знать настоя-

щую, истинную правду. Так будем учиться, развиваться, расти.

Наступил час обеда. Мы накрыли грузинский стол под ореховым деревом. Во время обеда Горький молчал, кушал очень мало. Он смотрел на нас с улыбкой, и мне вновь показалось, что струившийся из его глаз добрый свет окутывает нас.

Горький время от времени подносил стакан с вином к губам, отпивал глоток и вновь ставил на стол.

— У меня к вам одна просьба,— вдруг сказал он,— спойте грузинскую песню...

Подружки посмотрели на меня и Кето Георгадзе. Горький перехватил их взгляд и ласково обратился ко мне:

— Начните вы, блондиночка, а остальные последуют вашему примеру.

— А что спеть? — спросила я нерешительно.

Горький разгладил морщины на лбу, отбросил непокорные волосы, поднял голову и сказал:

— Спойте «Мравалжамиер», давно не слышал я этой песни.

Мы робко начали застольную, украдкой поглядывая на Алексея Максимовича. Лицо его светилось добрым светом. Мы осмелели и запели еще лучше. Когда мы закончили, Горький в знак одобрения улыбнулся и кивнул головой.

— Споем «Цицинателу»,— еще более осмелела Кето.

Я охотно согласилась. Мы исполнили песню на слова Акакия Церетели, затем несколько народных песен и под конец «Я сын крестьянина»...

В глазах гостя блестели слезы. Он встал и, будто разглядывая вытканную цветами поляну, вытер слезы.

Мы, делая вид, что не замечаем его слез, продолжали петь. А когда кончили, Алексей Максимович сказал:

— Люблю Грузию... грузинские песни, не могу слушать их равнодушно... Эти песни напоминают мне о днях юности, проведенных в Грузии. Это было лет сорок назад.

Много воды утекло с тех пор, но время бессильно изгладить из моей памяти впечатления того дня.

Сижу в своей комнате, передо мной раскрытый том Горького. Читаю: «В Коджорах, на дачах тифлисских богачей — лагеря пионеров, дома отдыха, детские дома. Детей там, вероятно, более тысячи. Коджори цвели и

сверкали знаменами, медью оркестров. Там был, кажется, съезд учительниц, и часа три мы слушали великолепное исполнение ими народных песен Грузии. Особенно мастерски пели две девицы, одна — блондинка с огромными веселыми глазами и прекрасным, неистощимым голосом, человек исключительно талантливый, так же, как ее подруга, тоже искусная и неутомимая певица. Трогательно было задушевное гостеприимство учительниц, их простота и милая их гордость волнующей красотою песен своего народа. Группа девушек и детей в саду, на пригорке, под ветвями старых деревьев, в сети солнечных лент напомнили мне лирическую красоту персидских миниатюр» [2].

М. О. ПОЛОНСКИЙ

НИЖЕГОРОДЦЫ ВСТРЕЧАЮТ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА

⟨...⟩ 7 августа 1928 года.

С утра берег у служебного дебаркадера и прилегающая часть Набережной были заполнены тысячами людей, пришедших встретить славного нижегородца, возвращавшегося после многолетней разлуки в родной город [1].

Толпами стояли волгари-грузчики, поджидавшие старого товарища по труду. Собрались нижегородские старожилы, чтобы первыми встретить почетного гражданина города. Пришла молодежь, чтобы впервые увидеть всемирно известного писателя Максима Горького.

Десять часов утра. Пароход «Плес» плавно пришвартовывается к причалу.

Секретарь Нижегородского губкома партии Андрей Александрович Жданов, заведующий отделом агитации и пропаганды губкома Александр Сергеевич Щербаков и другие спускаются по трапу в кают-компанию, где команда парохода прощалась со своим замечательным пассажиром.

Вот и он! Высокий, худощавый, с сутулиной. Взволнованно теребит колючий ус. Серый макинтош наспех накинут на одно плечо. Сдвинутая на затылок белая кепка открывает густой серебристый ежик. Мягкий, ласковый бас. Классическое нижегородское оканье.

— Здравствуйте товарищи! О-очень рад... Соскучился по Нижнему, давно и тяжко скучаю. Очень волнуюсь... А вот это,— Горький укоризненно показал на многотысячную толпу встречающих,— это вы зря, ей-богу, зря! Сколько людей от дела оторвали, не знаю чего ради.

— Поверьте, Алексей Максимович,— «оправдывается» тов. Жданов,— мы тут ни при чем. Никто их не отрывал, сами пришли. Любят вас, потому и пришли.

А. С. Щербаков спрашивает у Горького, сколько дней он намерен провести в Нижнем, что он хочет посмотреть.

— Все хочу видеть! Беда вот, времени маловато. Совсем мало. Дня два, от силы — три. В Москве много дела накопилось. Вот в Казани задержался. И из Нижнего,— улыбаясь, обреченно махнул рукой,— видать, не скоро выберешься... [2]

На берегу, как только Алексей Максимович вступил на верхнюю ступеньку лестницы, он попал в объятия старого грузчика. Приземистый, широченный в плечах, с непокрытой копной седых волос, он самозабвенно тряс руку писателя и любовно гладил его по плечу.

— Алексей, помнишь бугровские пристаня? Помнишь, Олеша?..

Взволнованный широким прибоем любви и восторга, Горький всматривался в лица окружавших его людей, точно искал знакомые черты, стертые десятилетиями.

— Помню, помню... Здравствуйте...

Щадя скромность писателя, тов. Щербаков очень коротко, в нескольких словах приветствовал от имени нижегородцев желанного гостя. Да и что мог оратор добавить к ярко выраженному чувству любви и уважения, которые светились в тысячах глаз.

Под радостные возгласы собравшихся Алексей Максимович поднялся на автомашину.

— Спасибо, товарищи! Спасибо, земляки. Балуете вы меня, балуете... Что ж, ладно, постараюсь уплатить по этому векселю... Я еще не очень стар, я еще работоспособен, поработаем, поживем вместе... Трудно мне сейчас говорить, волнуюсь... Спасибо вам!.. ⟨...⟩

Вечером 7 августа Алексей Максимович выступал на торжественном заседании горсовета, состоявшемся в честь дорогого гостя в помещении драмтеатра. Начал с извинения:

— Я оратор плохой, политических речей говорить не умею. Я вам лучше расскажу. Ведь я по профессии рассказчик...

В манере Горького выступать перед аудиторией действительно мало было обычных ораторских приемов.

Начать хотя бы с того, что он так и не воспользовался трибуной, а на протяжении целого часа вышагивал по сцене вдоль стола президиума.

В речи Алексея Максимовича не было общих мест и гладких фраз, которые проскальзывают мимо внимания слушателя, не задевая его, не вызывая никаких мыслей и эмоций. Каждое слово Горького казалось совершенно необходимым, оно занимало свое особое, именно ему предназначенное место в предложении. Алексей Максимович в совершенстве владел умением дополнить, пояснить какую-нибудь мысль красноречивой паузой, характерным жестом, гибкой интонацией.

Часовая речь действительно была художественным, политически насыщенным рассказом об отравляющей лжи капиталистической прессы, об упадке духовной жизни буржуазии, о чудесах, творимых в Стране Советов пришедшим к власти рабочим классом, о могуществе раскрепощенного человека.

— Поездил я по Союзу Советов, кое-что повидал. И говорю: есть в стране хозяин! Хороший хозяин! Я уже не назову его пролетариат. Это не пролетариат, потому что в его руках фабрики и заводы, в его руках политическая власть. Это рабочий класс, огромная творческая сила, направленная по прямой к определенной, ясно поставленной цели.

Алексей Максимович рассказывал много интересного об усиливающейся за рубежом классовой борьбе, о признаках кризиса капиталистической экономики, о международном значении успехов рабочего класса СССР, о вдохновляющем его примере для мирового пролетариата.

— Рабочий класс, который пришел к власти в Союзе Советов, стоит впереди трудящихся всего мира. Он в своей могущественной силе должен стоять очень прямо, он должен себя показать во всей мощи, во всем бесстрашии.

Бесстрашие рабочего класса СССР Горький иллюстрировал рассказом о Днепрострое и Баку, где он побывал незадолго до приезда в Н. Новгород.

— Поднять Днепр чуть ли не на 52 метра над его уровнем... И это делает народ, у которого нет денег, которому денег не дают и не дадут, потому что ждут, чтобы он пришел и поклонился [3]. Но он не придет и не поклонится, это — дудки!

Это простецкое слово было произнесено с такой экспрессией, с таким уничтожающим вызовом тем, кто ждет от нас поклонов, что зрительный зал буквально дрогнул от зычных всплесков двух тысяч рук.

— В Баку раньше было двести тридцать восемь собственников. А теперь всем сложным делом нефтедобычи руководят только два рабочих человека. И они сделали столько, что ни одному из собственников и не снилось. И все это за шесть лет! Черт знает, как им это удалось — и не поймешь!

В конце своей речи Алексей Максимович «пожурил» одного из ораторов за то, что тот в своем выступлении много говорил о недостатках в работе нижегородцев.

— Недостатки, конечно, замалчивать не следует. Это верно. Я знаю, что вы на своих собраниях, в своей прессе делаете это очень охотно. Но гораздо важнее говорить о том, как вы создаете новый мир. Вы поете: «Мы наш, мы новый мир построим». Новый мир вами уже строится, хорошо строится. И это поможет вам легче освобождаться от старых навыков, от старого мира, поможет шире взглянуть на ваш великий, умный, исторический труд. ‹...›

На торжественном заседании горсовета Горький получил десятки приглашений, настойчивых, безотказных, на предприятия, в учебные заведения, в научные лаборатории. Он шутливо просил пощады, подсчитывал, что все эти приглашения задержат его в Нижнем дней на 30—40.

— Ну, Сормово. Это не в счет. В Сормово приеду. Завтра же приеду. Сормово — это же... Сормово. И в Кунавине буду. Всенепременно. Как же, я ведь сам тамошний, кунавинский житель.

Алексей Максимович сам наметил себе маршрут на 8 августа. За день он решил побывать у сормовичей, на заводах «Двигатель революции» и «Красная Этна», на кунавинском хлебозаводе и фабрике-кухне, на стройке Дворца культуры и на ярмарочной выставке Госторга.

Эта напряженная программа зависела не только и не столько от большого числа приглашений, сколько от неугомонной жадности писателя, от стремления как можно больше увидеть, как можно пристальней пригля-

деться к великим переменам в делах и людях его родного города.

На хлебозаводе Алексей Максимович долго стоял у тестомешалки и с увлечением смотрел, как механические руки-лопасти переворачивают многопудовое пшеничное месиво. Потом зашел в душевые кабины, даже кран повернул — проверить, действует ли душ.

— Да-а, ловко теперь у вас. Нам когда-то труднее было хлебы печь.

Молоденькая работница, трогательно маленькая рядом с фигурой писателя, спрашивает его под одобрительный смех подружек:

— Где вам больше понравилось, товарищ Горький, у нас или в Казани у Семенова?[4]

Алексей Максимович, положив обе руки на плечи девушки, отвечает:

— Если бы у Семенова в Казани было так, как здесь, я бы, пожалуй, на всю жизнь остался пекарем...

На «Двигателе революции» первым держал речь рабочий — т. Зиновьев. Он говорил о неисчерпаемой энергии рабочего класса, партии, комсомола, которые осуществляют и осуществят светлые мечты Павла Власова.

— Вот поглядите, Алексей Максимович, как мы работаем, каких мы себе стальных рабов, какие двигатели делаем! Конечно, Европа пока что лучше нас работает, но мы ее догоним и перегоним. А вы, Алексей Максимович, помогайте нам своим художественным словом, которое добавит нам бодрости и будет двигать на переустройство всей нашей жизни.

Горький поднялся на трибуну. Он оглядел окружившее его множество людей, таких же убежденных в своей правоте и силе, как этот оратор. Поднял было руку, чтобы утихомирить аплодисменты, затем опустил ее в карман, вынул платок и вытер набежавшие слезы. Он долго не начинал свою речь. Мешало волнение, мешал взрыв восторженных сотен людей, оценивших лучше всякой речи душевное состояние писателя.

— Замечательные вы люди! Черт его знает, какие замечательные! То, что вы делаете, то, что вы уже сделали,— это так грандиозно, что у вас самих нет представления об этом. Вы сами не замечаете, не знаете своих заслуг перед пролетариатом всего мира. В нашей стране родились богатое сердце и богатый разум, которые влияют на

весь мир. Запомните: больше гордости собой! Крепче чувствуйте свою силу!

Участники митинга единодушно приняли резолюцию. Она состояла из двух коротеньких пунктов:

«Поблагодарить Алексея Максимовича за приезд на наш завод и пожелать ему здравствовать много, много лет».

«Просить Алексея Максимовича, если позволит ему здоровье, приехать жить к нам в Россию навсегда».

Возвращаясь с «Двигателя революции», заехали на достраивавшийся тогда в Кунавине Дворец культуры. Горький легко взбирался на этаж по узким настилам, заменявшим еще некоторые лестницы, ходил с прорабом по лабиринту коридоров и внимательно слушал рассказ о будущих гостиных, комнатах отдыха и театральных фойе.

— Хорошо! Хорошее дело! Рабочему государству — рабочие дворцы. Умно и правильно.

В Сормове Алексей Максимович осмотрел паровозный, котельный и дизельный цехи. Поглощенный виденным, он молчаливо переходил от стана к стану, от агрегата к агрегату, изредка обмениваясь с рабочими короткими фразами.

Уставший от трудного дня, от множества впечатлений, от железного грохота цехов (а может быть, от воспоминаний четвертьвековой давности, когда создавался роман «Мать»), Горький отдыхал, облокотившись на перила балкона заводоуправления. Этот же балкон служил трибуной состоявшегося позднее митинга.

Рассказав о международном политическом значении успехов рабочего класса Страны Советов, поделившись впечатлениями, накопленными в поездке по Союзу, Алексей Максимович пожелал сормовичам плодотворной работы и новых трудовых побед.

— Перед вами теперь прямой путь к твердой цели. Не сворачивайте с него!.. Помните, вам надо культурно расти, развиваться, вам надо создавать рабочую высококвалифицированную интеллигенцию. Я уверен в вашей победе, товарищи! ⟨...⟩

В ясное, солнечное утро 9 августа пароход «Клара Цеткин» отчалил от пристани, взяв курс на Балахну.

Немногие часы этой поездки на всю жизнь сохранятся

в памяти ее участников. На верхней палубе в плетеных креслах сидели несколько человек и зачарованно слушали Алексея Максимовича. Трепетная красота этого утра на облитой солнцем Волге настроила его на лирический лад. Он рассказывал изумительные истории из своей изумительной жизни — о встречах с друзьями после многолетней разлуки, о том, что судьба делала с людьми и как люди распоряжались своей судьбой.

Было в рассказах Горького и знакомое по его произведениям, но обогащенное новыми красками, новыми подробностями, оно представало как впервые услышанное, как вновь узнанное. Мы испытывали невыразимую радость от общения с этим умнейшим человеком, величайшим художником, искуснейшим рассказчиком.

Масштабы и сложность Бумстроя [5] поразили Горького. Он шумно восхищался титанической работой мощных подъемников, транспортеров, размерами машин в бумажном зале — с двухэтажный дом высотой и длиной в 110 метров. Речь его была взволнованна, он то и дело прибегал к сильным выражениям:

— Черт его знает, как это вам, нищим, отсталым, удается строить такие махины! Поразительно, черт возьми!

Когда Алексей Максимович собрался уезжать на Нижгрэс [6] и директор Бумстроя начал благодарить его за посещение, писатель весьма энергично прервал благодарственную речь:

— Чудной вы народ! Это я вас благодарить должен за то, что получил возможность видеть такое замечательное сооружение. Спасибо вам, товарищи! Очень многое мне у вас понравилось. Весной обязательно еще побываю у вас. ⟨...⟩

С удивительной энергией Горький приступает к осмотру станции. Этот 60-летний человек уже много часов провел сегодня на ногах, исходил целые километры по корпусам и цехам, обливался потом в машинных отделениях и котельных. Но по-прежнему неутомим он в своей любознательности, по-прежнему безудержно в нем желание как можно больше видеть, знать, запечатлеть то новое, грандиозное, что происходит вокруг него.

— Я знаю, что такое труд,— сказал Алексей Максимович, прощаясь с энергетиками.— Это источник всех радостей, всего лучшего в мире. Никогда во всей истории человечества, никогда человеческие ум и воля не взлетали так высоко, как теперь у нас, в Стране Советов. Будем

верить, что рука, сделавшая все то, что я видел, будет и дальше творить и строить. А если кто-нибудь попытается остановить эту руку, она сожмется в кулак, который раздробит все, что будет стоять на его пути.

10 августа Алексей Максимович провел несколько часов в Нижегородской радиолаборатории, затем встретился с коллективом редакции «Нижегородской коммуны» и членами литературной группы города.

Вечером того же дня нижегородцы провожали своего дорогого гостя, уезжавшего в Москву. В ответ на прощальные приветствия Горький сказал провожающим:

— Я нашел ваш город после двадцатилетнего отсутствия еще более хорошим, чем он был раньше, а людей еще более милыми, а главное — молодыми. До свиданья, земляки мои! Спасибо за вашу любовь!

Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА

ЧЕЛОВЕК

⟨...⟩ В 1928 году я сидела перед ним за столом в квартире Екатерины Павловны Пешковой в Москве. Алексей Максимович тогда приехал из Италии на ограниченное время. Меня к себе вызвал он, чтобы расспросить о сибирских литературных делах. В тот год некоторые члены ВАПП [1], работающие в Сибири, затеяли склоку в литературе и в быту. Из-за литераторских раздоров стал бледнеть и гаснуть хороший областной журнал «Сибирские огни».

Я начала свою писательскую жизнь в этом журнале [2], хорошо знала характер и обстановку работы редакции, поэтому М. Горький захотел поговорить со мной. Но почти обо всем и обо всех писатель знал больше, чем я могла ему сообщить. Горький обладал изумительной памятью. Даже маленький сам по себе факт им не забывался. Когда было нужно, писатель, точно из копилки, доставал в полной сохранности, без ущерба, необходимую подробность характера человека или события. Расспрашивая меня, он иногда, приподняв брови, рассматривал внимательно свои руки. Будто читал на них трудный опыт всей своей жизни. И еще казалось, что в это мгновенье он слушает себя, тайную работу собственной души. Тусклая седина уже скрыла рыжий цвет его волос. Лицо постарело. В тот день было особенно утомленным и серым. На меня смотрели уже не синие, а голубовато-серые усталые глаза. Но вот он оживился, взглянул веселым взглядом, и в глазах, как одиннадцать лет назад, точно зажегся изнутри синий фонарик. Молодые, яркие, детски доверчивые глаза. Закончив расспросы о Сибири, Горький сказал:

— Теперь поговорим о вас, многоуважаемая. Наша критика усиленно вас вверх тянет.

В тот период моей работы у меня, как у каждого писателя, была счастливая полоса. Мне сопутствовал довольно шумный успех.

— Перехваливают вас, или вы находите... только должное вам воздают?

Я смутилась.

— Алексей Максимович, похвалы окрыляют.

— Как же вы сами оценивает ваш полет? Орлиный, да?

Я молча пожала плечами. Он тоже помолчал некоторое время и усмехнулся.

— Мне понравилось дельное замечание одного критика. Он так выразился о вас: рано приклеивать Сейфуллиной бороду Толстого. Так вот, сударыня, не торопитесь с бородой. Литератору никогда не следует горячиться и самообольщаться. Усвойте себе это жизненное правило. Поверьте, лучше и легче работать будете.

Горький любил русскую литературу кровной, ответственной любовью. Он жаждал появления большого писателя, пристально приглядывался ко всякому дарованию, всегда был готов помочь, но не терпел самомнения, ранней литераторской заносчивости. Позднее он резче, прямей и настойчивей бранил меня. Сам убедительно просил написать рассказ для журнала «Колхозник», а получив, беспощадно исчеркал и вернул даже без всякого отзыва. Зато как я была счастлива, когда он хвалил. Дороже всех похвал было мне его поздравление с рассказом «Таня» [3].

В тот день, о котором пишу, он быстро смягчился. Очевидно, увидел, как сильно подействовала на меня его «острастка». Алексей Максимович был чрезвычайно добр и чуток.

— Ну, ну,— сказал он,— не сердитесь, что поучаю. Такая уж у меня привычка. Любя, учу. Вы можете, потенциально вы можете. Но... по совести, особенно хвалить еще не за что. Работать, упорно работать надо. Расскажите-ка про себя вообще. Как живете? Кто бывает в вашем литературном салоне? У вас, я слыхал, даже фокусники бывают. Хорошие фокусы я люблю. Только не совращайте фокусников в литературу.

— Как, а Всеволод Иванов, говорят, был раньше фокусником.

Горький улыбнулся широко и светло.

— Так он фокусник был плохой, а писатель... не скажу! Перехваливать не хочу. Человек он... занятный.

Алексей Максимович очень любил Вс. Иванова. Кажется, он один не знал никогда горьковской внезапной, хотя бы и кратковременной, опалы. Рассказав о себе, я стала расспрашивать Алексея Максимовича о нем самом, об его самочувствии, о здоровье.

Он прищурился, почесал пальцем лоб и ответил:

— Чего же, хорошо. Все хорошо! Здоров, и сыт, и нос в табаке. Почетным везде выбирают. Вот вчера я был у душевнобольных. Боюсь, что на днях меня объявят почетным сумасшедшим.

Под живым впечатлением этого свидания послала я Горькому восторженное письмо. Он ответил чисто деловым, суховатым. И оно начиналось фразой:

«Я — не архиерей, а вы — не псаломщик» [4]. ⟨...⟩

С момента утверждения писательской славы Горького — исключительно громкой славы — его любили или ненавидели. Равнодушного отношения к нему не было. Множество людей терзало его своей требовательной любовью или неустанной враждой. Это понятно. Сложный характер писателя выдвигал острые углы в личном выявлении его собственной любви или ненависти. Природная душевная мягкость сочеталась в нем с жестокостью борца за политическую идею. Активная жалость к людям требовала беспощадного их изобличения. И разные люди по-разному воспринимали писателя и человека. Постоянно ранимый за каждое свое утверждение, он жил чуткой, настороженной жизнью. Отношение к себе людей в быту он больше чуял, чем знал. И чувствовал безошибочно. Стоило от него отдалиться на градус, он охладевал на три. Отсюда его неровность в обращении с окружающими, даже с друзьями. Оттого иногда в шумном окружении он казался страшно одиноким.

Помню, мы приехали с писательского съезда в большом количестве автомобилей, много народу [5]. До восьми вечера шло заседание на открытой террасе загородного дома, где жил Алексей Максимович со своей семьей. Горький поставил вопрос о необходимости реализовать внимание к национальным литературам, вообще к искусству каждой национальной республики, входящей в

СССР. Постановлено было издавать журнал с переводами лучших произведений на русский язык [6], организовать показ национальных драматических, оперных, балетных трупп в Москве и т. п. ⟨...⟩

Когда мы прощались в этот вечер, мне хотелось сказать ему, как много значит то, что он есть среди нас. Но ведь не найдешь убедительных слов большой человеческой любви в обращенье к живому, чтоб они не звучали как лесть, как жалость, как приторная чувствительность. Особенно если человек стоит выше тебя, хотя бы просто формально. А ведь Горький стоял высоко не только формально. Алексей Максимович почувствовал мою благодарную преданность во взгляде и в словах обычного при прощании доброго пожелания. Он ответил очень ласково:

— До свидания, многоуважаемая татарка с глазами, как шарикоподшипники.

Это обращенье ко мне он повторил в письме из Тессели в Крыму [7]. Последнее письмо, полученное мной от Максима Горького. В нем же написал он самую большую похвалу, назвал меня «человечица, влюбленная в литературу». Я сообщаю эти дорогие для меня случаи личного внимания ко мне писателя не для того, чтобы похвалиться. Алексей Максимович был очень внимателен к людям. Я — одна из многих, которых дружеская ласка писателя в личном общении поддерживала в тяжелый час недоуменья перед жизнью. И в моих воспоминаниях я о ней умолчать не могу...

Влияние таких великих друзей Максима Горького, как Ленин, сказалось в требованиях писателя к себе и к другим литераторам.

Горький не терпел отрыва писателя от коллектива. Он хотел, чтобы мы знали, в жизни видели человека нашей эпохи. Хотел, чтобы мы знали прошлое людей, положивших основу социалистического труда. Поэтому им создавались коллективные писательские работы по истории заводов, городов, воспитательных учреждений [8]. Когда план работ и собранные сведения представлялись ему на суд, то он не допускал малейшей неточности. Исключительно трудоспособный сам, не терпел он лени, разгильдяйства, неглубокой, казовой работы. Он уважал и нежно относился к профессору, теперь академику, А. Д. Сперанскому не только за его талантливость, но и работоспособность. Горький говорил мне:

— Поучились бы вы, сударыня, работать у Сперан-

ского. Дома не удается писать, так он сгребет все свои научные записи в скатерть, завяжет узлом и несет в институт. Пишет, где только можно, в любой час, который урвет от общей работы для своей книги. Мне чудеса о нем рассказывали. Литераторы так работать не умеют.

Сам он умел. Близким его приходилось буквально отрывать Алексея Максимовича от работы или чтения захватившей его книги. Он обманывал бдительность оберегавших его силы и покой людей. Долго читал по ночам, когда думали, что он уже спит. Однажды, во время завтрака, он объявил присутствовавшим:

— А я всю ночь не спал, зачитался. Хорошая книжка — «Жизнь Имеретдина Старшего» [9]. Очень интересная. ⟨...⟩

Кто-то из близких упрекнул Алексея Максимовича за бессонную ночь. Он лукаво сморщился, комично широко развел руками, сказал:

— Проговорился! Следить строже станут, черти драповые.

Чрезвычайно впечатлительный, Алексей Максимович нередко плакал от музыки, песни, стихотворения, картины, от иного отдельного выражения в рассказе. Слез своих не любил, всегда в них оправдывался, как виноватый. Эта чувствительность не мешала ему быть жестоким, когда он считал неправильным поведение человека или даже отдельное выступление. На одной из встреч литераторов с членами правительства и политбюро у Горького в доме Алексей Максимович беспощадно расправился со мной за выступление, которое не понравилось ему. В своей речи он заявил:

— Смелое выступление. Но это не от ума, а от других качеств!

А он знал, какой резонанс имеет любая его оценка. Я стояла в сторонке, побледневшая, с трясущимися губами, когда Горький в перерыве заседания прошел мимо меня. Он взглянул поверх моей головы и прошел строгий, недоступный ни для каких объяснений.

Алексей Максимович часто и многим заявлял, что считает себя плохим драматургом. Я этому заявлению не верила. Уж очень он близко к сердцу принимал отрицательное отношение именно к драматургическим своим произведениям. Выслушивая мнение о них, он вступал в пререкания, оправдывался, сердился.

Расспрашивая меня о пьесе «Егор Булычов и другие»,

он задавал множество вопросов. По моему скромному пониманию, эта пьеса глубока по содержанию и доходчива до зрителя. Я смотрела ее много раз с неослабным увлечением. После премьеры я сказала Алексею Максимовичу, что появление духовенства в финале вызывает досадное впечатление вульгарной дешевки, странной у такого автора. Алексей Максимович разгорячился, стал пожимать плечами, разводить руками, восклицать, кашлять.

— Как же вы не видите, что это не мое, не мое! Пристегнуто, театром пристегнуто[10]. Ведь это ясно по всему тону пьесы. Чутья у вас нет, даете оценку с кондачка. Вот посмотрите мой текст, вот — где здесь попы?

Он не успокоился, пока я не прочитала авторскую концовку пьесы. А что ему, прославленному и знающему свои силы, моя оценка! Он любил драматургию ревнивой любовью и дрожал «над каждой соринкою» в оценке личного вклада в нее.〈...〉

Умер сын Алексея Максимовича [11]. Зарывали его в могилу, когда еще не промерзла, но студеная и жесткая стала земля. Скрипели веревки, на которых опускали гроб в глухое лоно. Когда надо было бросить первую горсть земли, появился у могилы Горький. Ему подали лопаточку. Я не видела, как он сбросил скорбную дань на последнюю кровлю любимого существа. Но я увидела сзади, как затряслись широкие плечи, дрогнула сутулая спина высокого человека. Его подхватили под руки, повели к выходу с кладбища.

Жизнь требует доверия, не допускающего страхов за будущее. Еще решительней не допускает она бесполезного сетования на прошлое. Но как же не сетовать? Скорбь свою об утрате сына Алексей Максимович изживал в тесном кругу своих кровных родных и очень близких друзей: нам он ее не показывал. После похорон показался в нашей среде по-прежнему трудолюбивый, действенно мечтающий о будущих радостях жизни, горячий в любви и ненависти, неуступчивый в борьбе с политическим упадочничеством. Но чаще, чем прежде, охватывала писателя физическая жизненная усталость, он то и дело прихварывал.

Как-то приехали писатели к Алексею Максимовичу в Горки на свидание с Роменом Ролланом[12]. В хороший летний день, а может быть, в самом начале погожей осени это происходило, не помню. Роллан был одет в теплую длин-

ную накидку с воротником светло-шоколадного цвета, похожую на старинную женскую тальму, и под ней он часто ежился, зябко и жалобно. Говорил он тихим голосом. Для личной беседы с ним литераторы подходили поодиночке, по вызову его жены. Худое, бескровное лицо Роллана светилось восковым отливом. Рядом с ним Алексей Максимович казался здоровым, чуть пожилым, никак не стариком.

Я курила в коридоре, полуприкрытая половинкой двери. Алексей Максимович тоже вышел из комнаты покурить и встал рядом со мной. Он стал сердито разговаривать со мной о том, что я мало пишу.

— Не работаете, Сейфуллина, это стыдно! Неужели вам не завидно, что другой литератор нарисует образ советской женщины?

Неожиданно для себя самой у меня вдруг брызнули слезы. Горький растерялся. Он всегда терялся перед чужими слезами.

— Ну, что это вы? Как это можно! Спрячьтесь за дверь, я вас загорожу. О чем плакать? Я вот и то не плачу, а как меня тряхнуло.

Слезы у меня высохли быстро. Была это какая-то досадно случайная бабья слабость.

Я спросила:

— Как вас тряхнуло? Что случилось?

— Грипп. Думал, не выкарабкаюсь. Все труднее становится сопротивляться, а хуже смерти ничего нет, татарка! Запомните это. Гнусное дело, я его не хочу.

— Ну, что вы, Алексей Максимович, что вам о смерти разговаривать? По виду вы Ромену Роллану в сыновья годитесь.

— Правда? — доверчиво спросил он и улыбнулся широко и довольно. Потом добавил серьезно и убежденно: — В сыновья не в сыновья, а крепче его. Отдышался и сейчас здоров. Умирать унизительно! А в наше время не стоит, прямо не стоит.

Это в последний раз я видела его живого, лицом к лицу. 18 июня 1936 года Горького не стало. Тяжко было стоять в почетном карауле у гроба Человека.

Н. СЁМУ

БЕСЕДА С М. ГОРЬКИМ

Воскресенье, 16 сентября 1928 г. С утра пасмурно, временами моросит мелкий осенний дождь.

Еще вчера мы условились, что сегодня в три часа дня пойдем к Горькому. Мне говорили, что Горький по возвращении из Ленинграда заболел и потому никого не принимает. Я уговорил Исида Кёдзи [1], лично знакомого с Горьким, созвониться с Алексеем Максимовичем и справиться у него, сможет ли он принять нас и если сможет, то когда. Горький ответил, что мы можем приехать к нему хоть сию минуту. Мы просили отложить встречу до следующего дня...

Я пошел в Гранд-отель сразу после театра [2]. Исида меня уже ждал. Трамваем мы добрались до Машкова переулка и вскоре подошли к большому зданию, где жил Горький.

Нас встретил секретарь, мужчина средних лет. Следом за ним вышел Горький, такой знакомый нам по фотографиям.

— Очень приятно,— сказал он и крепко пожал мою руку, затем, обняв за плечи, повел в небольшую, очень простую и слишком скромную для всемирно известного писателя комнату, которая служила ему и спальней и кабинетом.

Мы сидели за столом у окна. На Горьком был простой серый пиджак, скрадывающий худобу его широких плеч. Из-под тюбетейки виднелись коротко подстриженные волосы. Его можно было принять за татарина или кавказца,

Через толстые стекла очков тепло и приветливо смотрели светлые голубые глаза. Усы у него были висячие, как у крестьянина. Глубокие морщины на лбу говорили о тяжелых годах скитаний. И ранние портреты, где Горького изображали слишком пролетаризированно, и современные, идеализировавшие его внешность, неточно передавали облик писателя. Из-за долголетнего недуга лицо выражало усталость. Но он был бодр и не напоминал больного, хотя и тяжело кашлял. Голос у него оказался очень низким, и невозможно было представить себе, что когда-то он обладал превосходным тенором. ⟨...⟩ В его тихой, неторопливой беседе было много тепла. Я сразу почувствовал себя легко с ним и разговаривал без всякого стеснения.

⟨...⟩ Я начал со спектакля «На дне», который только что видел в театре. Эту пьесу я перевел на японский еще двадцать лет назад [3].

— Я уже десять лет,— заметил Горький,— не видел ее на сцене. Наверное, плохо ставят...

Мне показалось, что Горький неохотно говорит об этом.

На письменном столе я заметил груду пожелтевших бумаг и подумал, что это рукопись его последнего романа «Сорок лет» [4].

— Нет, сейчас я не работаю над романом,— сказал Горький.— Рукописи и письма присылает мне рабочая молодежь со всех концов страны. Стараюсь читать все и отвечать на все вопросы о литературе и художественном мастерстве. Мой долг — помогать нашему растущему поколению. В Италии я тоже получал каждый день по десятку таких писем.

⟨...⟩ Действительно, Горький, несмотря на всю свою занятость, в течение долгих лет переписывался с молодыми литераторами, и не было случая, чтобы он кому-либо из них не ответил. Он верил, что эти рабкоры и селькоры со временем станут хорошими журналистами и писателями. Он был убежден в победе пролетарского искусства, в победе новой литературы, судьба которой его очень заботила. Эта убежденность была основана на широких наблюдениях.

Горький показал мне рукописи с многочисленными пометками на полях, сделанными его неровным почерком, и сказал:

— Когда я возвращаю рукопись, то непременно пишу ее автору письмо. Молодые рабкоры и селькоры просят меня ознакомиться с их произведениями и дать отзыв на них. Быть может, рукописи эти никогда не увидят свет, но в них живет человеческая душа, звучат голоса народных масс, из них мы узнаем, о чем думает советская молодежь. Я убежден, что в недалеком будущем пролетариат создаст свое собственное искусство. В Ленинграде я был очевидцем того, как триста молодых рабочих каждый день после четырех часов дня слушали в Эрмитаже лекции об искусстве. Вот какого уровня достигла наша культурная работа, и вот ее плоды! Меня это очень радует.

Казалось, будто он уже видит среди этих рабочих-слушателей великих художников будущего.

Речь зашла о литературе и искусстве Японии. Горький говорил о специфических особенностях японского классического искусства, о его превосходстве над европейским и о влиянии на современное искусство Запада. Особенно горячо отзывался он о картинах художников школы «Укиёэ»[5] — Харунобу, Хокусаи, Утамаро. В ленинградской коллекции, сказал он, хранится около двухсот произведений японского искусства.

⟨...⟩ Я знал, что Горький давно восхищается японским искусством и хочет побывать в Японии, а в Москве еще раз убедился, что он не просто любит японское классическое искусство, но и серьезно изучает его. Мне было досадно, что я не взял для него некоторые образцы. ⟨...⟩ Я обещал Горькому, что пришлю ему собрание «Укиёэ», как только приеду в Японию.

Современное искусство Японии не вызвало у Горького большого интереса.

— В Милане я как-то побывал на выставке одного японского художника, жившего во Франции, но,— сказал Горький,— ничего интересного не увидел. Лишь две резьбы по дереву как подлинные произведения японского искусства произвели на меня глубокое впечатление.

Горький осуждал современное японское искусство за его подражание европейскому.

— Не понимаю, почему японцы подражают европейской цивилизации и пренебрегают своей превосходной культурой. Японцам нет необходимости учиться у евро-

пейцев. Нужно уметь ценить свою культуру и ее своеобразие.

Интерес Горького к Японии не ограничивался искусством. Вспомнили «Путевые записки о Японии» Пильняка [6].

— «Путевые записки» Пильняка очень поверхностные, в них нет глубоких наблюдений. «Путевые заметки по Италии» Асеева [7] гораздо богаче. В России еще недостаточно изучают Японию и подчас знакомятся с ней по западным источникам в переводах. У русских должен быть на все собственный взгляд. Нельзя смотреть на Японию, как Пильняк. Необходимо заглянуть в сущность японского духа и культуры. Лично я уже давно мечтаю побывать в Японии.

Я воспользовался случаем и пригласил Горького в нашу страну.

— Японцы давно ждут вашего приезда, а в ближайшее время в Японии выйдет многотомное собрание ваших сочинений [8]. Если здоровье вам позволяет, едемте сейчас. Я буду сопровождать вас в этой поездке.

— Благодарю вас и всех японских читателей за теплые чувства ко мне. К сожалению, сейчас не смогу поехать. Эту зиму я проведу в Италии, в Сорренто, а будущей весной на праздник вишни приеду к вам... Если позволят обстоятельства, непременно приеду. В мае будущего года я должен вернуться в Россию. Сначала из Неаполя на пароходе поеду в Японию, а потом через Владивосток — в Россию. Это увлекательно.

Затем Горький весело расспрашивал, сколько дней идет пароход от Неаполя до Японии, какая в это время там погода. Я подумал, что, быть может, будущей весной он действительно приедет к нам.

Перед моим отъездом из Токио Ямамото[9] просил меня предложить Горькому написать статью о культуре Азии и Японии для журнала «Кайдзо». Я сказал об этом Горькому. Он с радостью согласился. Мне хотелось захватить статью с собой, и я спросил, не может ли он написать ее, пока я еще в Москве.

— Это невозможно. Сейчас я по горло занят ответами на письма литературной молодежи, а в октябре уезжаю в Сорренто. Просто некогда. Как только приеду в Сорренто, я сразу же напишу [10] и отправлю в новогодний номер журнала.

Горький спросил мой адрес и записал его в записную книжку.

Заговорили о советской литературе.

— На кого вы больше всего надеетесь из современных советских писателей? — спросил я.

Немного подумав, Горький ответил:

— Сейчас в России много талантливых писателей. Хорошее будущее у Иванова, Леонова, Бабеля, Федина, Гладкова. С огромным интересом читаю я их произведения. Недавно вышли «Зависть» Олеши и «Тихий Дон» Шолохова. Превосходные вещи. Если так они пойдут и дальше, то оба станут большими писателями. ⟨...⟩

— А кого вы предпочитаете из дореволюционных писателей?

— Ценского, Вересаева, Алексея Толстого и Бунина.

Я спросил его:

— Что вы думаете о настоящем и будущем Советской республики?

При этом вопросе Горький заметно оживился, будто я спросил его наконец о том, о чем именно он хотел бы рассказать мне.

— В Советской республике в настоящее время идет огромная работа по строительству новой культуры во всех областях жизни. Масштабы этой работы в будущем сильно увеличатся, и созидательная энергия ее энтузиастов несомненно принесет обильные плоды. Это невозможно отрицать, если ты не враг рабоче-крестьянского правительства. Как вам известно, Советская республика испытывает сейчас финансовые затруднения. Наша экономика не получила технического развития до империалистической войны, а тут еще гражданская война почти полностью развалила ее. И нельзя забывать, что мы постоянно находимся в окружении агрессивных империалистических государств и что наши люди изголодались при царях и хотят вдоволь есть и вдоволь отдыхать. Эти люди чаще видят недостатки, нежели положительные стороны Советской власти. И тем не менее в этих сложных и трудных условиях Советское правительство за последние несколько лет добилось удивительных результатов в работе по восстановлению и развитию народного хозяйства. А каких серьезных успехов достигли мы в сплочении рабочих и крестьян, в воспитании у масс социалистического сознания! Не преувеличу, если скажу, что теперь трудящиеся все упорнее стремятся к знаниям, к культуре —

к новой жизни. За эти десять лет рабочий класс блестяще доказал, что он является достойным хозяином страны и героем-строителем. Будущий историк русской революции с удивлением отметит фантастически дерзновенный труд русских рабочих. Народ все более осознает цели своего правительства и выдвигает из своей среды активных строителей новой жизни. Шестьсот тридцать четыре тысячи женщин работают в советских учреждениях, огромная армия рабкоров, селькоров, десятки тысяч рабфаковцев — вот они, сокровища Советской страны! Это живая сила нашего творчества.

— А как вы смотрите,— поинтересовался я,— на такие наблюдаемые в России в последнее время явления, как саботаж, безработица, пьянство, бесчинство малолетних, моральное разложение молодежи?

— Факт есть факт. Я не слепой, хорошо вижу и знаю различные стороны нашей сложной действительности, ее трагические противоречия. ⟨...⟩ Однако это не ново, было во все времена и во всех обществах. И у нас появилось в переходный период строительства Советского государства. Но это не дает основания отрицать огромные достижения Советского правительства за последние десять лет в области культурной и общественной жизни,— сказал Горький и задумался.

Слово «достижения» пришлось кстати. Я спросил Горького о его новом журнале: [11]

— Мне хотелось бы узнать о целях и задачах журнала «Наши достижения», который вы собираетесь выпускать.

— Журнал выпускается Государственным издательством. Я один из сотрудников этого журнала. ⟨...⟩ Его основная идея: развернуть перед массами полную картину государственного строительства Союза Советов. Думаю, что всякие открытия, планы, достижения в области науки, техники, сельского хозяйства сыграют прекрасную роль в воспитании трудящихся масс и послужат стимулом к повышению производительности труда рабочих. Поэтому новый журнал должен привлечь рабкоров и селькоров со всей страны. Такие люди уже есть, и это большое наше достижение. Они принесут в журнал много интересных материалов о зачатках новой культуры, новой жизни в деревнях и на заводах. Одним словом, мы хотим подвести итог всей созидательной работе Союза Советов.

Горький сильно закашлялся. Я заметил, что засиделся. Часы показывали половину пятого. Врач уже пришел к Горькому и ждал его в соседней комнате у секретаря. Я вытащил из кармана записную книжку и попросил у Горького на память автограф. Он написал:

Сердечно приветствую японских литераторов и артистов [12], *чье тонкое искусство давно уже восхищает и всегда будет радовать меня.*

М. Горький.

16.IX.1928 г. Москва.

Затем Горький взял две последние свои фотографии, подписал каждую из них и подарил мне и Исиде. Мы поблагодарили его, извинились за беспокойство, пожали руку. Горький проводил нас до дверей приемной и попрощался.

Спускаясь по длинной полутемной лестнице, я все думал о нем. ⟨...⟩ С не меньшей энергией, чем десять—пятнадцать лет назад, он продолжает свою работу. Как художник Горький еще не сказал свое последнее слово. Его гений не исчерпан до дна. Он человек, который вечно живет для будущего.

Мы вышли на улицу. По-прежнему моросил мелкий осенний дождь...

К. Я. ГОРБУНОВ

ЧЕТЫРЕ ЧАСА...

⟨...⟩ ...Узенькая речка Пехорка, а на том берегу, за мостиком, небольшая голубенькая дача с надстройкой. Приехали.

Едва я вошел в светлую продолговатую комнату, как позже выяснилось, столовую,— откуда-то сверху послышался густой глуховатый голос:

— Прибыли! Давайте его сюда!..

По крутой скрипучей лесенке, застланной простенькой дорожкой, я поднялся наверх. Это была рабочая комната Горького. Большой стол простой выделки, жесткое кресло, а позади него — стеллаж. На полках книги, книги, книги.

Алексей Максимович был в голубой рубашке с таким же галстуком. Он курил сидя в кресле, стряхивал пепел в огромную ковшеобразную зеленого цвета пепельницу.

Я помнил Горького по давним фотографиям — с небольшими усами и тяжелой длинной шевелюрой. А сейчас — седеющие волосы его непривычно подстрижены ежиком, усы свисают вниз. А глаза — синие, внимательные, острые и добрые в то же время.

— Значит, из Сызрани? И, говорят, газетчик! — Голос его гулко раскатился по небольшой комнате.

— Из Сызрани, газетчик [1],— подтвердил я, стараясь быть храбрым.

— Знаю городок. Близ острова Ракова стоит. Не знаю, почему вы так назвали его, раков там и в годы моей молодости не водилось. Лет тридцать назад мы проезжали через Сызрань с Гариным-Михайловским. Знаете такого?

— Знаю.

— Не нашлось ни одного рака. С досады Гарин купил у сызранского часовщика двадцать штук часов.

— Зачем так много?

— Понимаете, часовщик сильно бил мальчика-ученика. А Гарин заступился за него. И этот истязатель, черт драповый, согласился отпустить парнишку на волю при условии, если у него купят все имеющиеся в наличии часы. Может, он в шутку сказал, а Гарин понял всерьез [2]. Широкий был человек и очень добрый... Газета не мешает вам писать? — неожиданно спросил Алексей Максимович.

— Мешает. Трудновато.

— Странно, очень странно, мне казалось, газета должна помогать.

Неожиданно из-под стопы других бумаг он извлек мою рукопись [3], слегка хлопнул ею по столу.

— Ведь вот все, что здесь написано,— он покашлял, прижав платок к губам,— и не так уж плохо написано, читать будут, уверяю вас. Ведь все это, как я понимаю, явилось благодаря газете?

— Да, я много ездил по деревням.

— Вот видите. А вот этого бандита, кулацкого наймита, убийцу Гуляша, вы где нашли?

Я ответил без затруднения, потому что это было на самом деле так:

— Впервые я увидел человека, похожего на Гуляша, на базаре... А потом он приснился мне.

— Правильно! — торжествующе проговорил Горький, словно заранее знал мой ответ.— Но вам и положительные герои неплохо удались. А ведь положительных труднее писать. Честное слово! По собственному опыту знаю. Потому что плохого на земле, к великому сожалению, еще значительно больше, чем хорошего... Вот этих...— он полистал рукопись,— пастуха Гасилина, комсомолку Анку вы тоже такими видели, как написали?

— Не совсем,— смущенно сказал я, ожидая, что буду уличен в непозволительных преувеличениях.

— И это правильно,— повторил Алексей Максимович,— хорошее нуждается в дополнительном воображении...

Я промолчал, потому что не совсем понимал, что он хотел сказать.

Короткий осенний день кончался. Окна затягивались сумерками, но Горький не зажигал огня. Закуривая новую сигарету, он поджег окурки и огарки спичек, нако-

пившиеся в большой пепельнице. Посматривая на трепещущий огонек, на сизые завитки дыма, он снова листал мою рукопись. В сумерках я еще мог различать жирные пометки синим карандашом на полях рукописи и между строчками.

— Я тут кое-что нарисовал вам. Посмотрите. Если согласитесь, исправьте... Вот, например, написано у вас «шпалеры с розовыми цветочками». Вы, конечно, имеете в в виду обои. А «шпалер», надобно вам знать, это на воровском жаргоне означает револьвер. Так вот, чтобы не пугать читателя, советую вам исправить. Помнится, одна фраза очень нескладно построена у вас, не поймешь, кто сидит на берегу озера,— герои ваши или те «старые и хитрые щуки», о которых вы с такой любовью написали.

Спасительные сумерки, должно быть, мешали видеть, как нехорошо мне стало при упоминании об этих окаянных щуках.

— А в общем, говорю, неплохо. И полезно,— откуда-то уже издалека донеслось ко мне.— Вам сколько лет?.. Двадцать три?.. Вам еще работать да работать. Если не хотите оставаться просто любителем.

Снизу звонкий женский голос позвал: «Обедать, Алексей Максимович!»

Он спросил меня:

— Время у вас есть? Останетесь?

Еще бы не остаться!

В ярко освещенной, уже знакомой мне столовой он много и оживленно говорил все о том же: о долге писателя перед народом, о главной задаче — показать ростки новой жизни, не кривя душой, не фальшивя словом...

Четыре часа длился этот разговор — там, наверху, в кабинете, и здесь, за обеденным столом. Эти четыре часа определили все направление моей жизни и заставили глубоко думать над тем, как лучше служить трудному делу, которое я успел полюбить.

Машина уходила поздним вечером. И вдруг на освещенном крыльце появилась высокая фигура Горького:

— Плед! Возьмите плед! Вы можете простудиться. Вечер холодный.

Я открыл дверцу и крикнул: «Спасибо!» И еще добавил, что не простужусь: вечер теплый, очень теплый.

Был конец сентября, 1928 год. ‹...›

Ф. С. БОГОРОДСКИЙ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ХУДОЖНИКА»

...мы с Алексеем Максимовичем поехали по берлинским музеям [1].

Музей Фридриха [2] произвел на Алексея Максимовича большое впечатление. Он подолгу останавливался у картин, очень внимательно разглядывал детали, а затем, отступив, оглядывал картину издали, как бы обобщая виденное. Ему нравились самые разнообразные художники: Рембрандт и Франс Гальс, Веласкес и Тициан, Рубенс и Брейгель... Об Иерониме Босхе он говорил, что это «полное собрание кошмаров». Я запомнил, что писателю очень нравились флорентинцы (особенно Перуджино, Пинтуриккьо, Боттичелли), голландцы и испанцы, а к немцам он относился холоднее. Интересовался он более поздними англичанами и французами, которых знал очень неплохо. Мы долго ходили по огромным залам, но Алексей Максимович ни разу не присел, несмотря на предложения отдохнуть. Осмотрев музей, Алексей Максимович захотел выпить кофе. Посидев с полчаса в кафе, на Унтер-ден-Линден, мы поехали на такси в здание Цейхгауза, где был расположен Военный музей. Здесь в высоких и мрачных залах висели фундаментальные исторические баталии. Я не помню имен их авторов, кроме профессора Вернера, но написаны они были с большим знанием военного дела.

На следующий день мы продолжали осмотр музеев. Палас крон-принца, в котором было собрано современное изобразительное искусство, вызвал живейший интерес Алексея Максимовича. Ему здесь очень многое нравилось, со многим он не соглашался, а некоторые картины, главным образом постимпрессионистического характера, вызывали у него возмущение. Я был прямо поражен его

знанием живописи. Так, например, разглядывая одну из картин Утрилло, на которой была изображена зима, Алексей Максимович сказал:

— А пейзаж-то слабоват! Я помню одну из зим Утрилло в Париже, та была написана плотнее, глубже. А эта какая-то пестрая!

Горький прекрасно разбирался и в вопросах композиции, очень верно оценивая картины различных стилевых направлений.

Мы ездили на такси по улицам Берлина, заезжали в частные художественные галереи, побывали у Флейхтгейма — популярного коллекционера и торговца картинами, и Алексей Максимович с видимым удовлетворением говорил:

— Нуте-с, ознакомился я с живописью Берлина весьма основательно. Великолепное, знаете ли, это искусство!

В один из вечеров мы поехали в театр Шумана, где шла оперетта-ревю «Три мушкетера».

Появление Алексея Максимовича в ложе вызвало оживление в зрительном зале. Не только публика, но и музыканты в оркестре встали, чтобы рассмотреть знаменитого русского писателя, популярность которого за границей была совершенно исключительной.

В антрактах Алексей Максимович старался не выходить из ложи, так назойливо осаждала его публика либо с требованием дать автограф, либо просто для того, чтобы поглазеть на знаменитость. ⟨...⟩

В начале ноября 1929 года я вместе с Г. Ряжским и А. Мизиным был занят украшением клуба торгпредства к предстоящим Октябрьским торжествам. В разгар работы мне была вручена телеграмма о том, что Горький приглашает меня выехать в Сорренто и что деньги на поездку я могу получить в таком-то банке... Через несколько дней я, распрощавшись с друзьями, отправился в далекое путешествие. ⟨...⟩

Как-то утром Алексей Максимович изъявил желание посмотреть мои этюды. После завтрака он пришел в отель со своими домочадцами, захватив даже внучек Марфу и Дарью. Я расставил этюды по комнате, и Алексей Максимович очень внимательно их смотрел. Надо ли говорить,

как я волновался! После недолгого молчания он, как всегда покашливая, сказал, что этюды ему нравятся.<...> Заметив, что они мной не подписаны, он стал убеждать меня в том, что свои произведения подписывать необходимо, чтобы не задавать впоследствии лишней работы реставраторам и искусствоведам, устанавливающим авторство «неизвестных художников».

На мою просьбу покритиковать работы Алексей Максимович ответил: «Самый лучший критик — это вы сами. Никакой иной критики, которая могла бы чему-то научить вас, не ждите. Учитесь у всех, слушайте всякие советы, но не подражайте никому и делайте по-своему, как вам подсказывает ваша совесть... А главное — трудитесь, напряженно трудитесь всю свою жизнь». Доброжелательное отношение ко мне Горького буквально вдохновило меня. Ведь по совести говоря, что самое важное в творческой жизни художника? Думается мне, что самое важное — это вовремя сказанное ласковое слово, моральная поддержка, доброе проявление интереса к его труду. К глубочайшему сожалению, все это бывает в жизни художника довольно редко...

Сам Алексей Максимович был необычайно трудоспособен. Его распорядок дня был примерно таков: вставал он около восьми часов утра. После легкого завтрака он принимался за работу в кабинете, который находился рядом со столовой. В два часа начинался обед, после которого Алексей Максимович опять работал до четырех-пяти часов. После небольшой прогулки в пять часов подавали чай, а в восемь был ужин, после чего Алексей Максимович или шел к себе просмотреть корреспонденцию, или спускался вниз, где собирались побеседовать, послушать патефон и потанцевать. В дни моего пребывания в Сорренто Алексей Максимович писал «Клима Самгина». Творческое напряжение чувствовалось во всем его поведении: он мало гулял и почти никуда не выезжал.

Наступила пора приступить к портрету писателя. Однако мне казалось, что просить Алексея Максимовича позировать в эти дни — просто святотатство, и я ждал подходящего момента. Наконец я решился побеседовать с ним на эту тему. Алексей Максимович очень охотно согласился посидеть для большого портрета. Я предложил работать вечером; это его, видимо, устраивало, хотя было известно, что писать при вечернем освещении очень трудно, тем более что за день я неимоверно уставал. Мы усло-

вились работать в одной из нижних комнат, служившей мастерской для Ракицкого и Надежды Алексеевны, которая усердно занималась живописью.

Алексей Максимович сел у стены на простом кухонном стуле. Мне хотелось изобразить писателя в его обычной позе, без всяких аксессуаров, как можно лаконичнее и выразительнее. Холст был размером около полутора метров. Быстро набросав углем рисунок, я начал писать маслом. Первый сеанс продолжался около двух часов, остальные десять — одиннадцать не превышали полутора часов каждый. Алексей Максимович позировал превосходно и даже держал на «отлете» руку с папиросой. Я волновался невероятно: а вдруг портрет «не пойдет»? Но моему состоянию помог сам «натурщик» — Алексей Максимович, который так просто держал себя, с такой удивительной теплотой беседовал, что мои сомнения быстро исчезли.

Каждый вечер — а мы начинали работать часов в девять — Алексей Максимович рассказывал о своей жизни. Но как рассказывал! Это была живая повесть об огромной жизни, переполненной незабываемыми впечатлениями и тончайшими переживаниями. То он рассказывал о курьезных похоронах с четырнадцатью пароходами купца Курбатова в Сарапуле, то о своей встрече с прототипом Челкаша в николаевской больнице... [3] Рассказывал и о нижегородском гитаристе Антипыче Троицком, который заставил плакать самого Федора Шаляпина.

Алексей Максимович подтвердил, что с Шаляпиным он познакомился в Нижнем только после 1900 года и слухи об их совместной службе в Казанской опере являются чистейшим вымыслом.

В один из вечеров зашел разговор о художниках. «Всем, батенька, известно, что Суриков гигант,— говорил Алексей Максимович.— Однако рисунок у него не пластичен. Как хотите, а с рисунком у него дело обстояло хуже, чем с живописью. Репин — вот это по всем статьям мастерище. Или Серов— обаятельный художник! Между прочим, жалко, что я рисовать не умею! Кабы я знал перспективу, мне бы описывать пейзажи или интерьеры куда легче было. А потом имейте в виду, ежели вы литературой займетесь, не рассказывайте, а изображайте: пишите картинами. Понятно? Сцепляйте эти картины, как звенья в цепь. Картинами, батенька мой, картинами пишите».

В этот вечер мне довелось услышать и о том, что художник Борис Григорьев хоть и талантлив, но неумен, что

французы Клод Моне, Сислей и Писсарро оптимистичны, а потому и увлекательны. А вот наивность Утрилло часто назойлива и искусственна. Живущий в Париже художник Александр Яковлев, видимо, писателю очень нравился. О нем он говорил охотно и положительно.

— Первостатейный рисовальщик, знаете ли! Весьма мастеровитый. Нда-с!

Вспоминали мы В. Фалилеева, этого милого человека, но по-настоящему не расцветшего художника. Алексей Максимович помянул добром и имя Б. Кустодиева, этого подвижника в искусстве, который в течение десяти лет, будучи разбит параличом, писал полотна, преисполненные жизненной воли и темперамента. И кого только не знавал лично Алексей Максимович — имена Репина, Серова, Коровина, Васнецовых, Нестерова, Бродского и многих, многих других художников так и мелькали в его репликах.

Особенно тепло отзывался Горький о группе художников, которые работали на Капри в десятых годах; это были И. Бродский, С. Прохоров, Г. Горелов, К. Горбатов, Е. Чепцов, К. Вещилов, Г. Бобровский и другие[4]. ⟨...⟩

Наша мирная беседа однажды чуть не кончилась спором. Алексей Максимович упрекнул нашу живопись в отсутствии в ней фантазии:

— Да-с, сударь, быт, жанр и прочее — все это хорошо. А где же мечта? Мечта где, фантазия где, я спрашиваю? Почему у нас Чурлионисов нет? Ведь это же музыкальная живопись[5].

На мое возражение, что Чурлионис никакого отношения к профессиональной живописи, а тем более к реализму не имеет и что он в изобразительном искусстве дилетант, Алексей Максимович, начиная уже сердиться, говорил:

— А что же, романтике и места нет в реализме? Значит, пластика, ритм, музыкальность и тому подобное совсем не нужны реалистической живописи? Мне Чурлионис нравится тем, что он меня заставляет задумываться как литератора! Нда-с! А если говорить откровенно, то в нашей современной советской живописи чрезмерно много фотографизма. Вот именно, фотографизма!

В подтверждение этой мысли Алексей Максимович указывал на то, что даже такой талантливый живописец, как Бродский, и тот отдает дань работам с фотографии.

— А вот Серов,— говорил он,— разве он был во власти фотографии? Глубочайший реалист и в то же время

стилист, каких мало! Очень любил я Серова — крепкий он был человечина и художник отменный! Помню, как он писал с меня портрет,— посерьезнее Репина-то, ей-богу! ⟨...⟩

Иногда мы ходили гулять по шоссе. Горький, которому в то время было шестьдесят лет, был очень легок в походке. Я бы даже сказал, что его походка была изящна и напоминала спортивный шаг. Фигура Алексея Максимовича, несмотря на сутулость, была очень ладно сшита, хотя для своего высокого роста он был совсем не так широкоплеч, как обычно об этом пишут.

О чем мы только ни говорили во время этих прогулок! И о Сильвестре Щедрине — замечательном русском художнике, похороненном в Сорренто, и об Александре Иванове, прожившем почти 30 лет в Риме, о виртуозном мастерстве К. Брюллова, и о мрачном, «ядовитом» таланте Ф. Достоевского, и о поэтическом даровании Ромена Роллана... И, конечно, больше всего говорили о нашей родине, о Москве, о Питере, о Нижнем Новгороде, о Волге...

Мы смотрели на открывавшиеся перед нами необъятные морские дали, на дремлющий в полуденной дымке Везувий и вспоминали русский пейзаж, не такой яркий и нарядный, но глубокий, преисполненный задушевной прелести.

С. С. КЭМРАД

ТОГДА, В НЕАПОЛЕ...

Горький сидел один в салоне теплохода, курил. Редкий случай! Как не воспользоваться им?!

Подошел, слегка охрипшим от волнения голосом произнес:

— Алексей Максимович!

С берега доносилась чужая — итальянская — речь. За кормой лениво плескались волны воспетого в тысячах романсов залива. Справа на горизонте — казалось, совсем рядом — попыхивал своей вечной трубкой Везувий.

— Алексей Максимович!

Шел третий день нашего пребывания в Неаполе. Два предыдущих дня мы почти не разлучались с Горьким. Мы — это 257 рабочих-ударников, премированных поездкой на теплоходе «Абхазия» вокруг Европы. И группа журналистов, литераторов, в числе их — пишущий эти строки.

Первые советские туристы за рубежом... Первая экскурсия... И первенец первой пятилетки — комфортабельный красавец-теплоход, построенный целиком нашими руками, на нашем, советском заводе, из наших — отечественных — материалов... ⟨...⟩

Мы знали, что Горький живет в Сорренто, где-то близко от Неаполя. Мечтали о встрече с ним. Но никто из нас даже в самых необузданных мечтах не предполагал, что он приедет в Неаполь, придет на пристань [1].

Радостное возбуждение овладело всеми на теплоходе. Молодежь кинулась к правому борту, приветствуя великого писателя. Раздалось громкое «Ур-ра!».

— Здравствуй, старый товарищ с девятьсот пятого года! — крикнул Шилин.

Горький встрепенулся, узнал Шилина. Поднялся на палубу. Расцеловался с Шилиным, с которым не виделся около 15 лет. Они вспоминали баррикады 1905 года, борьбу с царизмом. Салов преподнес ему свою книжку [2].

Тем временем закончилось оформление документов. Мы — на берегу. Сюрприз продолжается. Горький вызвался быть нашим гидом по Неаполю. Прежде всего он приглашает нас всех—300 человек, включая часть команды,— на гору Сан-Мартен, самую высокую точку в городе, откуда Неаполь виден как на ладони. Здесь, к макушке горы, прилепился ресторанчик. Горький угощает всех вином.

— Спойте, ребята, что-нибудь,— попросил он.

И понеслось над Неаполем: «Вни-и-из по ма-а-атушке по Во-о-лге...», «Вдоль да по речке, речке да Казанке...».

Поздно вечером вернулись на теплоход.

— Максим, слетай домой, привези рукопись,— обратился Горький к сыну.

Он стал беседовать с Шилиным, другими товарищами. Сын уехал. На этой беседе я не присутствовал. Увязался с Максимом в Сорренто. Ловко управляя рулем, зорко вглядываясь в мчавшуюся навстречу дорогу, Максим рассказывал, что дорога — частная, на обоих концах ее — сторожевые посты, взимающие плату за проезд, они связаны телефоном. Его, Максима, считают одним из лучших автомобилистов Италии. Когда он едет из Сорренто в Неаполь или обратно (шестьдесят километров в два конца), один пост заключает по телефону пари с другим, за сколько минут он доедет. Отец часто упрашивает его ехать осторожнее.

Через час вернулись. Стемнело. Максим передал отцу рукопись.

В Москве происходил в то время процесс промпартии (Рамзина и других) [3]. Судили вредителей. Вся буржуазная пресса взяла их под защиту, обвиняла Советскую власть в «негуманности». За день до нашего приезда Горький написал статью, связанную с процессом (кажется, «Гуманистам») [4]. Эту статью он прочел нам.

...Пили чай. Устроили «вечер самодеятельности». Запели: «Солнце всходит и заходит...» [5]

Горький замахал руками:

— Не надо, не надо петь эту песню,— попросил он.— Эта песня устарела. Я написал ее, когда сидел в тюрьме. А теперь цепи порваны, и нечего о них вспоминать. Давайте лучше веселую.

...На другой день большая группа экскурсантов ходила с Горьким в музей, он показывал хранящиеся там сокровища искусства и давал объяснения. Другая часть съездила по его совету в Помпею.

...Все утро на третий день я не выходил из каюты. Хотелось немедленно, по свежей памяти, поделиться впечатлениями с той, что уже много лет лишена впечатлений вольной жизни,— с другом моей юности Верой Хоружей, чье имя сейчас известно миллионам [6]. Шестой год томилась она в польско-фашистской тюрьме, куда была заключена за активное участие в революционном движении в Западной Белоруссии.

...Письмо окончено. Вышел из каюты — Алексей Максимович сидит в салоне, курит.

Решение созрело мгновенно. Я подошел к Горькому.

Еще летом подготовил я к печати книжку, куда включил письма Веры из тюрьмы ко мне, к матери, брату и сестрам, некоторым другим товарищам. Назвал книгу «Письма на волю». Перед самым отъездом из Москвы получил гранки, захватил их с собой. Показал Горькому.

Алексей Максимович взял гранки, водрузил на нос очки, стал читать. Он медленно листал оттиск за оттиском, а я нетерпеливо ерзал на стуле, пытаясь отгадать, что он думает.

— Алексей Максимович! — взмолился я, когда Горький оторвался от чтения.— Вера сидит не одна. Там много девушек — в Фордоне. Какой это будет праздник, если вы напишете им хоть несколько слов привета. Вот тут, в этом письме, я им рассказываю о встрече с вами. Но во сколько раз радостнее станет у них в камерах от одной вашей строки!

Горький испытующе посмотрел на меня, достал из кармана авторучку и четким своим, каллиграфическим почерком вывел на первой странице моего письма, в левом верхнем углу:

«*Примите, товарищи дорогие, и мой сердечный привет. М. Горький*».

Было это 28 ноября 1930 года. ‹...›

Особенность невыдуманных «Писем на волю» В. Хоружей (фамилию ее я в то время по условиям конспирации опустил) — в необыкновенной жизнерадостности, в каком-то солнечном оптимизме, исходящем от них.

Это отметила и Н. К. Крупская, которой я спустя некоторое время принес книгу.

«*Эти письма из польской тюрьмы... письма к родным и товарищам по работе*,— писала она в «Правде».— *Эти письма производят сильное впечатление. Они передают тюремные переживания молодой комсомолки. В них не описывается никаких особых ужасов. Написаны они просто, искренне. Но из каждой строки смотрит на вас человек сильной воли, убежденный революционер, борец за рабочее дело... И столько жизни, молодости, энергии в этих письмах!*»[7]

Надежда Константиновна дала исключительно высокую оценку «Письмам на волю». Я не знаю более волнующих слов.

«*Невольно вспоминается Ильич в тюрьме*,— писала жена, друг, помощница и соратница Ильича.— *Бодростью дышало каждое его письмо к товарищам, сколько было неисчерпаемой энергии в каждом из его писем, сколько теплой заботы о товарищах, теплого чувства в отношении к семейным и превалирующий над всем интерес к делу, забота о налаживании его*».

...По берегу взад и вперед расхаживали карабинеры в диковинных шляпах с петушиными перьями, жандармы в наполеоновских треуголках с кокардой, чернорубашечники Муссолини. Бережно прижимая к груди драгоценный листок бумаги — драгоценный благодаря приписке великого Горького, сошел я на берег, направляясь к почте. Как вдруг остановился. Нет, это рискованно! Может не дойти. Лучше отправить из Москвы.

...В здании напротив Манежа, в самом начале проспекта Калинина, где сейчас продают билеты на спектакли в Кремлевский Дворец съездов, помещался в двадцатых и тридцатых годах штаб организации, одно название которой вызывало трепет у реакционеров всего мира: Исполком Коминтерна! Мне иногда доводилось бывать там. Туда я и принес письмо с просьбой отправить при первой «оказии», конечно, нелегальной.

Было ли оно отправлено? Не знаю. Может быть, застряло на первом же этапе, в Москве. Может, пересекло границу и попало в руки дефензивы (так называлась польско-фашистская охранка). Во всяком случае, до Веры оно не дошло.

«*Так мало писала тебе весь прошедший год*,— говорится в одном из ее более поздних писем (январь 1931 года).—

И от тебя уже с год не было писем. Но были открытки, были коротенькие, многоговорящие приветы с Кавказских гор, и с берегов Средиземного моря, и из Гамбурга, и из Стамбула. Надо ли тебе говорить, как благодарна я за них, как вся вспыхиваю от восторга, получая эти приветы...

Вспомнилось мне, что ты обещал описать подробнее встречу с Горьким. Читала в газетах его письма к рабочим и крестьянам в связи с процессом Рамзина. Как рады мы были! Наш Максимушка с нами!»

И в другом письме (май 1931 года):

«Милый, славный мой друг! Я уже довольно долго сижу над этим листком бумаги и думаю, думаю... Мне хорошо. Хорошо думать о тебе, о нас обоих вместе, о солнечном Советском Союзе, о бурной вашей жизни. А привычные звуки — шаги, голоса и звяканье ключей на дворе, в коридоре уходят как-то вдаль, притихают. Ну, да, это тюрьма. Тюрьма. Тюрьма. Разве можно когда-нибудь констатировать это спокойно?! О нет! Момент — и притихший, ушедший вдаль звук опять дернет за душу сильно и больно. Я заглушаю его мыслями о «многозвучной (но не «угрюмой», а торжествующей, тут я не согласна с Горьким) музыке жизни земной», и мне опять хорошо, мне все-таки хорошо. Ведь это т о л ь к о тюрьма...

То, что привет Алексея Максимовича до меня не дошел, это досадно, более чем досадно. Зато какие замечательные вести о нем мы услышали позже. Да, дружище, не было времен прекраснее наших...»

Прошло с тех пор почти сорок лет. Но и по сей день тревожит меня мысль, что, опусти я письмо в обычный почтовый ящик, в Москве или в Италии, оно, возможно, дошло бы. До сих пор обидно, что не озарили стены тюрьмы свет и радость сердечного привета А. М. Горького, не удался праздник, задуманный при встрече с великим писателем тогда, в Неаполе...

А. С. КУРСКАЯ

ГОРЬКИЙ В ИТАЛИИ В 1928 ГОДУ

С радостным нетерпением ждали мы скорейшей встречи с Максимом Горьким, когда в 1928 году с Д. И. Курским, полпредом СССР в Италии, приехали в Рим. Вскоре мы получили известие, что Горький должен проехать из Сорренто через Рим в Москву [1]. Зиму тогда он проводил еще в Италии.

На вокзале собралась небольшая группа советских граждан, с волнением ожидавших прихода поезда.

Среди приехавших сразу выделилась высокая, прямая фигура Горького в черной фетровой помятой шляпе. Он нес в руках плоский, желтой кожи, туго набитый чемодан. Мы все бросились к Горькому. Кто-то хотел было взять у него чемодан, но Алексей Максимович решительно, хоть и с мягкой улыбкой, заявил: «Никому не доверяю: тут мои рукописи». «А почему у тебя такая старая шляпа?»— неожиданно обратился к Горькому кто-то из советских ребят, пришедших на вокзал вместе с родителями. Горький наклонился к спросившему и с очень серьезным видом ответил: «Да я в ней суп варил». Все рассмеялись, и этот смех сразу нас сблизил с Алексеем Максимовичем. Тесно окружив Горького, наша группа двинулась к выходу, провожаемая любопытными взглядами итальянцев.

Дома все тесно уселись вокруг Горького. Когда он снял шляпу, нас поразили его густые, не совсем еще поседевшие, стриженные бобриком волосы. Тот же малыш, который спрашивал про шляпу, усевшись теперь рядом с Горьким и пристально рассматривая его голову, снова задал ему вопрос: «А почему у тебя, дядя, такие густые

волосы? И опять так же серьезно ответил ему Алексей Максимович: «Да я их помидорами мою».

Мы предложили Алексею Максимовичу отдохнуть до поезда, но он и слышать не хотел об отдыхе. Он быстро обошел комнаты, осмотрел картины; пытливо всматривался в каждого человека, словно ощупывая его взглядом. Сели за стол. «Как хорошо, что все говорят по-русски,— сказал Горький,— как приятно слышать русскую речь». От еды он упорно отказывался. «Все пристают с едой,— жаловался он на своих родственников.— Есть я всегда привык мало. Еще когда грузчиком был, давали паек: хлеба фунта два, масла, крупы, приварок. Я никогда пайка не съедал».

А я собиралась угостить курицей под белым соусом: «Возьмите, Алексей Максимович».— «Да оно с ногами, какое это мясо! — продолжал шутить Алексей Максимович.— Ведь куры здесь из мочалы делаются». Подали помидоры. «Разве можно их есть? Видите, как по ним витамины ползают?»

Время за столом пролетело незаметно. Алексей Максимович был, как известно, исключительно интересным собеседником. Живой, остроумный, он пересыпал свою речь яркими образами, воспоминаниями, рассказами из своей богатой приключениями жизни. Разговор был прерван появлением Максима, сына Горького, напомнившего отцу о том, что время ехать на вокзал. Нам показалось несколько странным, что сын звал отца по имени «Алексей», а отец называл сына «старик», произнося это слово с какой-то особой нежностью. 〈...〉

Осенью 1928 года мы ждали обратно Горького, направлявшегося в Сорренто. Но оказалось, что он, не останавливаясь в Риме, поехал прямо в Сорренто. Вскоре мы получили от Алексея Максимовича дружеское письмо с приглашением навестить его. 〈...〉

...с балкона кабинета Алексея Максимовича раскрылся перед нами удивительный вид на Неаполитанский залив и дымящийся Везувий. Мы огляделись — большая, просто обставленная комната: скромная кровать за ширмой, в углу на гвозде пестрый восточный халат и тюбетейка, стеклянный шкафчик с коллекцией тончайших изделий из слоновой кости, которую он любовно и долго собирал,

масса книг на полках, большой стол у окна, на нем тетради, рукописи, книги... ⟨...⟩

Горький работал очень много. Его сын, Максим, едва успевал перепечатывать многочисленные рукописи отца. За усердную работу Алексей Максимович шутя называл сына своим «печатным станком». «Порядок у отца в работе изумительный,— рассказывал нам Максим Алексеевич,— встает он рано, когда точно — никто из нас не знает, и чай пьет у себя наверху, не любит, чтоб его отрывали, работает беспрерывно так до обеда. Когда ложится спать Алексей Максимович, мы тоже не знаем». А состояние здоровья Горького было неважное. Любимой прогулкой Горького была прогулка к морю, обыкновенно перед вечерним чаем.

Помню Алексея Максимовича вернувшимся с одной из таких прогулок. В своей неизменной фетровой шляпе, в серой фуфайке, с толстой суковатой палкой в руках. «Каждый день хожу к морю, к каменоломне, хожу смотреть рабочих, как они камень бьют,— говорил Алексей Максимович.— Таскают камешки пудов на пятнадцать, да на голом плече, у некоторых только тряпка подложена. А рядом тут пляж, этакие воздушные создания веселятся, проезжают пароходы, гремит музыка... И рабочие целый день работают. Хоть бы тележку дали...— после небольшой паузы добавляет Алексей Максимович.— Хочется написать об этом. Обязательно напишу». ⟨...⟩

Горький с теплой заботливостью относился к своим гостям. В пансионе «Минерва», который находился почти против виллы, где жил Горький, были забронированы две комнаты для гостей Горького, и нельзя было даже заикнуться о том, чтобы самим оплачивать эти комнаты или стол. Большой обидой для себя считал Алексей Максимович, если гости не приходили к нему пить чай, обедать и ужинать. Когда мы в первый свой приезд к нему решили рано утром пойти гулять, не заходя к Горькому, чтоб не мешать ему работать, к нам явился человек от Горького и мягко, но настойчиво от имени Алексея Максимовича просил нас явиться к утреннему чаю.

Радостно встречал Горький приезжавших к нему писателей, но иногда по-отечески и журил некоторых из них. «Считают себя коммунистами, а сами, черти, индивидуалисты»,— говорил потом Алексей Максимович о товарищах, повинных в зазнайстве и прочих подобных грехах. Алексея Максимовича коробила всякая фальшь.

Обычно Горький гостил у нас только проездом. Но однажды он пробыл у нас несколько дней.

Мы устраивали в полпредстве прием представителей иностранной прессы, присутствовать на котором просили Горького, мало, однако, рассчитывая, что он, при своей занятости, сможет приехать. Какова же была наша радость, когда сын Горького, Максим Алексеевич, сообщил нам утром по телефону из Сорренто, что Горький прибудет точно в назначенный для приема день.

Почти одновременно выяснилось, что по некоторым причинам прием придется отложить на два дня [2]. Предупредить об этом Горького мы уже не успели. Я волновалась при мысли о том, как Алексей Максимович, дороживший каждым часом, встретит это неприятное известие.

В первую минуту при встрече на вокзале Алексей Максимович как будто действительно рассердился: «Я вас убью. Ведь у меня работы сколько». Но тут же улыбнулся. «Ну, ладно!» — махнул он рукою и быстро зашагал по перрону, держа в руках свой неизменный плоский желтый чемодан.

Почти весь день прошел в оживленной беседе. Вечером с увлечением, с какой-то детской радостью Алексей Максимович смотрел наши советские фильмы «Турксиб», «Земля»[3] и другие. Вернувшись в Сорренто, он просил в письме послать эти картины Р. Роллану. Этим фильмам, рисующим размах нашего советского строительства, Горький придавал большое агитационное значение. «Видеть эти фильмы надо не только Р. Роллану, но и многочисленным друзьям его в Швейцарии, а также разноплеменным людям, которые часто посещают Роллана.

Нет ли у Вас этих лент? Если есть, не пошлете ль ему? Если ж нет — посоветуйте мне, как и где достать?» [4]

Легли поздно, часа в три. Утром, чтобы не беспокоить Алексея Максимовича, я вышла тихонько в комнату, смежную с той, где он спал. Как же я удивилась, когда увидала, что дверь его комнаты открыта и Алексей Максимович сидит уже за письменным столом и работает. «Что ж вы так рано встали?» — невольно вырвалось у меня. «А вы что не спите?» — отвечал он, смеясь, вопросом на вопрос.

К концу дня мы устроили встречу Алексея Максимовича с советской колонией. Алексей Максимович много и увлекательно рассказывал, убеждая молодежь изучать иностранную жизнь, иностранные языки, присматривать-

ся к условиям жизни итальянских рабочих. А потом он стал рассказывать о своих скитаниях. Максим Алексеевич, обращаясь к отцу, попросил: «Алексей, расскажи про утопленника». Алексей Максимович стал рассказывать. Кто-то из ребят по памяти записал этот рассказ и послал его Горькому в Сорренто. Случайно сохранилась эта запись с собственноручной пометкой Горького «все правильно».

Свои впечатления от общения с советскими людьми Горький выразил в сердечном письме, написанном им на следующий же день по приезде к себе в Сорренто:

«Отлично отдохнул я у вас,— писал он.— Спасибо. Всем товарищам привет. Родственнички мои вам кланяются». 〈...〉

Осенью 1930 года прибыл в Неаполь наш советский теплоход «Абхазия» с рабочими-ударниками, премированными за свою отличную работу поездкой за границу [5]. Встреча с ними явилась большим событием на фоне однообразной жизни нашей советской колонии в Италии.

Встречать ударников мы отправились вместе с Горьким, жившим в то время в Сорренто, и с его сыном Максимом.

Алексей Максимович по-детски радовался предстоящей встрече. С самого раннего утра вся наша группа стояла уже на пристани, нетерпеливо ожидая прибытия теплохода. Запомнилась навсегда фигура Алексея Максимовича с его мягкой улыбкой в лучащихся серых глазах.

Наконец вдали, в тумане Неаполитанского залива, показался наш теплоход. Все триста рабочих — ударников и ударниц — были на палубе. Щелкает фотоаппарат Максима Алексеевича. Так хочется, чтобы поскорее было покончено со всеми формальностями проверки документов, чтобы можно было наконец нашей маленькой советской колонии слиться с дорогими гостями.

Алексей Максимович, держа в руках свою черную широкополую шляпу, застыл в радостном ожидании. Заметив нашу группу с Алексеем Максимовичем, ударники громко закричали: «Да здравствует дорогой писатель Алексей Максимович Горький! Да здравствует советское полпредство!»

Наконец с формальностями покончено, и мы на теплоходе. Алексей Максимович обнимает некоторых рабочих;

среди них оказались его давнишние старые друзья, с которыми его связывали долгие годы дружбы.

Собираемся в столовой теплохода.

— Товарищи,— говорит Алексей Максимович дрожащим от волнения голосом.— Глядя на вас, лучших сынов нашей родины, я испытываю радость, какой в жизни еще не испытывал. В наше великое время чудес вы творите чудеса. Вы герои, вы люди с плюсом.

От волнения и слез Алексей Максимович не может говорить. Рабочие плотно окружили его. Ленинградский рабочий Шилин, старый друг Горького по 1905 году, долго смотрит любовным взглядом на Алексея Максимовича и бросается его целовать. Начинаются воспоминания о временах давно прошедших, о времени «Буревестника», «Песни о Соколе»... Молодо светятся глаза у этих двух стариков: у великого пролетарского писателя Максима Горького и ленинградского рабочего-ударника Шилина. Молодежь, тесным кольцом облепившая их, жадно ловит слова о борьбе с царизмом, о полной опасностей политической подпольной работе...

Поднимаемся на верхнюю палубу, Алексей Максимович просит ребят спеть хоровую. Могучим, стройным хором трехсот рабочих грудей отвечают ударники на эту просьбу. Далеко по набережной Неаполитанского залива, мимо богатых вилл, роскошных гостиниц и шумных ресторанов несется широкая волжская песня «Вниз по матушке по Волге». Горький сияет. Когда потом кто-то пытается затянуть грустную песню «Солнце всходит и заходит» из пьесы «На дне», Алексей Максимович протестует: «Не надо грустных песен,— цепи сорваны и сброшены навсегда, не надо о них и вспоминать. Пойте лучше веселую».

На середину круга выходит немолодая ткачиха из Иваново-Вознесенска. Лихо запевая частушки, она легко, несмотря на свою полноту, приплясывает. Хор с увлечением подхватывает припев.

В этой непринужденной атмосфере хорошего товарищеского веселья проходит первый день встречи с ударниками.

Настал вечер расставания. Мы собираемся в столовой второго класса на прощальный митинг. Остается всего только три часа до отплытия теплохода из Неаполя. Старик Васильев, рабочий-ударник с «Красного треугольника», встает и просит слова. «Хочу вернуться в СССР

членом Коммунистической партии,— говорит он.— Прошу принять меня в партию». За товарищем Васильевым выступает работница текстильной фабрики. «Я видела своими глазами,— говорит она,— какую нужду терпят рабочие в капиталистических странах, в каких трущобах они живут. Прошу принять меня в партию, я больше беспартийной быть не хочу». Двенадцать человек, один за другим, рабочие-ударники заявляют о своем желании вступить в члены Коммунистической партии. Горький потрясен. Он не находит слов от волнения и радости. Слезы выступают у него на глазах. «Не могу, не могу,— повторяет он.— У меня уж так глаза устроены... Вот, ребята, вы и уезжаете,— с грустью говорит Горький.— Передайте же привет рабочим всего Союза».

Палуба полна людей. Комсомольцы затягивают веселую песню. Теплоход готов к отплытию. Снова мы — небольшая группа советских граждан — стоим на пристани... Трап поднят. Алексей Максимович не сводит глаз с отъезжающих, беспрерывно машет им своей широкополой шляпой.

— Победим, Шилин! — раздается громкий возглас Алексея Максимовича.

— Победим! — уверенно несется с теплохода.

Мощные звуки «Интернационала» разносятся далеко по Неаполитанскому заливу. Последний свисток, и теплоход медленно отплывает от берега...

Ф. В. ГЛАДКОВ

⟨О ГОРЬКОМ⟩

⟨...⟩ Осенью 1930 года пришлось мне прожить несколько дней в гостях у А. М. Горького в Сорренто. Его вилла с невзрачным фасадом со стороны узенькой улицы казалась настоящим дворцом среди обширного сада. Неподалеку, за деревьями, открывался необъятный лазурный простор: глубоко внизу небесно синел Неаполитанский залив, направо, очень далеко над заливом, огромным конусом вздымался Везувий со своей седой линией над кратером. Крутой спуск к заливу был бархатный от густых зарослей олив и других субтропических деревьев. Стояли чудесные дни, ослепительно яркие, знойные, безветренные — благостные дни. Каждый день мы спускались по извилистой дорожке вниз, к морю, и этот час прогулки пролетал незаметно в разговорах о нашей стране, о литературе и литераторах, об Италии.

Как-то Алексей Максимович сказал, обводя палкой вокруг:

— Любуйтесь, запоминайте: тут природа — карнавал. Здесь все играет и поет — и море, и горы, и скалы...

В этот момент где-то наверху заревел осел.

— Слышите, даже ослы поют канцоны.

Мы посмеялись.

— Но нет, трудно нам привыкнуть к этому празднику природы: она превращена здесь в бутафорию, в театральные декорации. Она — как и все здесь — эксплуатируется в целях наживы. А народ влачит самое жалкое существование. Золото и лохмотья. Наша страна сурова в своей красоте, но и люди — самоотверженные труженики. История нашего народа — это история великого труда и великой борьбы. Изумительный народ! Нигде труд так не

возвышается до героизма, до творчества и поэзии, как в нашей стране. Наш народ прошел через страдания, через муки и неволю, через тьму дикой жизни и деспотизма, через непрерывную борьбу, чтобы стать впереди всего человечества. И нигде нет такой литературы, как у нас, у русских. А народные песни? Они широки, как эпопея, и глубоки, как раздумье. Такие песни могли родиться только у народа великой души — в мятеже, в тоске по правде и справедливости. У каждого нашего человека есть большая биография.

В гору он шел быстро, опираясь на палку, и я едва поспевал за ним. А ведь он был болен. Я удивился этой его быстроте и легкости при подъеме на крутизну, но он, не останавливаясь, разъяснил:

— Старая привычка. Когда-то я делал по шестидесяти верст в день.

На мой недоверчивый возглас он улыбнулся.

— Никто мне не верил, а вот Лев Николаевич сразу поверил. Наблюдал странников на большой дороге у Ясной Поляны. Идут как будто неторопливо, но упорно и делают по пятидесяти — шестидесяти верст.

Уже в саду, а потом в просторном кабинете разговорились о прошлом. Я напомнил, как он спас мне жизнь в самые тяжелые дни моей ранней юности. Безработица, голод, бесприютность, душевный надрыв и отчаяние довели меня до мысли о самоубийстве. Две книжки его рассказов [1] потрясли меня и словно вывели на свежий воздух, на свободу и влили в душу бодрость и веру в себя. Он заволновался и затеребил усы.

— Ну-ка, расскажите о себе — о вашем детстве, о молодости... Все рассказывайте, ничего не утаивая, обо всех мытарствах рассказывайте...

Я бессвязно передал ему несколько событий из детских лет в деревне, на рыбных промыслах Каспия, в рабочих предместьях города, о незадачливой судьбе моих родителей, о том, как мне пришлось своими силами пробираться к свету, как охватывало меня отчаяние, когда мои надежды и усилия разбивались о неприступные преграды... Он подошел ко мне и взял меня за плечи.

— Слушайте, сударь мой! Ведь я же совсем не знал вашей жизни... Дайте мне слово, что вы немедленно приметесь за повесть о пережитом. Обязательно! Вот возвратитесь домой — и за работу. Летом я приеду в Москву, и вы мне прочтете, что написали. Это очень важно,

очень нужно! Наша молодежь должна знать, какой путь прошли люди старшего поколения, какую борьбу выдержали они, чтобы дети и внуки их могли жить счастливой жизнью. Им нужно показать, как трудно создавался человек, как он был упорен и вынослив и в труде, и в борьбе и какой он совершил невероятный путь к свободе. Много писали о нашем деревенском народе литераторы разных лагерей, но они сочиняли мужика: то делали его блаженным, покорным и кротким мучеником, то — наоборот — зверем и тупым дикарем. А он — простой, умный, даровитый человек, с большой любовью к труду, с мятежностью в душе. Он — свободолюбив, жизнерадостен, деятелен и знает себе цену. Вот и пишите — пишите так, как знаете и чувствуете его, а вы должны его знать и чувствовать. И самое главное — покажите, чем он велик и что он издавна нес в своей душе. Не надо закрывать глаза на явления тяжкие и отрицательные,— а их много было в прошлом, и они были неизбежны,— но подчеркивайте положительные, жизнеутверждающие явления и ярко освещайте их. Я уверен, что это будет хорошая книга.

— Но все-таки это будет и жестокая книга, Алексей Максимович.

— А вы не смущайтесь. Пишите уверенно и смело. В ней все найдет свое место.

Этот разговор глубоко запал мне в душу, и я много дней жил под его впечатлением. ⟨...⟩

...в течение ряда лет создавалась эта летопись моего детства и юности — летопись жизни человека моего поколения. Я осуществил заветное мое желание рассказать в образах о той далекой жизни, в условиях которой прошли мои детские годы и годы ранней юности [2]. ⟨...⟩

М. Е. КОЛЬЦОВ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ

Тусклое солнце слабо греет красный бархат и позолоту старой посольской мебели. За стеклом — тревожный поток Унтер-ден-Линден [1]. Идет с литаврами и барабанами конный полицейский эскадрон. Топают гитлеровские штурмовики в коричневых рубашках, обвязанные накрест ремнями.

Горький пристально смотрит в окно. Он щупает глазами каждого прохожего, каждый автомобиль, каждого седока в нем. И слегка сердито объясняет:

— Напрасно вам говорили, что палехские артели стали хуже работать! И вовсе это не так. У них был очень интересный художественный перелом, появились новые орнаменты, вызревают очень интересные вещи в новом духе. А палеховцы — мастера огромной силы, они сейчас заканчивают большие работы!..[2]

...На перекрестке перед окнами закупорилось уличное движение. Только что прошел батальон войск, но полиция движения хочет создать дистанцию и задерживает вереницу машин. Шоферы в знак протеста устраивают гудками оглушительный концерт. Горький внимательно слушает какофонию. И как будто в ответ на нее говорит без всякого вступления и перехода:

— Очень хорошо, что мы сейчас взялись за сковороды и за ухваты, за всякие ведра и кастрюли для ширпотреба. Но, позволю себе заметить, недостаточное внимание уделяется гвоздям. Совершенно недостаточное! Я уже не говорю о промышленности, о строительстве. Но в простом крестьянском хозяйстве гвоздь бывает важнее всякой сковороды и всякого ухвата!

...Правительствующие голландские лавочники, нажившие груды золота на мировой бойне, не хотят пропускать в Амстердам советскую делегацию на антивоенный конгресс. Он составляет телеграммы, ведет переговоры одновременно с Амстердамом и Москвой, принимает и выслушивает людей. Размечает карандашом газеты, дописывает для конгресса свою речь, которую вряд ли еще доведется произнести. И, выкроив два часа спокойных среди телеграмм и междугородных переговоров, исчезает, чтобы вернуться просветлевшим, отдохнувшим, в приподнятом настроении.

— Мы вас искали, чего же вы с нами не поехали?! Блестящая штука — художественная и притом строго научная реставрация Пергамона. Вавилонский дворец восстановлен — не модели какие-нибудь, не панорамы, а целые куски стен, ворота — в натуральную величину, во всех подлинных красках. Роспись, мозаика — великолепно![3]

И поздно вечером, проходя у темного силуэта Бранденбургских ворот, громадный, на фоне стандартной немецкой толпы слегка неправдоподобный своей широкополой шляпой и длинными усами, усталый, в предвидении мучительной, бессонной, удушливой ночи с кислородными подушками, он все еще гудит неустанным басом:

— Что бы нам такое сделать с «Литературной учебой»? Совсем глохнет это дело [4]. Редакция почти развалилась, актив слабо работает. Надо бы ее приблизить к оргкомитету и потом по издательской линии реорганизовать...

И утром опять, отложив в сторону белогвардейские газеты, говорит спокойно-хозяйственно:

— Надо бы писателя Икс привлечь нам к работе в «За рубежом». Он от белых отошел совершенно, но остается пока за границей, может интересно рассказать о французской провинции — живет там в гуще много лет.

В бульварных газетах сегодня, как и вчера, рассказывают, что Горький продался большевикам за два вагона икры и полтора миллиона долларов, что он вместе с семьей распродает на Сухаревке [5] подаренные ему правительством эрмитажные картины.

...Да, большевики купили Горького. Купили без остатка, на всю жизнь, в вечное пользование.

Купили тем, что в большевистской партии Горький нашел громадное полчище таких же борцов за интересы ра-

бочего класса, против угнетения и издевательства человека над человеком, таких же неустанных воинов за человеческое достоинство, как он сам, на всем протяжении долгой, неугомонной своей жизни.

И таких же работников.

Стиль Горького в работе — большевистский стиль. Его вспыхнувшая в самом раннем детстве, горевшая всю жизнь жарким костром, а теперь, после последних лет тесного соприкосновения с партией, многосторонняя жадность к культуре — это большевистская жадность.

Оттого так полюбился Горький большевикам. И они ему.

Это стиль работника-большевика — не отвлекаться, не растворять себя в окружающей обстановке, а думать, делать, вспоминать то, что кажется важным, вне зависимости от места, от сегодняшней погоды, от минуты. Горький ездит по городам и странам, видится со многими тысячами людей, получает многие тысячи писем, но в этом водовороте отлично владеет своими намерениями и затеями, не забывает, не отступает от них, а необычайно настойчиво и терпеливо проталкивает вперед.

Ему ничто не мешает в берлинской суматохе защищать репутацию палехских кустарей и агитировать эа снабжение крестьянина гвоздями. А в подмосковной глуши, глядя в окно на российские осенне-голые березы, он так же горячо и настойчиво разъясняет:

— Что же это вы, в Испании были [6], а ничего не слышали об Эса де Кэйрош! Он хотя португалец, но отлично известен в Испании. Его «Реликвия» — блестящая штука, антирелигиоэный роман [7]. Удивляюсь, как он мог там появиться на свет. Хотя в папский индекс запрещенных книг наверняка включен.

И, повергая в смущение невежественных собеседников, толкует с ними о новейших раскопках в Италии, об опытах переливания крови из трупов, о картинах голландских мастеров, об американском способе очистки нефти. Сильная и цепкая память не просто коллекционирует груды фактов, она сопоставляет и сталкивает их со смелостью и свободой большого художника-диалектика.

Он замечательно соединяет огромное множество фактов, имен и живых людей — связывает в живые творческие узлы, этот изумительный неуемный писатель и человек. У него голова большевика. Он этой большевистской головой думает и творит для большевиков, для рабочих, для

тех, кто раньше был «народными низами», для тех, из толщи которых он пробился и вышел наружу. ⟨...⟩

Став много лет спустя вождем и учителем молодой советской литературы, Максим Горький неустанно требовал, чтобы у его учеников и подмастерьев выходило «явственнее». Частенько был он крут и сердит, частенько бивал нас, советских писателей, крепкой своей дубинкой, бивал за неграмотность, за некультурность, за неуважение к высокому ремеслу советского писателя, к которому он пришел так драматически и своеобразно. Всегда боролся за революционное, за воинствующее, за материалистическое действие литературы, против реакционного и мистического художественного словоблудия.

И, поднявшись из самых темных и отверженных капиталистическим обществом социальных низов на мировые вершины культуры нашей эпохи, он сохранил при себе как лучшее свое оружие любовь к трудящимся, ненависть к эксплуататорам, проникновенную жадность к живым людям и к живым делам, революционный реализм в творчестве, интернациональный размах в культурной работе и пристальное внимание ко всему конкретному, где бы оно ни находилось, где бы и как ни происходило. Вот это и значит быть писателем у большевиков.

Л. В. НИКУЛИН

‹В ДОМЕ ГОРЬКОГО›

‹...› Весной 1931 года, с первыми теплыми днями, Горький снова приехал в Москву. В этот его приезд состояние здоровья не позволило ему ездить по стране. Это было большим огорчением для писателя. Но жизнь страны, жизнь советского народа всегда была у него перед глазами, он знал, чем дышит народ, по-прежнему он отдавал все свои силы огромной, плодотворнейшей работе во всех областях культуры.

Именно в этом, 1931, году Алексей Максимович поселился в доме на Малой Никитской, в Москве, и этот дом стал центром великой творческой и организаторской работы Горького [1].

Дом Горького находится на углу Малой Никитской и Спиридоновки, ныне улицы Алексея Толстого. Небольшой сад примыкает к дому. Деревья разрослись, весной и летом густая зелень глядит в большое окно просторной комнаты. Эта комната служила столовой и вместе с тем была местом, где происходили встречи Горького с людьми самых разнообразных профессий, разных возрастов, от маститых и увенчанных славой ученых до ребят-пионеров. ‹...›

Из этой комнаты широкие двери вели в библиотеку.

Здесь, на пороге библиотеки, обычно появлялась высокая, стройная фигура Алексея Максимовича...

Теперь, когда прошло много лет со дня первых встреч в доме на Малой Никитской, охваченные чувством острой печали, мы думаем о том, что никогда больше не появится в этих дверях высокая фигура Алексея Максимовича, никогда больше не услышим мы негромкого покашливанья и низкого, чуть глухого голоса:

— Ну, здравствуйте...

Художники сохранили для нас образ Горького, его рост, стройность его фигуры, цвет его волос, его внимательный, пытливый, порой строгий взгляд. Но только в памяти тех, кто видел писателя, сохранится его легкая, почти неслышная походка, теплота и нежность в его взгляде, когда он говорил о талантливых, одаренных, скромных людях, искра гнева в его глазах, когда он говорил о врагах или о ничтожных и дурных людях.

Легкая походка молодого человека, восприимчивость, живость взгляда — все это было у Горького почти до последних дней его жизни. И никто не мог назвать Горького стариком, хотя в те годы ему уже шел седьмой десяток.

Человек узнавал Горького из книг и рисовал себе образ автора. Он видел строгого к себе, много страдавшего в своей жизни мыслителя, верящего в победу правды, справедливости, разума. Он видел одного из тех великих писателей, которых мы называем классиками, литератора, верящего в высокую миссию литературы и в свой долг писателя-гражданина. Таким видел, знал Горького его читатель. И таким он встречал его в жизни. Ни тени разочарованья. Даже по внешности своей Горький был именно тем человеком, который написал «Детство», «Мои университеты», «Мать».

И вот Алексей Максимович входит в большую комнату — столовую, садится против своего собеседника за простой, накрытый цветной скатертью обеденный стол. Он не тратит времени на обычные в этих случаях «проходные» фразы, не ищет тему разговора, не ищет, с чего начать, и начинает разговор — всегда глубокий, значительный и интересный...

Задумчивым, сосредоточенным взглядом он смотрит в глаза своему собеседнику, иногда вскидывает глаза и глядит в большое окно, — там за окном зеленеют деревья и видно голубое небо и медленно плывущие облака. Пальцы Алексея Максимовича вертят спичечный коробок или коробку сигарет. Иногда Алексей Максимович продолжает мысль, которая занимала его в то время, когда ему сказали о приходе гостя. Увлеченный этой мыслью, он продолжает развивать ее, углублять, вовлекая в беседу своего гостя. Таким образом собеседник попадал как бы в середину того разговора, который вел сам с собой Горький. Без всякого уничижения можно сказать, что порой трудно

было поддерживать беседу с Горьким. Эрудиция Алексея Максимовича была огромной. Это была добротная, глубокая эрудиция, охватывающая лучшее, что знало человечество. Он говорил о философских трудах, истории, экономической науке, медицине, археологии, говорил о новых открытиях в области науки, о духовном кризисе интеллигенции на Западе. Он всегда находил ту тему, которая могла увлечь его собеседника, и разговор с Горьким был одинаково интересен для ученого и для рабочего-ударника, для писателя, артиста, художника и для пионера-подростка.

Вот он рассказывает о профессии «гибщиков»[2] на Сормовском заводе, об этих удивительных людях, которые обладали богатырской силой. Всегда удивляешься его страстной любви к труду человека и глубокому знанию профессий рабочего человека и особенностей его труда.

Биография Горького — неисчислимые встречи, открытия и разочарования в людях. Большие дороги, проселки, горные тропинки Крыма, Кавказа, Каспийские промыслы, полустанки, постоялые дворы, беседы у костров в степи... И ничто не исчезло из его памяти. С поразительной точностью Горький называл имя человека, место встречи, год. Иногда забывал отчество человека или характерную деталь — наступала мгновенная пауза, пальцы нетерпеливо стучали по столу, Горький хмурился, сердился,— и тотчас память возвращала ему с мельчайшими деталями давнее прошлое.

Мы часто расспрашивали о Льве Толстом. О Толстом Алексей Максимович рассказывал с душевным трепетом, почти с обожанием, радуясь тому, что природа может создавать таких великих художников, могучих знатоков человеческих душ. Мы были под впечатлением гениально написанных воспоминаний Алексея Максимовича о Толстом и все же узнавали много нового, и Толстой являлся перед нами суровым, колючим и довольно строгим к людским слабостям гением. ⟨...⟩

Алексей Максимович, уши которого слышали самую грязную брань, глаза которого видели издевательство человека над человеком, был целомудренным и чистым в беседе. Даже когда он говорил о жестоких, безжалостных людях-извергах и глаза его загорались гневом, он ограничивался коротким, негодующим:

— Скоты, ведь какие скоты, вы подумайте!

Горького можно было растрогать, тронуть почти до

слез, и это не было сентиментальностью, это было радостью за человека, восхищение чудесными качествами души человека. ⟨...⟩

...День Горького начинался рано. Звонил колокольчик у ворот, и появлялся почтальон с тяжело нагруженной сумкой. В ней были письма, журналы, газеты, почта из Советской страны, газеты не только центральные, но даже и многотиражки. Порой все, что умещалось в сумке почтальона, было однодневной почтой Алексея Максимовича. В Сорренто [3] Горький работал над «Климом Самгиным». И вот чудесная черточка характера... Мы порой замечали необъяснимые перемены в настроении Алексея Максимовича. Иногда он появлялся среди нас несколько суровый, даже угрюмый. Это было в те дни, когда, работая над «Самгиным», он описывал низкие или жестокие поступки людей и еще долго был под впечатлением написанного. Чудесная восприимчивость была у этого великого человека.

После полудня Алексей Максимович прекращал работу. Звонил колокол, сзывал всех домашних, прятавшихся в саду под соломенными щитами, которые защищали созревающие апельсины от жарких лучей солнца. ⟨...⟩

Мы сходились в довольно тесной комнате после полудня, и на закате солнца, и вечером, за столом. Так начинались застольные беседы, которые превращались в своего рода состязания людей, умеющих интересно и увлекательно рассказывать. Откровенно говоря, у нас была тайная цель заставить вступить в это своеобразное состязание Алексея Максимовича. Горький первый одобрял интересный и остроумный рассказ собеседника, но не уступал лавров, тут же овладевал вниманием окружающих и, при его огромном запасе впечатлений, острейшей наблюдательности и редкостном умении рассказывать, легко побеждал в этом соревновании.

Однажды я записал только темы этих устных рассказов Алексея Максимовича. Вот они:

Рассказ о некоем капитане волжского парохода, который уверял, что видит насквозь карты и только потому никогда не играет.

Рассказ о купчике-черносотенце, влюбившемся в губернаторшу; у губернаторши был в фаворитах студент-щеголь, белоподкладочник. Купчик плакал и пил.

Рассказ о московском миллионере-кунце Ланине, который поехал в Стамбул, в Турцию, только для того, чтобы побывать в гареме. После невероятных приключений в султанском гареме он благополучно убежал.

Рассказ о Шаляпине, который готовился петь Грозного в «Псковитянке». Горький советовал ему читать Ключевского и драму Мея. Шаляпин ответил: «А кто этот немец?» [4]

Рассказ о внешности и повадках провокаторов Азефа и Татарова и о том, как Шаляпин, не зная, кто они, играл с ними в городки.

Рассказ о том, как убили в Варшаве провокатора Татарова.

После этих маленьких повестей, в которых были поразительно тонко подмеченные черточки быта, картины навеки ушедшего прошлого, мы нехотя расходились,— в полночь дом Горького затихал, такой режим предписали Алексею Максимовичу врачи. Но молодежь, и особенно сын Горького Максим Алексеевич, не могла угомониться. Обыкновенно собирались на кухне, в подвальном этаже, оттуда не долетали в верхние комнаты шум голосов и смех. Там сидели до рассвета, острили, разыгрывали сочиненные тут же комические сценки — у Максима Алексеевича был талант импровизатора.

Однажды Алексею Максимовичу рассказали об одном особенно веселом ночном бдении на кухне. Он немного опечалился и сказал с шутливым укором:

— Черти лиловые... Старого литератора не позвали.

Так проходили соррентийские дни и вечера.

Однажды Алексея Максимовича уговорили читать вслух свои рассказы. У него была совершенно своеобразная манера чтения вслух. Сначала его чтение казалось несколько однотонным, как бы бесстрастным, но постепенно, с каждой страницей, слушатель вовлекался во внутренний мир героев произведения. Мы просили прочитать маленький рассказ «Едут» [5],— в сущности, это только описание возвращения рыбаков с Каспийских промыслов. Алексей Максимович читал опустив глаза в книгу, но не буквы, не строки видел он, а пену на гребнях волн и красавицу, рыбака, ее возлюбленного, и мы вдруг ощутили пахнущий солью морской ветер, и морскую даль, и радость жизни, переполнявшую эти сильные, красивые существа.

Окончательно установилась погода, стало тепло, и начались длительные прогулки в саду.

В саду мы принимались за любимую затею Горького.

Мы разводили костер, Алексей Максимович, так же как все, собирал засохшие ветви апельсиновых деревьев. Желтые языки пламени ползли и сплетались между сучьями. Наступал теплый вечер. Пламя костра побеждало густой, синий сумрак. Искры летели вверх, тьма отступала перед пламенем костра.

Так бывало и под Москвой, только там горели не ветки апельсиновых деревьев, а березовые, осиновые сучья и хворост. Эта любовь жечь костры была некиим символом. Может быть, это было напоминание о молодости, бродячей жизни, странствиях по дорогам и проселкам.

На чужбине Горький жил жизнью родины. Письма, книги, газеты, приезды друзей, посещения советских моряков, советских дипломатических работников скрашивали эту жизнь на чужбине. Здесь, в этом старом тесном доме, который торжественно именовался виллой, был воздух родины, даже выходила своя стенная газета, именовавшаяся «Соррентийской правдой» [6], и в ней Алексей Максимович писал шуточные заметки.

Случалось, что по вечерам Максим Алексеевич затеивал игру в подкидного дурака. Все принимали в игре горячее участие. Алексей Максимович играл очень искусно, каждая удачная комбинация вызывала шумный смех. В этой несложной веселой игре был своего рода отдых для Алексея Максимовича, она отвлекала его от каждодневного упорного труда, это были часы досуга для вечного и вдохновенного труженика, каким был всю жизнь Максим Горький.

Однажды Алексей Максимович заговорил о Шаляпине, он слышал его в последний раз в Неаполе, сравнительно недавно [7]. Неаполь безумствовал от восторга.

— Вот видите ли,— говорил Алексей Максимович,— народ сей дал миру прекраснейших певцов, дал Карузо, Титто Руффо, Баттистини. Италия — родина певцов, но такого, как Шаляпин, у них нет, не было и не будет!

И он даже прищелкнул языком, торжествуя и радуясь.

Когда Горький говорил об этом гениальном артисте, в голосе его звучала теплота и нежность.

На столе появился граммофон и пластинки, и через минуту голос Шаляпина торжественно и свободно звучал над кипарисами и лаврами виллы «Иль-Сорито».

— Видите ли, что сделал этот человек,— он грустную нашу волжскую песню «Эй, ухнем» заставил слушать здесь, в Италии, где любили сладостные неаполитанские

песенки, и в Лондоне, и в Чикаго, и в Австралии. И слушают, и ведь как нравится!.. Моряки наши рассказывали: как-то зашли чинить корабль на коралловый остров, где-то на краю света, в Океании, где люди ходят, как в раю, почти голыми, и вдруг услышали свое, родное, волжское — «еще разик, еще разок»... Услышали Шаляпина, то есть пластинку, конечно. Русскую песню пронести через весь мир, да еще со славой — это мог только Федор, только русский гений. Вот она — сила искусства.

Но как ни любил Горький Шаляпина как артиста-художника, он был суров к нему как к человеку и, когда это было нужно, говорил этому самолюбивому человеку правду и корил его в глаза. И, конечно, не прощал ему того, что у гениального русского певца не нашлось силы воли, чтобы порвать со всем чуждым ему там, за рубежом, и вернуться на родину. ⟨...⟩

Уезжая из Италии, Горький простился с Неаполем. Он любил итальянский народ, и он отделял его от шайки головорезов и авантюристов, от итальянских фашистов и их дуче. И итальянский народ знал и любил Горького. Перед отъездом из Неаполя (он навсегда покидал Италию) Алексей Максимович в последний раз посетил неаполитанский Национальный музей. В последний раз он глядел на Бахуса — творение Рибейры, на античную статую Диониса из Помпеи. Сторожа и хранители музея, такие же древние, как античные фавны, которых они охраняли, проводили до дверей сеньора Горького, великого ценителя искусства древних, и он был взволнован этим прощанием. Приподняв широкополую шляпу, он отвечал на поклоны. Они вышли на подъезд и стояли с обнаженными головами — это была молчаливая манифестация в фашистском Неаполе в честь великого советского писателя. ⟨...⟩

Б. Е. ЗАХАВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РЕЖИССЕРА

Художник, переживший радость личного общения с А. М. Горьким, не может не хранить в сердце в течение всей своей последующей жизни чувства безграничной благодарности к великому писателю. Как похвалы А. М. Горького, так и его порицания, подчас суровые и даже жестокие,— благодетельно жестокие, я бы сказал,— всегда были проникнуты идейной принципиальностью, непримиримостью борца за высокую правду истинного искусства. Они глубоко западали в душу и оставляли неизгладимый след.

На мою долю выпало счастье выслушать из уст А. М. Горького и одобрения, и порицания.

Ни того, ни другого я никогда не забуду. Это было весной 1932 года. Автомобиль мчал меня с группой товарищей-вахтанговцев по Можайскому шоссе. Я ехал к А. М. Горькому, чтобы изложить ему свой план постановки «Егора Булычова».

Алексей Максимович, стоя на крыльце, радушно приветствовал нас. Мы вошли в дом и уселись вокруг большого круглого стола.

Я чувствовал на себе внимательный взгляд Алексея Максимовича. Я видел, как он время от времени менял папиросу в мундштуке, глубоко затягивался и молча слушал. Я кончил и с трепетом стал ожидать приговора.

— Ну что ж,— сказал Алексей Максимович после небольшой паузы, которая показалась мне вечностью.— Я думаю, у вас хорошо получится. Вы много поработали.

После того как я изложил Алексею Максимовичу свой план постановки «Егора Булычова» и приступил к работе с актерами, Алексей Максимович уехал за границу, и я

больше с ним не общался вплоть до генеральной репетиции [1].

Трудно описать то волнение, которое я и все актеры испытывали перед генеральной репетицией, на которой должен был присутствовать автор. Это волнение нетрудно понять, если учесть все то, что мы сделали с пьесой: мы разделили акты на эпизоды, перемонтировали текст, в результате чего отдельные куски из одного акта попали в другой, сочинили пролог, вмонтировали в текст пьесы чтение газет, стихов и т. п., кое-где осмелились даже — страшно подумать! — вставить в горьковский текст реплики нашего собственного сочинения. Все это, не считая чисто театральных моментов, всякого рода режиссерских и актерских красок, вроде булычовской пляски под граммофон, которые вовсе не были предусмотрены авторскими ремарками и целиком являлись изобретениями театра. Неизвестно было, как ко всему этому отнесется Горький. Не оскорбится ли он? Не вызовут ли наши вольности его негодования и гнева? Не потребует ли он изъятия из спектакля всех этих режиссерских интерполяций и актерских приспособлений как праздных домыслов и ухищрений? Правда, нам казалось, что все наши изобретения направлены к одной-единственной цели — возможно глубже, ярче и выразительней раскрыть смысл каждого куска, каждой сцены и всей пьесы в целом. Но вместе с тем бывали минуты, когда нами овладевали мучительные сомнения: может быть, нам только кажется, что мы при помощи наших театральных средств достигаем положительных результатов, а на самом деле мы только искажаем, извращаем, уродуем создание величайшего писателя нашей эпохи. Не о нас ли сказал Пушкин:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит? [2]

Дерзание или дерзость? Творческая смелость или наглость? Мы прекрасно понимали, что между тем и другим — огромная разница. И в чем она? И кто мы такие: легкомысленные озорники, дерзкие нахалы или художники, по праву вступившие в творческое сотрудничество с великим писателем? Ответ на эти вопросы мы могли получить только у самого автора. И мы его получили: Горький принял спектакль и одобрил почти все, что мы сделали.

Уже в первом антракте стало ясно, что спектакль ему нравится. Но меня это мало успокоило: авторская редакция первого акта претерпела сравнительно немного изменений. Правда, сочиненный нами пролог (чтение отрывков из газет на просцениуме) Горький принял, и это меня радовало. Однако самое главное было впереди.

Начался второй акт. Я сидел за режиссерским столиком рядом с Горьким и время от времени искоса на него поглядывал. Видно было, что ему нравится. Но вот началась сцена Булычова с игуменьей. Щукин подошел к граммофону и пустил завод. Продолжая разговор, он начал слегка приплясывать. На лице Алексея Максимовича отразилось беспокойство. У меня сердце упало. «Не примет, ни за что не примет!» — думал я. Щукин — Булычов тем временем, лихо подбоченясь и ухая, боком пошел на игуменью и вдруг пустился вприсядку. «Нельзя, нельзя,— взволнованно и сердито зашептал Горький.— Этого нельзя, это вы уберите, он же больной!» «Все кончено!» — подумал я. Но в это время Щукин, удерживая стон, схватился рукой за правый бок. Казалось, что Булычов напрягает всю свою волю, чтобы не зарычать от боли. «Ах, так,— сказал Горький,— ну, тогда ничего, тогда можно». Я облегченно вздохнул, а сидевшая в зале немногочисленная публика разразилась бурными аплодисментами. «Это, конечно, озорство,— прибавил Горький,— но это хорошее озорство, допустимое».

Дальше все пошло гладко. Алексей Максимович много смеялся и хвалил актеров. Особенно ему понравилась сцена с трубачом.

Когда репетиция кончилась, присутствовавшие собрались в кабинете директора театра для беседы. Всем было интересно, что скажет Горький.

Алексей Максимович начал с мелких замечаний и поправок, а затем, подойдя к оценке спектакля в целом, сказал следующее: *

«Я должен товарищей артистов поблагодарить. Я говорю совершенно искренно — играют очень хорошо. Все играют хорошо, за некоторыми мелкими поправками, о которых я уже сказал. Отвлекаясь от того факта, что я — автор, — как зритель, могу сказать, что интересно у вас вышло, публика будет смеяться, а это — очень важно.

* Цитирую по стенограмме, опубликованной в газете «Вахтанговец» 26 октября 1937 года, № 16 (32). *(Примеч. Б. Е. Захавы.)*

Я приятно удивлен всем, что театр сам привнес от себя в эту пьесу,— прибавил Горький.— Мне кажется, что такая форма сотрудничества театра и автора в высшей степени ценна и сама по себе, и особенно для нашего времени. Сейчас опытный театр должен помогать неопытному молодому автору, и если вы сумели помочь в этом старому автору, который, надо предполагать, в этом «собаку съел», то тем более вы должны остановиться па этом приеме и применять это к авторам молодым. Вы этим можете сделать большую и ценную работу. У театра есть все данные для этого... Этот прием сотрудничества с автором в высшей степени интересное дело, и тем молодым авторам, которые будут задираться, вы можете сказать: «Вот мы старика Горького дорабатывали, так что вам, ребята, не следовало бы «задаваться на макароны»...»

В частности, о прологе Горький сказал: «Пролог — чтение газет — отличный. Его можно поставить в заслугу театру, как прием сотрудничества актера с автором».

О пляске Булычова было сказано так: «Это тоже ваша заслуга перед публикой, ибо этой пляской вы украсили пьесу, подчеркнули характер Булычова». Однако Горький отметил, что Булычов «пляшет чересчур много для больного человека, а вприсядку ему, больному, трудно», и при этом дал совет: «Не надо, чтобы граммофон заряжал Булычов (у нас Булычов сам клал пластинку, заводил и пускал завод.— *Б. З.*). Для пляски пускай он случайно ткнет пальцем, музыка заиграла, и он пошел плясать. Надо, чтобы пляска получилась случайно, не была заранее обдумана, а так: подошел, ткнул, заиграла — пляшет!» И прибавил: «Это смешная сцена». Эти замечания Горького, разумеется, были приняты нами во внимание и в дальнейшем реализованы.

Итак, Горький принял спектакль. Он не только почти ничего не опротестовал из того, что театр «привнес от себя», но признал принципиально правильным самый метод работы театра, одобрил его творческую инициативу, его установку на подчеркивание средствами театра того, что дано в драматургическом материале.

Однако, несмотря на то, что Горький одобрил и самый метод, и его практическое использование в данном спектакле, кое-что все же вызвало весьма резкие возражения с его стороны как в самом спектакле, так и в первоначальном режиссерском замысле.

Еще когда я докладывал ему свой план постановки, он отказался санкционировать два момента.

Первый момент заключался в следующем. Одну из мизансцен второго акта я решил построить вокруг ломберного стола; действующие лица должны были вести диалог, играя в карты. Эта мысль понравилась Горькому. Но когда я сказал, что ломберный стол я хочу поставить под иконами, он немедленно возразил: «Нет, нет, этого нельзя! Под иконами они играть в карты не станут. Неправдоподобно». И мне сразу же стало стыдно. И устыдился я вовсе не того, что я погрешил против бытовой правды,— я мог просто не знать, что купцы под иконами в карты не играют. Нет, зачем я пошел по пути дешевой аллегории? — вот что заставило меня внутренне покраснеть. Картежная игра под иконами! Мне казалось, что это будет выглядеть символично. Вздор! Грош цена этому «символу»!

Но, боже мой, сколько таких выдумок пришлось мне видеть на сцене наших театров! Вместо глубокого раскрытия образа изнутри — внешнее обозначение: вместо живой реалистической характеристики — примитивная символика.

Вот второй момент, вызвавший возражения Горького.

Мне казалось весьма существенным сразу же сделать понятным зрителю, в какой исторической обстановке происходит действие пьесы. Так как из текста ясно, что Булычов в первом акте приезжает из лазарета для раненых, я решил построить небольшой пролог, в котором было бы показано, как Булычов, в сопровождении врача и попа Павлина, осматривает лазарет. Сюда могли бы быть перенесены слова Булычова: «Народу перепортили столько, что страшно глядеть. Куда теперь этот народ?» Мне казалось, что таким путем можно было сразу ввести зрителя в обстановку первой мировой войны, чтобы он под этим углом зрения уже с самого начала воспринимал все, что происходит в пьесе.

Но Алексей Максимович решительно воспротивился этому, назвав мой замысел «прыжком за пределы действительности, изображаемой в пьесе». Вот тогда-то и созрел в моей фантазии новый вариант пролога с чтением газет, который впоследствии понравился Горькому. Этот новый пролог, в сущности говоря, разрешал ту же задачу — ввести зрителя в социально-историческую обстановку, в условиях которой разворачивается действие пьесы, но на этот раз эта задача разрешалась без выхода «за пределы

действительности, изображенной в пьесе». И я понял раз навсегда, что режиссер должен стремиться показать действительность, находящуюся за пределами пьесы, не иначе как *через* ту действительность, которая дана в самой пьесе. Если назвать то, что происходит в пьесе, «малым миром», а то, что происходит за ее пределами, «большим миром», то можно сказать так: малый мир должен быть показан как отражение большого. Тогда работа режиссера будет идти не вширь, а вглубь, тогда психология действующих лиц будет раскрываться как выражение глубочайших общественно-политических процессов и потребует тщательной и углубленной разработки.

Так, мимоходом сказанные критические замечания Горького заставили меня многое продумать и пересмотреть в своих творческих установках.

Но еще большее значение имели для меня замечания Горького, сделанные им после генеральной репетиции. Здесь опять-таки только два момента вызвали с его стороны протест.

Первый момент — финал 2-го акта. Мне хотелось довести его до степени широкого обобщения, сообщить ему силу звучания, выходящую за пределы быта, найти средства для мощного воздействия на зрительный зал. Для этого я решил реально звучащую на сцене трубу пожарного подкрепить дикими звуками оркестра, чтобы действительно создать впечатление «светопреставления» или «конца мира». Этот небольшой музыкальный номер был оркестрован с участием самых разнообразных инструментов, как медных, так и деревянных.

Не возражая в принципе против поставленной режиссерской задачи, Горький предложил изменить средства ее осуществления. «Я против оркестра,— сказал он,— лучше, чтоб были одни трубы. Дайте два геликона, ну — три. Высокие трубы не дают впечатления рева». И еще, помнится, он предложил, чтоб дополнительные трубы, призванные подкреплять и усиливать трубу пожарного, были помещены не в оркестре, а сбоку, за кулисами,— ему хотелось, чтобы у зрителя создавалась иллюзия, что это труба пожарного издает такой дикий рев. Иначе говоря, он соглашался, чтобы нужное впечатление было усилено, но возражал против подмены одного впечатления другим. Он как бы говорил: пользуйтесь любыми театральными средствами, чтобы правду сделать выразительной, доходчивой, сильно действующей, но не создавайте не-

правды, фальши, ненужной условности, разрушающей веру зрителя в правду художественного вымысла.

Еще более резким, настойчивым и непримиримым был протест Горького против дополнительной сцены, которую я ввел в конце спектакля. Заключалась она в следующем.

Когда на отчаянный крик мечущегося в предсмертном страхе Егора сбегаются все домочадцы и уводят Булычова в его кабинет, на сцене начинаются приготовления к соборованию умирающего. Появляется поп Павлин с дьяконом (персонаж, введенный режиссурой), они на ходу поспешно облачаются в церковные одежды и проходят в комнату Егора. В дверях собираются все домочадцы. В руках у них горят церковные свечи. «Паки и паки миром господу помолимся»,— слышится возглас дьякона. Тоненьким голосом отвечает Таисья: «Гос-по-ди, по-ми-и-илуй...» Начинается церковная служба. А за окнами слышится песня приближающейся толпы демонстрантов. Некоторое время церковное пение конкурирует с звучащей на улице «Марсельезой». Но вот «Марсельеза» нарастает все громче и громче, и, наконец, вступает оркестр. В его звуках тонут церковные песнопения. Шурка взбегает по лестнице на чердак, распахивает окно, ворвавшийся ветер развевает ее волосы. Победно звучит музыка революционного гимна. Занавес.

Изобретенная мною сцена соборования умирающего Булычова, или, как мы ее называли, «сцена с попами», получила весьма положительную оценку в коллективе театра. Понравилась она также и зрителям, присутствовавшим на генеральной репетиции. Финал спектакля вызвал бурные аплодисменты. Единственным зрителем, который восстал против этой сцены, был автор.

«Панихиду не нужно,— сказал он сердито.— Ее нужно выкинуть. Сразу — оркестр за сценой и Шура у окна.— И прибавил: — Это совершенно неожиданная штука, и она не умещается у меня. Это вы уберите. Это вы плохо придумали».

Участники совещания пытались возражать Горькому,— всем было жалко расстаться со сценой, которая произвела на всех такое сильное впечатление. Люди недоумевали: почему Горький вооружился именно против этой сцены?

Вопрос несколько прояснился, когда Алексей Максимович заявил, что Булычов в этой пьесе не умирает. «Это еще не смерть, это только сильный приступ болезни»,— говорил Горький. Умереть Булычов должен был по его

замыслу *между* первой и второй частями задуманной трилогии (то есть между «Булычовым» и «Достигаевым»), в то время как введенная мною «сцена с попами» воспринималась зрителем как панихида, и таким образом создавалось впечатление, что Булычов уже умер.

— Это не панихида, а соборование,— пытался я возразить.

— Но до зрителя доходит как панихида,— настаивал Горький.

Нужно сказать, что я тогда не очень понимал, почему Горький не хочет, чтобы публика подумала, что Булычов уже умер. Раз он обречен на смерть, то почему он должен умереть непременно *между* пьесами? Его смерть казалась мне совершенно естественным и закономерным завершением именно данной пьесы.

Однако я не стал спорить. Вместе с другими я искал решение, которое дало бы возможность сохранить дорогую для меня сцену и в то же время сделало бы для зрителя ясным, что Булычов еще жив. Под дружным натиском всех участников беседы и сам Горький в конце концов поддался общему настроению и стал вместе с нами искать такое решение. Он заявил, что если бы попы явились соборовать Булычова, он бы их непременно выгнал.

— Вот и хорошо! — обрадовался я.— Дайте, Алексей Максимович, слова, с которыми он их выгоняет.

— Какие же слова? «Вон! К черту! К дьяволу! В яму!»

— Отлично! Так и сделаем.

На другой же день была назначена репетиция, и я перестроил сцену следующим образом.

В разгар соборования в кабинете раздавался крик Булычова: «Вон! К черту!» и т. д. Испуганные попы, подобрав полы своих риз, сопровождаемые дружным хохотом зрительного зала, пробегали через сцену. Вслед им из двери кабинета летели подушки, кадило дьякона и другие предметы. Все в ужасе разбегались. Наконец, появлялся на сцену и сам Булычов. Он падал на колени, рычал от боли и звал: «Шурка! Шурка!» За окнами гремела «Марсельеза», и, пока Булычов корчился на полу от боли, Шурка наверху приветствовала идущую на улице демонстрацию.

В таком виде финал с огромным успехом был сыгран на премьере. Горький не протестовал. Казалось, вопрос разрешился к общему удовольствию.

Но не тут-то было! Через некоторое время Горький снова пришел на спектакль, а на другой день мы получили его

категорическое требование снять «сцену с попами». Все недоумевали, а я был в совершенном отчаянии. Однако не подчиниться было нельзя, и финал был перестроен точно по тексту.

Нужно было быть Горьким, чтобы, несмотря на единодушную защиту сделанного мною финала всеми участниками совещания, несмотря на бурный успех этого финала у публики, несмотря на сопротивление коллектива театра и режиссуры, все-таки настоять на его ликвидации.

Но почему же Горький был так настойчив? Да потому, что предложенный мною финал был *неверен по существу*. Финал призван завершить тему пьесы. А мой финал не завершал ее, а затемнял, уводил внимание зрителя в сторону от основной темы. Носителем основной темы в этой пьесе является образ Булычова, а я снимал с него внимание зрителя и при помощи сильно действующих средств (попы, церковный ритуал, горящие свечи и т. п.) переводил интерес зрителя на такие вещи, которые прямого отношения к основный теме не имеют.

Нельзя сказать, что введенная мною сцена не имела никакого смысла. Смысл ее заключался в противопоставлении мрачной, удушливой атмосферы умирания внутри булычовского дома победоносному голосу жизни, который звучал в революционных песнях идущей на улице демонстрации. Но этот смысл не связывался с основной темой пьесы и не завершал эту тему. Получалось: «Булычов умер — ну и бог с ним! Жизнь все-таки торжествует». А Горький не мог, не хотел сказать о Булычове: «Ну и бог с ним!» Поэтому-то Булычов у Горького и не умирает до самого конца пьесы.

Слушая доносящееся с улицы пение, Булычов спрашивает: «Что это? Панихида... опять отпевают!» Революционный гимн звучит для него *как* панихида. В этом есть глубокий смысл. Я же устроил на сцене *просто* церковную панихиду.

Вот Шура распахнула окно. Она вся там, на улице. Она рвется к жизни. А Булычов всем своим существом тянется к ней, к Шурке. Старый мир умер, ему на улице поют отходную, но Булычов еще жив, он не сдается, он борется, он не хочет умирать. Так кончает Горький свою пьесу о большом, сильном, прекрасном человеке, который «не на той улице» прожил свою жизнь.

Мой финал, как было сказано, имел два варианта: первый — мрачный, а второй — с большим количеством юмо-

ра (бегство попов). Они оба были внешне эффектными, яркими и театральными, но по существу они были примитивными: они не завершали тему пьесы, а грубо расправлялись с ней,— они не оставляли места для размышлений. Совсем другое дело у Горького. Горьковский финал, внешне гораздо более скромный, заставляет зрителя задуматься, вызывает в нем потребность разобраться, понять, осмыслить. Правда, человек, чувствующий потребность в размышлении, не очень бывает расположен аплодировать, вызывать артистов, выражать свои восторги. Но Горькому это и не нужно. Ему нужен успех по существу, а не овации зрительного зала.

Так я учился у Горького отказываться от успеха, добываемого не слишком дорогой ценой. ⟨...⟩

И. С. ШКАПА

СЕМЬ ЛЕТ С ГОРЬКИМ

Воспоминания

⟨...⟩ Как сейчас помню солнечное утро в воскресенье 29 июля [1]. Секретарь Горького еще в субботу предупредил о желании Алексея Максимовича поговорить в неслужебной обстановке.

По широкой лестнице я поднялся на четвертый этаж старого московского дома в Машковом переулке и остановился перед дверью с большой цифрой «№ 16». Да, за этой дверью был он, Максим Горький. Я уже не раз его видел, около восьми месяцев работал, переписывался, но так складывалось, что настоящего знакомства с ним еще не было.

Дверь открыл Крючков. Поблескивая оправой пенсне, он шутливо упрекнул:

— Опоздали ровно на четыре минуты, я проиграл пари Алексею Максимовичу! Проходите!

...В просторной комнате, заставленной полками с книгами и статуэтками, из-за стола поднялся он — высокий, чуть сутулящийся, в темно-сером костюме. Из-под густых каштановых бровей на меня приветливо смотрели небольшие, немного прищуренные глаза — серые, с голубоватой искрой. Пышные рыжевато-темные усы были прокурены. Хорошо выбритое, загорелое лицо казалось усталым. Складки кожи на щеках, туго обтянутые скулы еще более подчеркивали печать глубокого, я бы сказал — болезненного, утомления. Темные с проседью волосы ежиком над морщинистым лбом свидетельствовали о том же: передо мною стоял не старый, но не очень здоровый человек.

— Здравствуйте, здравствуйте! — заговорил он глуховатым басом.— Вот мы и встретились! Садитесь!

Горький рассматривал меня с какой-то хитроватой улыбкой.

— А я ведь когда-то,—продолжал он,—принял вас по письму за женщину!.. Шкапа! Что это за фамилия?..

Не успев закончить фразу, Горький вдруг закашлялся. Из его груди исходили глухие, бухающие звуки. Приложив платок к губам, он судорожно сотрясался всем телом, словно в груди его взрывались пороховые заряды. То наклоняясь, то выпрямляясь, он старался прогнать кашель. Лицо его покраснело, глаза увлажнились. Слеза, сверкнув на ресницах, покатилась по щеке и спряталась в усах.

Но вот он выпрямился, глубоко вздохнул. Посмотрел на Крючкова и на меня:

— Не пугайтесь!.. Мучитель приходит и уходит... Как, впрочем, и все в нашем мире! Все проходит!

Эти слова с нажимом на «о» прозвучали грустно, даже печально: от времени и от себя, мол, никуда не убежишь!

Мы заговорили. Он выспрашивал меня с какой-то дотошливостью. Заставил рассказать о моей жизни, задавал вопросы, останавливаясь на некоторых моментах из прошлого. Охотно, как отцу и другу, я поведал ему о трех десятилетиях, прожитых мною.

Особенно интересовала его коллективизация деревни. Куда и как она пойдет? Как встречает многоликое крестьянство эту коренную ломку жизни? Не грозят ли нам, Советской власти, неожиданности экономического и политического свойства? С охотой ли берутся за труд? Какова активность кулачества в борьбе с новыми формами жизни?

Беседа затянулась на несколько часов. Кашель не раз прерывал наш разговор. Тогда Горький закуривал, и я заметил, что курит он не затягиваясь, но довольно часто, всегда вкладывая в мундштук кусочек ватки. Крючков несколько раз брал его руку с папиросой и не давал спичек.

— Алексей Максимович,— говорил Крючков мягко, но настойчиво,— норма давно кончилась!

И тогда Горький, держа мундштук, жаловался:

— Как вам это нравится?! В куреве и то ограничивают! Что же дальше будет?

Пришел я в десять часов, время близилось к часу, а хозяин находил новые темы для разговора. ⟨...⟩

Он заговорил о Пушкине:

— Вот в чьей крови был огонь, вот у кого кипели страсти! И не слепые страсти, а социальные, полные благородных устремлений. Страсти гения!.. Как вы думаете, почему Пушкин находил упоение в бою? Почему считал, что все грозящее гибелью «для сердца смертного таит неизъяс-

нимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог»? [2] ⟨...⟩

— Думаю,— продолжал Горький,— что в этих строчках — целая философия активности и бесстрашия... Только людям высокого сознания, любящим жизнь и готовым за нее стоять, доступна радость борьбы во имя благородной цели. Тот, кто боится тараканьего шороха, этих строчек никогда не поймет. Разве вы из оной категории? — Горький спрашивал и широко улыбался.

— Но об этом Пушкин не говорит! Это ваше истолкование! — возразил Урицкий.

— Что же, выходит, он призывает к борьбе ради борьбы?! — спросил Горький.

— Не ясно мне! — стоял на своем Урицкий.

— А мне вот ясно! Не к озорству зовет он. На эшафоты идут не ради славы, не ради достижения личной цели, идут, как принято выражаться, за идею. За други своя! Пушкин утверждает: героя, не дрогнувшего при встрече со смертью, ждет бессмертие в народной памяти. Я в этом вижу мудрое проникновение в самые глубокие движения души. ⟨...⟩

Казалось, Горький весь отдался мыслям о Пушкине. Он говорил о его маленьких трагедиях как о шедеврах, каждая из которых полна ярких образов, столкновений характеров и глубоких мыслей. Он назвал Пушкина проникновеннейшим психологом, человековедцем, универсальным гением. Он остановился на «Скупом рыцаре», на «Моцарте и Сальери». Процитировал строчки из второй сцены «Скупого рыцаря».

— Вы послушайте-ка и вдумайтесь:

Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли...
. . . .
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных.

И снова Горький восторженно восклицал:

— Ведь это же отлично сказано!.. Деньги — зло, скупость — безумие, роднящее человека со зверем! Пушкин понимал, что «гений и злодейство две вещи несовместные», и потрясающе глубоко выразил это в «Моцарте и Сальери».

Да, гений и злодейство две вещи несовместные, ибо гений служит коллективу, он не идет дорогой зла! А злодейство — это канонизация себялюбия, заклятый враг коллектива.

Мы слушали Горького, иногда просили истолковать то или иное место. Урицкий не согласился, что гениальные люди не знают злых дорог и всегда служат коллективу. Он сослался на Александра Македонского, Цезаря, Наполеона и подобных им деятелей, которые ради своих выгод немало творили мерзостей. Но Горький стоял на своем.

— Это не гении, а мясники! И даже не очень умные! Гений подлинный всегда благоволит человеку! Он всегда с народом, болеет его нуждами, стоит за народ. А они?.. Честолюбие пожрало их, как змея змеенышей... Если хотите, перефразирую Гоголя: они гении, но с другой стороны... Они — гении зла! Не прав Чезаре Ломброзо, утверждая, что гениальность — это безумие [3]. Додумался, путаник! Гениальность — это высота, где разум на грани всемогущества. Гете ближе к истине, утверждая, что здравый смысл есть подлинный гений человечества!

Слушая Горького, я ощущал какую-то неизъяснимую радость. Захватывали взлеты его мысли, переходы от одного предмета к другому. Казалось, он вел нас по лабиринтам знания со светильником своей памяти. Реплики и некоторые возражения Урицкого еще больше возбуждали Горького. Он приводил примеры, высказывал соображения, спрашивал:

— Кто бесспорно гениален? Человечество не бедно светлыми головами... Ньютон, Пастер, Эйнштейн, Маркс, Ленин... Люди разных эпох, разных темпераментов, но их роднит одно: они прокладывают новые пути человечеству. Они народны, ибо служат простым людям. А гении-мясники? Они мастера разбоя! «Гениальные полководцы» в конечном счете деспоты. Свое величие они строят на костях народных. От плодов своего грабежа они уделяют куски своему окружению, растлевают, оболванивают людей, превращают их в рабов и лакеев.

С глубокой убежденностью, с презрением он говорил о «гениях с другой стороны». Подобные деятели, по его словам, тоже остаются в памяти народной, но как воплощение зла, звериного начала, которое особенно ярко выражено в образе евангельского Ирода Идумеянина, истребившего тысячи детей в надежде убить одного младенца-мессию [4]. (...)

И Горький снова обратился к Пушкину. Он не допу-

скал и мысли, что вечно живой поэт чего-то недодумал, что-то извратил или затемнил. Могучий ум и благородное сердце позволили Пушкину, по мнению Горького, достичь поэтических высот и дали силу как никому больше «глаголом жечь сердца людей» [5]. 〈...〉

Мне запомнились слова Горького об Октябре. Полагаю, что причиной этого была та ясность и простота, с которой они были сказаны.

— Видите ли,— говорил Алексей Максимович,— я человек, и ничто человеческое мне не чуждо! Будем ошибаться, но будем, осознав сие, исправлять ошибку. Да, я недооценил зрелость пролетариата и революционные возможности крестьянства. Это, быть может, следствие вынужденного отрыва от родной земли, кое-что недосмотрел! Я не политик! Только Ленин мог все видеть и верно оценивать. Но ведь он—гений, он творец событий!.. Я просмотрел огромную работу партии по пробуждению сознания масс. Недоучел влияния войны, которая смыла с мужика коросту старых предрассудков и раскрыла глаза. Я боялся, что озлобленная деревенщина в солдатских шинелях сметет пролетарские островки в революции. Боялся анархии, которая столкнет революцию в топкое болото гибели. Боялся! Ничего не попишешь!

Горький курил в этот раз чаще обычного. Я смотрел на Крючкова, ожидая, что он помешает ему закурить очередную папиросу. Но Крючков был как-то растерян и не смел вмешиваться в беседу, тем более что кашель почти не мешал Алексею Максимовичу. Он курил не затягиваясь, немного помолчал, потом продолжал свои мысли вслух:

— Да, так было: ожидал я страхов! Но Ленин, партия спасли и углубили революцию. Кстати, ошибся не только я... С треском падали устои старого мира. Многих, которые, как и я, хотели победы социалистической революции, этот треск испугал. Да, испугал!.. Конечно, это горькое утешение, тем более для Горького!

Алексей Максимович рассмеялся неожиданной игре слов.

— Теперь всем ясно,— продолжал он,— что Ленин и его партия были правы на всех этапах борьбы. И получилось: если Петр Первый прорубил для России окно в Европу, то Ленин в Октябре прорубил окно в социалистическое будущее для всего человечества. И выстрел

«Авроры» раздался на грани двух эпох: он похоронил прошлое и приветствовал грядущее.

Горький говорил о Ленине, который неопровержимо доказал правоту Марксовой теории о том, что лишь под руководством пролетариата будет произведена передвижка жизни с трех старых китов — частной собственности, зависти и жадности—на новые основы бесклассового общества.

— Но не понимают еще многие, какой это крутой поворот! И в какую чудесную эпоху вступило человечество! И мы с вами! — воскликнул Алексей Максимович, откинувшись на спинку стула.

Опять установилась небольшая пауза. В фужерах оставалось невыпитым вино. Кошенков, Барков и я радовались беседе и ее непринужденному характеру.

Временами мне казалось, что Горький, беседуя с нами, на самом деле говорит с самим собой. По крайней мере, в иные минуты чувствовалось, что он «ушел в себя». Но вот Горький тряхнул головой, будто вспомнилось ему что-то новое. С некоторым раздумьем продолжал:

— Да, десять дней Октября поистине потрясли мир! Хорошо об этом написал Джон Рид [6]. Правдиво! Его книга — образец оперативной работы художника!.. Интересный это был человек. Умирая, он просил сжечь его тело и развеять пепел с аэроплана! Не послушались — похоронили на Красной площади... А в сущности — почему не уважили: умер человек, и пусть памятью о нем будут его дела, а не камни надгробий!

И он снова заговорил об Октябре, назвав его самой яркой вехой на путях мировой истории. Ни христианство, ни эпоха Ренессанса, ни 1789 год во Франции [7], по его словам, не могут сравниться с тем, что сделано нашим народом в семнадцатом году! ⟨...⟩

Горький владел нашим вниманием. Начав говорить о прошлом, он перешел к будущему. Его слова об Октябре были прославлением торжества угнетенных над угнетателями. Нового «владыку мира» — труд [8] — Горький отождествлял с победой разума, который поведет человечество вперед и утвердит на земле равенство, даст людям подлинное счастье и свободу. ⟨...⟩

Сахаров нерешительно напомнил:

— Хотелось узнать о таланте! Мы просили там,— он указал на записку.

Горький поднял вопросник Сахарова, прочел, положил перед собой.

— Прошу извинить — упустил... Во врожденную талантливость плохо верю. Я тут — еретик! Говорят — оратором, ученым можно сделаться, поэтом надо родиться. Но говорят и другое: дал бог талант, но не дал бог разума! Талантом — дарованием — обычно называют известное предрасположение, склонность к тому или иному роду деятельности. Но если эту склонность не развивать, она заглохнет и пропадет. Пушкин рос в обстановке, где материальный достаток позволял таланту расти, где стихами был пропитан воздух. Не будь этого, мы не имели бы Пушкина. Паганини, сей виртуоз музыкального искусства, жил в семье, где с колыбели скрипка звучала в ушах ребенка, где она была кормилицей. О Толстом и других талантах и говорить нечего. Они вырастали в благоприятной среде. Кто сомневается, что в народе погибли не один Пушкин, Паганини и Толстой? Судьба Кольцова, Слепушкина, Полежаева — разве не доказательство этого? Чтобы предрасположение к литературному труду расцвело, нужна среда, соответствующие возможности и огромный труд. Вы знаете, что Пушкин, Паганини и прочие работали неустанно... Словно кнут надсмотрщика висел над ними! Вот знатоки пушкинских текстов утверждают, что иные строфы он переделывал по десять, двенадцать раз. А Паганини с детских лет не выпускал смычка из рук. Даже в дороге тренировал слух и пальцы!..

Горький на мгновение остановился, чуть сузил глаза, задумался.

— Талант... Наитие! — повторял он с иронией в голосе.— Утверждают, что недавно умерший Эдисон, улучшая свечу Яблочкова, вот эту самую,— Горький указал глазами на люстру под потолком,— искал по всему свету материал для нитей накаливания. И нашел, произведя для этого свыше десяти тысяч опытов! Вот оно, вдохновение! И писатели ничем не отличны от изобретателей... Примеряйте, проверяйте, взвешивайте каждое слово, фразу и — вы найдете нужный словесный сплав. Ищите и обрящете!.. Да! Этот самый Эдисон, гений-изобретатель, сказал: «Гений — это один процент уменья и девяносто девять процентов потенья». Хорошо сказал! Утверждаю: талант литератора — результат любви к труду и неустанной тренировки. И Чехов, бесспорный

талант, до конца жизни мечтал о том, чтобы *учиться* писать талантливо.

Словно проверяя доходчивость своих слов, Горький вглядывался в лица слушателей. Соболев и Сахаров переговаривались шепотом, Бобрышев улыбался и мотал головой. Горький что-то ответил наклонившемуся к нему Крючкову и вдруг спросил:

— Гоголь, Лермонтов, Толстой талантливы?

— Еще бы! — ответили сразу несколько голосов.

— Так вот, над «Мертвыми душами» Гоголь потел десять лет и, по авторитетному свидетельству, переписал их десять раз, пока не превратил в «перл создания», как он любил выражаться,— говорю о первом томе. «Демон» Лермонтова имеет едва ли не девять редакций. Есть места, которые сохранили тринадцать разночтений! Лермонтов переделывал поэму до самой смерти. Четыре тома «Войны и мира» Толстой переписывал четыре раза собственноручно...[9]

— Семь раз! Я читал об этом! — выкрикнул кто-то.

— Отлично — семь раз! — согласился Горький.— «Воскресение» знает шесть редакций. Чтобы написать семь листов «Хаджи Мурата», Толстой прочитал вагон литературы и работал над его текстом многие годы... Поинтересуйтесь-ка первыми редакциями многих общепризнанных произведений! Они и рыхлы, и бледны! Но, сдобренные трудом, заиграли красками. Один вояка утверждал, что бог всегда на стороне более многочисленных батальонов. Я бы сказал: талант всегда любит тех, кто любит труд! На труде он вырастает, как тесто на опаре.

Соболев не усидел на месте. Он попросил дать слово. Получив его, заявил, что очень любит Маяковского, что Маяковский говорит о литературном труде то же, что «и вы, Алексей Максимович».

— Вот послушайте!—И Соболев немного нараспев продекламировал:

Поэзия
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
тысячи тонн словесной руды [10].

Горький подхватил:

— Вот именно: «Единого слова ради, тысячи тонн!» И «в грамм добыча, в год труды...». Конечно, понимаете,

подобное не только в поэзии, но и в прозе... Присоединяю свой голос к тому, кто сказал: «Литературу делают волы!» Волы, а не стрекозы! И посему еще раз: талант — это труд! ⟨...⟩

24 июня Иван Кошенков показал Горькому небольшой листок — «молнию», выпущенную московской газетой «За коллективизацию». Листок был посвящен встрече Героя СССР товарища Молокова [11]. Горький взял «молнию» в руки, начал рассматривать семейную фотографию Молоковых. В центре ее, положив ладони на колени, сидела мать Героя — в платке и крестьянском сарафане, женщина лет за пятьдесят. Медленно, словно диктуя, Горький прочел:

— «Дом семьи Молоковых... Привет моему сыну-герою. Если Ленинская партия и Советская власть позовут тебя на защиту родины, я первая скажу: иди, сын, защищай нашу страну так же геройски, как ты спасал челюскинцев. Твоя мать Анна Степановна Молокова».

Горький обратился к Кошенкову:

— Где достали сей листок?

— Прислала газета!

Взглянув на сидевших за столом, Горький продолжал:

— Когда-то в Древней Греции матери, посылая сыновей в бой, подавали им щит и говорили: «С ним или на нем!» Что означало: возвращайся живой — со щитом и победой, или мертвый, но на щите, не как трус и беглец, потерявший честь и оружие... Вряд ли Анна Степановна Молокова знает об этом обычае матерей Спарты, но сказала она не хуже их. Вот вам возрождение древних доблестей — если они были! — на новой основе служения трудовому коллективу. Такой народ непобедим! Плакать будут те, кто посягнет на его мирный труд! ⟨...⟩

Горький заговорил о военных приготовлениях Германии, Японии, Италии, об их претензиях на передел мира.

— Конечно, этой пропаганде войны надо противопоставить в первую очередь силу Советской Армии и Флота... Но надо также разъяснять угрозу фашизма для культуры. Этот зловонный нарыв на теле дряхлеющего мира грозит бедствиями. Ибо самое страшное в фашизме то, что он воспитывает подрастающее поколение в духе безоговороч-

ной преданности фюреру, его команде. Фашизм убивает у молодежи способность к самостоятельному мышлению, к объективной оценке явлений действительности... Оболванивая юношество, он превращает его в автоматов-убийц. Торжество фашизма — это смерть культуры! Уже сегодня он одевает ее в брезентовый мешок, чтобы выбросить за борт. ⟨...⟩

Горький пришел с просмотра кинокартины «Чапаев» [12], поставленной режиссерами Сергеем и Георгием Васильевыми. С ним были Крючков с женой, художник Ракицкий, давнишний друг семьи, и Кошенков. Раздевшись, Горький присел у стола. Его окружили домашние.

В автомашине, по дороге к дому, впечатлениями не делились. Сейчас разговор вращался возле увиденного на экране. Сходились на одном: картина замечательная. Горький слушал молча, временами задумывался. Это заметили и попросили сказать о картине свое мнение. Он продолжал курить и не спешил включиться в беседу. За вечерним столом, когда все выговорились, Горький спросил:

— Интересуетесь,— он повернулся к Ракицкому,— в чем секрет успеха «Чапаева»?

— Да, да! — подтвердил Ракицкий.— Картина отличная! Но в чем ее сила?

Горький ответил:

— Думаю, что успех родился от счастливого сочетания чудесного материала с правильным подходом к нему режиссеров, знающих законы изобразительного искусства.

Он посмотрел в темное окно, добавил:

— Они показали отличное умение применить эти законы.

Ракицкий, обычно молчавший, попросил раскрыть, в чем выразилось это сочетание.

— Имею в виду,— ответил Горький, продолжая смотреть в окно,— исключительно действенную и в сюжетном смысле благодарную фигуру Чапаева как исторического лица. Социальный фон, среда, в которой развертывается содержание, тоже полны движения. Главный герой, его друзья и враги *действуют*, конфликтуют, борются. Душой художественного произведения всегда был и будет конфликт! Не механическое столкновение слепых пешек,

а конфликт, решающий *важнейшие* вопросы бытия героев! Чапаев и чапаевцы страстно хотят жить по-новому. Их враги — «беляки» — хотят жить по-старому, не слезая со спины «серой скотинки». Новое страстно напирает, старое яростно огрызается! В каждом кадре зритель видит это борение сил и страстей, когда на карту поставлены жизни. С первой минуты зритель взволнован: кто победит? Чапаевцы с ясным соколом Василь Ивановичем во главе или черное воронье, возглавленное белым полковником?

Горький умолк было, но Ракицкий и Кошенков не дали ему остановиться. Да и сам он, видимо, хотел говорить о взволновавшей его картине.

— Судьба героя — это главное, что рождает интерес к художественному произведению,— сказал Горький.— Васильевы это поняли. Они обострили конфликты, углубили их. Сблизили, так сказать, враждебные силы... Чапаев и полковник даны крупным планом, ярко освещены. Не скопированы, а типизированы, не сфотографированы, а приподняты, укрупнены. Это дало силу образам. Если хотите, это метод письма — им пользовались режиссеры и сам Фурманов,— метод ясный, без нагромождений. ⟨...⟩

Вечерний разговор, вызванный «Чапаевым», превратился в беседу о киноискусстве. Она закончилась поздно вечером. Таких бесед, возникавших по случаю, а иногда и так, ни с того ни с сего, было немало в доме Горького. Он любил непринужденный разговор. Впрочем, как я замечал, непринужденный внешне, разговор направлялся хозяином и был для него источником новых наблюдений. Мне временами казалось даже — он экспериментировал, проверяя свои выводы, предположения. ⟨...⟩

Дошла очередь до шестого тома Владимира Маяковского. ⟨...⟩

Горький повертывал в руках аккуратный томик, оценивая его оформление. Начал листать, иногда задерживался на страницах и про себя читал ступенчатые строки стихов.

Мы сидели за столом, одновременно радуясь и смущаясь: беседа явно затянулась. Бобрышев и я давно хотели уйти, но видели, что Горький «увяз» в книгах и никуда не спешит,— в противном случае Крючков давно

напомнил бы, что «надо ехать туда, где давно ждут». Вдруг тишину нарушил голос хозяина, читавшего вслух поэму «Владимир Ильич Ленин», примерно с пятой-шестой страницы. Голос Горького гудел:

Неужели
        про Ленина тоже:
«вождь
        милостью божьей»?
Если б
        был он
                царствен и божествен,
я б
    от ярости
                себя не поберег,
я бы
        стал бы
                в перекоре шествий,
поклонениям
                и толпам поперек...

Горький читал медленно, раздельно. Читал страницу за страницей, вдумываясь, как нам казалось, в каждое слово, живописующее образ Ленина, великое горе людей, потерявших вождя. Дойдя до места, где поэт говорит о Ленине как о человеке, он еле слышно произнес:

Он, как вы
            и я,
                совсем такой же,
только,
        может быть,
                        у самых глаз
мысли
        больше нашего
                        морщинят кожей
да насмешливей
                    и тверже губы,
                                чем у нас.

Горький прервал чтение. По лицу бежала слеза волнения. Он смахнул ее носовым платком:

— Простые слова, а уложены... твердо... — говорил он, протирая очки, и снова продолжал листать книгу. Иногда останавливался, повторял некоторые места. Так он прочел вслух строки о партии, о силе коллектива. Казалось, он впервые читает Маяковского.

Не преувеличу, если скажу — Горький восторгался поэмой «Владимир Ильич Ленин». Он считал, что поэт

«вжился в Ленина», понял его дело и душу и рассказал о Ленине по-своему, по-новому.

Заглянув в конец последней страницы, Горький прочел:

Да здравствует Революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

Прочитал, откинулся на спинку кресла, затих. Снова склонился над страницей, произнес:

— Да, да! Слова у него... громоустые!.. Поставил в строй и сказал: «Работайте!» И они работают. И поют, как... медь, зовущая на брань. Густо писал... Мастер.

Он оторвался от книги. Мы вполголоса делились впечатлениями, полные удивления от услышанного. Никто не ожидал, что Горький, воздавая должное Маяковскому, скажет о нем такие слова. Тем более что отношения Горького и Маяковского к концу жизни последнего были довольно прохладными [13]. А сегодня, через четыре с лишним года после смерти поэта, Горький говорил о нем с восхищением.

— В его поэзии мысль и чувство в едином сплаве! Он нашел новые пути, новую форму стиха!

Сказал и снова погрузился в задумчивость.

— Не впервые наша литература теряет людей в расцвете сил! Пушкин, Лермонтов ушли из жизни, не сделав того, что могли. Теперь Маяковский. ⟨...⟩

Вся жизнь Горького — непрерывное внимание к человеку в большом и малом. От дней, когда он вступился в Кандыбовке за женскую честь Горпины Гайченко [14], всю свою жизнь Горький оставался горячим защитником всех угнетенных.

Отношение к детям и молодежи у Горького было преисполнено теплоты и заботы. Оно было чисто ленинское — глубокое, серьезное, постоянное. Горький прекрасно понимал, что социализм победит лишь в том случае, если поколение, совершившее Октябрьскую революцию, подготовит достойную смену себе.

— Только тот строй живет,— говорил он не раз,— на чьей стороне подрастающее поколение. ⟨...⟩

В. МАЯКОВСКIЙ.

Алексею
Максимовичу
Маяковский
со всей [illegible]

ЧЕЛОВѢКЪ.

ВЕЩЬ.

Титульный лист поэмы В. Маяковского «Человек» с автографом

Горький знал Макаренко давно, переписывался с ним, но применение его педагогических методов увидел только в июле 1928 года, посетив колонию под Харьковом, в бывшем Куряжском монастыре [15]. В очерке «По Союзу Советов» («Наши достижения», 1929, № 2) Горький отвел шесть страниц описанию жизни колонии, созданной Макаренко. Он был восхищен достижениями коллектива бывших правонарушителей. Однажды, делясь с сотрудниками журнала впечатлениями от поездки по стране, он сказал:

— Чудесного в жизни встречал немало. Но то, что увидел в Куряжской колонии,— одно из особых чудес... Что там сделано? Из бросового людского материала, обреченного в других условиях на гибель, выращены прекрасные работники, честные люди. И это сделал коллектив под руководством Макаренко. Человек он, конечно, талантливый, но главное, чем он берет: верным подходом к детям, тем, что с ними он не сюсюкает, не гладит по шерстке — он учит их работать, создавать ценности! Я видел: труд буквально возрождает людей к жизни. Он делает ребят коллективистами по «духу», но не обезличивает: каждый из них имеет «свое лицо». Труд их сделал друзьями и братьями: я не видел в колонии проявления мелкой зависти, жадности. Новые люди растут! Разве это не чудо?

Рассказывая об этом, Горький сурово оглядывал всех, кто его слушал, словно искал возражателей, готовый доказывать решающее значение труда для воспитания.

В другой раз он внушал:

— Не говорите с детьми о работе — давайте им работу! В мастерские, на поля ведите школьников. Пусть они научатся брать деталь не кончиками пальцев, а всей рукой, пусть не пугаются коровьего хвоста, не боятся залезть под трактор. Кстати, тут нам надо поучиться у Форда.

И Горький советовал прочесть книги Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения», «Сегодня и завтра».

— Там узнаете, как Генри Форд первый учил своего наследника Генри Форда-второго. Восемнадцатилетнего сына, только что окончившего механический колледж, он загнал под машину и самолично проверил, умеет ли сын разобраться в механизме. Лишь после этого старый Форд доверил наследнику управление детройтским заводом. Откровенно говоря — пример, достойный подражания.

Кто хочет иметь белые руки, умрет от голода и скуки. Воспитателям эту истину надо помнить всечасно! Считаю, что воспитательные идеи Макаренко и их воплощение делают эпоху в педагогической науке!

Мне пришлось побывать с Горьким в Болшевской колонии бывших малолетних правонарушителей [16]. Подростки окружили его, как близкого человека, показывали свои достижения в учебе и самостоятельном труде. Он был взволнован.

— Ух, жарко! — шутил он, вытирая платком увлажненные глаза.

Особенно дорожил он одаренными детьми, переписывался с ними, материально помогал. Была такая девушка-подросток Вера Жакова [17]. Она тянулась к знаниям, к литературному труду, обладая исключительной памятью, умом острым, жадным до книг, до жизни. Горький следил за ее развитием, руководил ее усилиями. Она написала несколько работ о людях прошлого, опубликованных в горьковских изданиях. Несомненно, она ярко проявила бы себя, если бы не преждевременная ее смерть. ⟨...⟩

И Горький внушал нам:

— Если хотите, самое главное в воспитании — выработать у человека инерцию труда, чтобы скучно ему было без дела, чтобы он искал работу.

Путь к этому он видел в тесном сочетании учебы с производительным общественно-полезным трудом.

Однажды полушутя он сказал:

— Мне иногда хочется пойти по стопам Льва Толстого и открыть свою школу — но только не для детей, а для родителей.

Он улыбнулся, сузив хитро глаза и потрогав усы:

— Педагог я, пожалуй, неважный! Разозлился бы на первой лекции и поссорился со своими слушателями. А вообще-то мне очень хочется написать обращение к матерям и сказать в нем...

Он остановился, подойдя к полкам библиотеки, где шла беседа, и стал развивать свою мысль о том, что надо внушить родителям:

— Я бы сказал им так: мы лепим детей своих по образу и подобию своему, а потом пеняем на зеркало, оно, мол, виновато, что показывает их безрукими, большеротыми. И дал бы задушевный совет: любите детей своих не слепой, а разумной любовью, которая сделает их сильными!

Знаю: прижать к груди, сунуть конфетку в рот и сказать: иди погуляй — много легче, чем умело занять ребенка и проследить за его игрой-работой. Вам уже помогают дошкольные учреждения, школа, но и сами вы поступайте как разумные воспитатели нового поколения. Посему — поскорее вытравляйте из себя качества господ Простаковых и господ Обломовых: [18] они «образцово» изуродовали своих чад, убив их для жизни. Помните об этом всечасно! ⟨...⟩ Мы забываем, что без регулярного физического труда, без гимнастики тело и дух вырождаются, гибнут! Наша задача — устранить разрыв между умственным и физическим трудом. Семья и школа должны привить детям вкус к самой обыкновенной физической работе, развить рефлекс труда! Преподавание и воспитание надо так построить, чтобы трудовое начало было таким же элементом в системе воспитания, как хлеб в рационе питания.

Горький не считал серьезными доводы тех, кто утверждает, будто условия жизни в городе не позволяют найти для детей и подростков разумную работу.

— Неправда,— возражал им Горький,— пускай научат детей самообслуживанию, убирать квартиру, двор, покупать продукты, чинить свою одежду, готовить пищу — да мало ли что надо делать в любых условиях... Ведь речь идет о времени, свободном от учебы. Привыкнув, ребенок сам будет искать разумного занятия. А если мать говорит четырнадцатилетней Шурочке: «Иди погуляй, я все сама сделаю», она наверняка не вырастит дочку с золотыми руками и благородным сердцем. Вижу множество примеров подобного рода. ⟨...⟩

Часто мы слышали от него:

— Я старик, иду к финишу и скажу: всю жизнь ощущал полезное действие на себе физических усилий. Моему телу и «духу» они нужны как воздух! Убежден, что девяносто процентов болезней — результат отсутствия регулярной физической работы. Труд создал человека, держит его на земле. Труд не только лучший учитель, он — лучшая школа жизни. Он же — лучший доктор, ограда человека от болезней. ⟨...⟩ Убежден: правильное чередование умственных и физических занятий возродит человечество, сделает его здоровым, долговечным, а жизнь радостной. Вместе с правильным питанием и изгнанием алкоголя из людского быта — это принесет человечеству чудесное преображение! Люди — уверен в том — перестанут страдать от болезней и будут жить до двухсот лет!

Он говорил:

— Пусть родители и школа привьют детям любовь к труду, и они избавят их от лени, непослушания и прочих пороков. Они дадут им в руки самое сильное оружие для жизни. Не растите детей подобно комнатным цветам. Закаляйте их тело и дух на воздухе. И поменьше внушайте детям, что все — для них, что они соль земли, центр вселенной! Это развивает самомнение, развращает! Кормите, берегите, но не делайте себя рабом, а их вашим тираном. Пора понять, что подобный подход к детям создает из них бездельников, черствых эгоистов! Именно от таких деток мамаши потом плачут и волосы рвут на себе, обвиняя, конечно, всех, но не себя. А между тем подобные плоды заботливо выращены самими мамашами.

...На даче в Тессели Алексей Максимович, имея за спиной свыше шестидесяти лет, с больными легкими и сердцем, каждый день убирал территорию парка, ломал камень, жег костры. Вблизи кабинета у него хранился набор столярных и токарных инструментов по обработке дерева. Он чередовал работу с пером у стола с работой у верстака. Он говорил, что в минуты физических усилий в голову приходят «самые неожиданные мысли, рождаются образы, которых никогда не вызовешь, даже гоняясь за ними часами». Он искал и находил работу для рук, ног и спины.

Слова у него не расходились с делом.

Горький считал бесспорной ту мысль, что воспитание может творить чудеса, что человеческий разум может не только воспитывать, но и перевоспитывать. ⟨...⟩

Н. В. ЧЕРТОВА

СТРОГАЯ ШКОЛА

В 1934—1935 годах мне довелось вместе с писателями В. Зазубриным, Н. Замошкиным, Н. Машковцевым участвовать в одном из самых замечательных горьковских начинаний: мы были привлечены для работы в редакции журнала «Колхозник» [1], возглавляемой лично Горьким. Не скрою: радовала и одновременно страшила предстоящая работа.

Алексей Максимович сразу же внушил нам сознание новизны того дела, к которому нас призвали: зарождался *первый* журнал для советского крестьянства, на высоком, без всяких скидок художественном и научном уровне. ⟨...⟩

Сотрудникам «Колхозника» категорически запрещено было высказывать свое мнение на полях рукописи: допускалась лишь едва приметная карандашная точка или галочка, какую в один мах можно стереть резинкой. Обезлички не было — каждую рукопись от первого прочтения до редактирования, утверждаемого Алексеем Максимовичем, и вплоть до выхода журнала в свет вел один литературный сотрудник.

Но зато как строг был Горький, когда речь шла о правке принятого, рабочего экземпляра рукописи! Не прощалась не только неуклюжая или неясно выраженная фраза, но даже и запятая, поставленная не на месте. «Читайте страницу, как молитву, десять раз подряд, вслух читайте!» — не раз говаривал Горький. И, боже мой, каким же исчерканным, перемаранным возвращался от Алексея Максимовича подготовленный нами, безуко-

ризненно перепечатанный и окончательный, как нам казалось, текст. Просмотришь все страницы, прочтешь замечания — выпаришься, как в жарко натопленной бане. И чтобы тебя еще раз не выпарили, или, лучше сказать, не выпороли, сидишь, бывало, заткнув уши, над рукописью и в двадцатый раз бормочешь строчку за строчкой, прежде чем отдашь в папку материалов для отправки Горькому.

Алексей Максимович прочитывал рукописи дважды — перед утверждением состава номера и перед отправкой в набор. Вот это второе прочтение было для нас самым волнующим. Оно сопровождалось подробным письмом в редакцию. Это были замечательные письма-программы, полные интереснейших раздумий о нашем читателе-крестьянине, о литературе, о научных проблемах, которые нам следовало осветить.

Мы ожидали толстой папки материалов, просмотренных «стариком» — так в редакции любовно звали Горького,— с величайшим нетерпением. ‹...›

Иногда Горький устраивал у себя на Малой Никитской редакционные совещания. Одно из них, происходившее в декабре 1934 года, мне особенно запомнилось.

Алексей Максимович появился с нашей папкою в руках, мы тотчас же окружили его. Нечасто приходилось видеть Горького так близко, и я жадно его разглядывала. У него были широкие, по-старчески согбенные плечи — и синие, полные молодого блеска глаза; густой, глубокий бас — и непрерывное, гулкое покашливание, идущее как бы из пустой груди. (При первой встрече, в 1931 году, я вот так же пристально разглядывала Горького и, помнится, так же удивлялась противоречивости впечатлений. Писатель И. Г. Гольдберг, мой спутник, рассказывал тогда о Сибири, а Горький внимательно слушал, барабаня пальцами по столу, опустив голову. «Очень стар и очень болен»,— с грустью думала я. И вдруг он поднял взгляд, и я увидела, что в синих глазах его по-молодому искрилось усмешливое любопытство.)

Мы уселись за круглый стол во главе с Алексеем Максимовичем. Он медленно раскрыл заветную папку.

— Ну что ж, научные статьи, пожалуй, хороши. — Алексей Максимович дружелюбно взглянул на заведующего научным отделом.— Вот так-с. А проза — плохая,— добавил он озабоченно.— Очень плохая.

Мы потерянно молчали. Что можно было сказать? Зарождение колхозной темы в молодой советской литературе уже совершилось, разрабатывали ее крупные, многообещающие таланты. Но этому трудному процессу сопутствовал поток произведений неглубоких, идущих в русле кондовой крестьянской стихии и примечательных только разнообразием областных словечек. Трудно даже выразить, насколько эти «явления» литературы не сходились с мечтами нашего редактора о принципиально новом журнале для колхозного крестьянства.

Горький принялся разбирать одну рукопись за другой: особенный гнев вызывали в нем небрежные рассказики, которыми беззаботно снабдили нас авторы с достаточно крупными именами.

— Сбросили отходы и думают: раз журнал крестьянский — все туда можно сунуть. Это же халтура! — глуховато басил Алексей Максимович.

— Спросите рассказы у Пришвина, у Соколова-Микитова... Надо поднимать крестьянского читателя до настоящего, до подлинного искусства, а не расписывать ему его же самого в наихудшем виде, со всей темнотой и дикостью: эка новости!

— Обещал дать рассказ или очерк Иван Катаев,— вставила я.

Алексей Максимович вдруг улыбнулся как-то особенно светло и дружелюбно:

— Отличный писатель! Вот. Искать нужно. А то, вижу, вы тут одних сибиряков понабрали.— Он перевел шутливо-грозный взгляд на заведующего отделом прозы В. Я. Зазубрина.— Я уже слышал, московские писатели относятся к нашему журналу равнодушно. Не понимают! Не понимают, что «Колхозник» — первый журнал для крестьян. Вы подумайте только — первый! — с жаром и волненьем повторил он.— Иной раз я даже заснуть не могу, перебираю в памяти, думаю, что бы еще сделать для нашего «Колхозника». Недавно рассказ написал. «Бык» называется. Конечно, отдам его вам... [2]— Он стеснительно усмехнулся.— Как-то ночью, не поверите, стихи даже сочинил... импровизацию. Стихи для крестьян. Утром перечитал, ну и, конечно, сжег.

— Ах, напрасно! — вырвалось у Замошкина.

Алексей Максимович только отмахнулся. И, помолчав, спросил:

— Но что же все-таки делать с писателями?

Тут посыпались предложения: созвать совещание писателей, где первую речь произнесет Горький, организовать радиобеседу о журнале... Разговор стал общим, шумным, то и дело возникали и гасли споры. И вот, не помню уж в какой связи, В. Я. Зазубрин вдруг сказал Горькому:

— Читаю вашего «Клима Самгина» и, знаете, Алексей Максимович, основательно почеркал текст.

Горький бросил на него быстрый взгляд и произнес чуть холодновато и настороженно:

— Нуте-с?

Мы смолкли. А Горький слушал запальчивую речь неожиданного критика, устало склонив к плечу голову с жестким полуседым ежиком волос. Казался в этот момент похожим на птицу, сильную, суровую, одинокую.

— Черкайте, черкайте,— сказал он с едва уловимой усмешкой.

«Старый боец»,— подумалось мне. И сколько же ему довелось выдержать за свою писательскую жизнь наскоков! Да разве таких, как этот? И враждебных, и злобных...

— Читаю стихи,— заговорил Алексей Максимович, возвращая нас к теме беседы.— Много стихов. И ничего не понимаю. Где поэты? Где поэзия?

— Но как же это, Алексей Максимович,— возразил Н. И. Замошкин.— Помните, у Багрицкого в стихах сказано: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак...» А из молодых следовало бы назвать Павла Васильева. Талант большой, но...— Николай Иванович замялся и прибавил уже неохотно: — Беда с ним: опять наскандалил.

Горький долго молчал, хмурился. У всех свежа была в памяти суровая статья его о хулиганстве и резкие слова в ней о Павле Васильеве [3]. Сибиряк Васильев писал такие стихи, которыми мы, его земляки, законно гордились. Но и скандалил так, что приводил в отчаяние своих друзей.

— Видите ли,— заговорил наконец Алексей Максимович.— Я вот живу вне литературных пересудов— и спокоен. А если б жил там, внутри, кто знает... может, тоже скандалистом бы заделался. Эта атмосфера... представляю себе!

Никто не произнес ни слова, так это было неожиданно. Но, кажется, все подумали: Горькому нелегко было на-

звать имя Васильева в своей статье, он не мог не знать превосходных его стихов.

Вскоре мы заметили, что Горький устал, и, переглянувшись, враз поднялись.

— Старею, поясница болит и астма еще мучает,— покашливая, говорил Алексей Максимович и крепко пожимал нам руки.

На другой день в редакции много было разговоров о совещании у Горького.

«Прожить бы ему еще хоть десяток лет!» — думала я о Горьком и, может быть, впервые сознавала, как дорог нам каждый день, прожитый этим человеком...

Ю. П. ГЕРМАН

О ГОРЬКОМ

> В жизни всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи, или трусы, или не понимают жизни [1].
>
> *М. Горький*

Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк» [2].

«Не свихнется...» — недоуменно размышлял я.— А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Это самое «не свихнется» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу.

Парило, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшновато. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомникам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова.

Как я вошел в кабинет Горького — не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня, а когда туман этот рассеялся, я увидел Горького, увидел, что сижу перед письменным столом и что Горькому ужасно как неловко от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую «чувствительность» — это я понял впоследствии, а сейчас мне было не до размышлений и

не до наблюдений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например:

— Как вы относитесь к Гегелю?

Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза. Летели по ветру листья, сверкали длинные молнии. Зрелище было грозное и располагающее к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях, но Горький грозы как бы даже и не замечал, а принялся выспрашивать меня заинтересованно и деловито, где и как я живу. Сдавленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню, взаимоотношения владелиц примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги и карандаш и предложил схематически эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом разглаживая усы, он спрашивал:

— Эта против этой? А эта — нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, чрезвычайно любопытно. И все вместе объединены против этой угловой? А угловая что же? Скажите на милость, какая храбрая дама! А у вас есть свой примус? И где он?

Внезапно я заметил, что Горький спрашивает у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, без всякого смущения и совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю.

— Брюкву жарили на воде? А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода — процесс, взаимно исключающий. Жарят, насколько мне известно, на жире...

Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которых бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя и сладко упивались производимым ими впечатлением. Я видел людей, слушающих умело вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так сочувственно и напря-

женно заинтересован, так искренне близок своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович. Разумеется, тут дело не во мне, с моей самой обычной биографией, тут дело в другом, в значительно большем. Мы все, все наше поколение, были интересны Горькому во всем решительно. Он хотел понять, что же мы такое. Его интересовали, занимали и даже волновали самомалейшие подробности не только нашей жизни, но и нашего быта. Он желал знать не только о том, что мы читаем, но и что мы едим. Он был лично заинтересован в нас, в молодом поколении еще только будущих литераторов, в нашем физическом и нравственном здоровье, в том, чтобы у нас были чистые и ясные мысли, в том, чтобы жизнь наша не разменивалась на пустяки, в том, чтобы не решали мы давно решенные вопросы, в том, чтобы шли мы каждый своим путем и делали это с максимальной пользой для того государственного строя, гражданами которого мы являемся.

...Разговоры о жареной брюкве и примусах на коммунальной кухне дали мне возможность опомниться. Теперь я видел Горького. Помню голубую рубашку и серый пиджак, помню отблески молний на лице Горького, помню, как, вставляя в мундштук сигарету, он заговорил о моей книге [3]. Приготовившись выслушать речь прочувствованно-комплиментарную, я, со свойственной молодости самоуверенностью, даже не запасся карандашом и бумагой для того, чтобы записать замечания Горького.

И тут начался разгром, но какой!

Помню, что поначалу я даже не понял, что все эти жесткие слова относятся именно к моей книге. Мне показалось, что речь идет о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится,— не в пример тому роману, который он быстро перелистывал своими длинными пальцами. Низким голосом, сердясь (именно сердясь, потому что Горький никогда не был безучастен или величествен, разговаривая о литературе), Алексей Максимович подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. Пресловутая путаница с «одел» и «надел» вдруг вывела его из себя:

— Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых «одел» и «надел» навечно разобраться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, быть может, надеялись? А редактор — на корректора?

Я молчал.

— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

— Один,— не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? — осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

— Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими. Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости.— Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!

Не глядя на меня, Горький долго и сосредоточенно молча сердился, потом объявил:

— Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать, отметив в предисловии, что вы очень мне благодарны за советы, а просто написать наново, как будто этот птичий грех с вами и не случался. Вы в Китае и в Германии были?

— Нет, не был,— промямлил я.

— А написали...— сокрушенно сказал Горький.— Ну что теперь с вами станешь делать? Как же это вы так?

Я рассказал, что инженер Нортберг, который был прототипом моего Кельберга, довольно много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, что роман «Вступление» вначале был всего только очерком в журнале «Юный пролетарий» [4] и что мне просто очень захотелось написать подробнее о судьбе такого вот иностранного специалиста, как Кельберг.

— Захотелось, захотелось,— ворчливо произнес Горький.— Привезли бы мне или прислали ваш очерк, подумали бы вместе, поездили бы вы по заграницам, какая бы книжища могла получиться. Ну и переписали бы, разумеется, раз десять...

И во второй раз он заговорил о романе. Со стороны можно было бы подумать, что роман даже еще не напечатан, что он, может быть, только пишется и что вот он, Горький, советует мне, как можно написать такой роман...

Советуя, он ни разу не спутал действующих лиц, помнил их фамилии, характеры, помнил сюжет. И оттого, что он, тот самый великий Горький, который только что отругал книгу, все-таки все в ней помнил, я делался лучше в своих собственных глазах, мне становилось легко и свободно, и было даже мгновение, когда я забыл, что передо мной сидит и со мной разговаривает не кто иной,

как Алексей Максимович Горький. Я на что-то возразил ему, сказав:

— Нет, Алексей Максимович, это совсем не так...

Разумеется, я мгновенно опомнился. И даже испугался. Но Горький как бы даже обрадовался моему возражению. Он заставил меня подробно развить все мои доводы и тогда, весело потирая руки, разгромил меня наголову.

Сколько раз впоследствии я замечал, как Горький раздражался на слишком легко соглашающихся и поддакивающих ему людей, как он вдруг замолкал после поддакиваний и изъявлений восторгов и в глазах его появлялось выражение скуки и усталости.

Разговор о романе кончился так:

— Я ваш роман перехвалил,— сказал Горький.— Очень перехвалил. Это случается с нами, литераторами, да и не только с нами. Бывает, стихотворение в высшей степени посредственное, но оно, извините за выспренность слога, в данное мгновение отвечает строю нашей души. И кажется такое стихотворение прекрасным. «Вступление» ваше отвечало многим моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью. Но до настоящей литературы тут еще далеко. Впрочем, вы не огорчайтесь, время у вас еще есть...

И вслед мне сказал:

— Переписывать надо! Запомнили?

«Вступление» я написал наново. Горький прочитал и сказал мне угрюмо:

— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти. Надо знать, о чем пишешь. Это закон непреложный. Из жизни надо писать, непременно из жизни, из самой гущи ее, тогда и подробности будут настоящие, а не приблизительные. Ах, какое это горе в литературе — приблизительность, пунктир, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым. Ну да что!

Я задал Горькому вопрос, который, как правило, мучает огромное большинство молодых литераторов. Он развеселился, мотнул стриженной ежиком головой, глаза его зажглись, заговорил:

— Если в человеке есть основания для будущего писательства, то он не должен спрашивать ни у кого, писать ему или не писать. Нельзя спрашивать, понимаете? Я-то ведь не знаю, что у вас внутри. Не знаю, какой там мощности заряд. Трудно это определить, взвесить. Да и что

я — безмен? И дело наше другое, чем на скрипочке играть или петь романсы. Там, наверное, можно: «Пойди сбегай к маэстро, маэстро скажет». А я и не маэстро, я сам литератор, читатель. Настоящему литератору можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и ничего с ним не поделаешь. Он, знаете, везде, всегда будет писать, по той простейшей причине, что не писать он не может.

Подумал, помолчал и опять заговорил:

— Ну, а есть авторы первых книжек. Это явление небезынтересное. Они про себя иногда, к сожалению, да еще при наличии успеха, склонны предполагать, что вот-де мы писатели. А никакие они не писатели. В сущности, нет такого человека, ежели он не кокетка, и не врун, и не самовлюбленный болван, который не мог бы про себя, про свою жизнь написать небезынтересную книжку. И не только небезынтересную, но даже очень интересную. Вот тут, случается, происходят печальнейшие камуфлеты. Написал книжку, работать бросил, так называемые друзья провозгласили гением, ну, а гению сказать больше и нечего. Ищет он при последующих неудачах первопричину не в собственной литературной немощи, а в кознях завистников, в горемычной судьбине, становится эдаким подозрительным, жалобы строчит, ко мне обращается, вроде бы я департамент изящной словесности. И сложно с этими первыми книгами, необыкновенно сложно. Советская власть вызвала из гущи народной тысячи, десятки тысяч интереснейших судеб. В течение двух десятков лет люди проделали гигантский путь, многие сами себя открыли — как этими открытиями не поделиться? Есть книжицы, написанные не бог весть как, но читать их спокойно невозможно, горло перехватывает. И точность, и простота, а главное — есть человеку что сказать людям. Есть богатство, которым хочется поделиться, есть мысли, которые и другим пригодятся. И спрашивают: писатели они или нет? Не берусь судить. Не стану, не хочу, не буду...

В другой раз Горький спросил меня, что я собираюсь писать. Я рассказал сбиваясь. Он ходил по комнате, покашливал, поглядывал на меня. Неожиданно остановился и сказал:

— По поводу этого ирландского восстания есть стенографический отчет на английском языке, если не ошибаюсь. Году эдак в тысяча девятьсот тринадцатом издан.

Кроме того, в те же годы по газетам многое разбросано.

И, стоя посредине большой, почти пустой комнаты, глядя мимо меня напряженно вспоминающими глазами, он стал диктовать даты, брошюры, журнальные статьи. Я записывал, и мне казалось, да и до сих пор кажется, что это чудо: вопрос был узкий, в России тем более мало известный, прошли десятилетия — как могло всё это удержаться в памяти Горького?..

Потом я проверил. В двадцати двух названиях было только три ошибки.

Вечером за чаем Луговской спросил у Горького, как он справляется с тем огромным количеством писем, которые ежедневно приходят к нему. Алексей Максимович со смешком сказал:

— Отвечаю. Всем, кроме вымогателей и душевнобольных.

Помолчал и добавил:

— Впрочем, душевнобольным тоже отвечаю. Необыкновенно интересные, знаете ли, встречаются среди них индивидуумы. Иногда даже, грешным делом, подумаешь: а и в самом ли ты деле душевнобольной? И хитер, и умен... Один приезжал ко мне, вначале действительно было занимательно, а потом — нет, все-таки сумасшедший... Вот тоже случаются любопытные стечения обстоятельств. Был у меня весной рационализатор один из Свердловска. Занятнейший человек, образованнейший, светлая голова. Много сделал, много делает, и все как-то на пользу людям, все для людей, все то, что сейчас каждому человеку нужно. И тут же, в это же время, из Свердловска же от одного литератора, получил письмо, исполненное желчи и эдакой всеобщей тоски. Не о чем ему, видите ли, писать, героя нет, и хотелось бы нечто создать, да не о ком. Нет для его стиля достойного характера. Не видит он Человека с большой буквы (эка ко мне хитро подольстился!). Пришлось написать ему адрес свердловчанина-рационализатора, теперь обождем, что из этого образуется. Нелюбопытны мы, до удивления нелюбопытны.

О книге моей «Бедный Генрих» [5] Горький прислал мне ругательное письмо, а при свидании сказал невесело:

— Вы не обижайтесь, но на старости лет мне все больше и больше хочется, чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти

хорошие люди формируются. Черта вам заграничная жизнь далась, что вы в ней понимаете? Один вот из вашего брата прислал мне поэму об итальянской жизни. А был там всего ничего — сколько пароход стоял. Моряк-механик. Стал мне о своих друзьях рассказывать — я заслушался. А в поэме все — мадонна, мадонна. Какое ему, дурачку, дело до мадонны?

И спросил совсем грустно:

— Почему вы такие?

Долго ходил по комнате из угла в угол и неожиданно посоветовал:

— Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском [6]. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу — желаете?

И рассказал, чему-то улыбаясь, покуривая сигарету, короткую и трогательную историю про то, как чекисты в голодные годы гражданской войны «обманули» Дзержинского. В столовой на Лубянке в тот день кормили супом из конины, а Дзержинскому сжарили несколько картошек на свином сале. И доложили, что у всех сегодня на обед картошка с салом.

— Я тоже в этой игре участвовал,— сказал Горький.— Меня предупредили, чтобы не выдавал...

Еще походил и еще рассказал:

— Однажды приехал к Феликсу Эдмундовичу заступаться (очень уж много в ту пору уговаривали меня разные — заступись да заступись), ну, а Дзержинский мне навстречу вышел, в коридоре встретились. Глаза красные, знаете ли, как у кролика, и спрашивает: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?..» Что я мог ответить? Небывалой нравственной чистоты человечище был.

Погодя Горький спросил, о чем я пишу сейчас. Я рассказал ему о «Наших знакомых». Он слушал, как всегда, внимательно, переспрашивал, потом сказал:

— О поваре — это хорошо, очень хорошо. Человек, который кормит и старается повкусней накормить, не может быть дурным человеком. Вы прочитайте такую книжку: Брилья-Саварен «Физиология вкуса» [7], много полезного найдете для, с позволения сказать, философии поварского искусства.

И улыбнулся.

— Любопытно, какие только сочинения людьми не написаны.

А я почти с ужасом подумал: «Господи, когда же он успевает все это читать?»

Отрывок из «Наших знакомых» был напечатан в одном из ленинградских альманахов [8]. Горький прочитал про повара и сказал мне недоуменно:

— Ну, а Брилья-Саварен? Ведь это же евангелие настоящего повара.

Я ответил Алексею Максимовичу, что не достал эту книжку. И тут Горький пришел буквально в ярость:

— То есть как это не достали? Как вы могли не достать? Какое вы имели право не достать? Вишь какой беспомощный!

Дня через два мне позвонил секретарь Горького и велел немедленно прийти. В пустой столовой на Малой Никитской я в течение нескольких часов читал Брилья-Саварена и делал из него выписки. Горького в этот день я не видел. И больше никогда об этом он со мной не заговаривал.

Я не знаю и, пожалуй, не знал ни одного человека, который умел бы так восхищаться и радоваться всему талантливому, подлинному и настоящему, как радовался Горький.

Помню, на даче вдруг хлынул проливной дождь, а Горький увидел позабытую в саду книжку. Легкой походкой, бегом, он бросился за ней, мгновенно промок насквозь, но, словно не замечая этого, любовно обтер толстый том и сказал всем нам — молодежи:

— Черти полосатые! Это же Алексей Николаевич Толстой! Как написал! Как отлично написал! Великолепный, замечательный писатель...

И долго здесь же, на террасе, с совершенно юношеским жаром говорил о Толстом, потом переехал на Юрия Николаевича Тынянова — вспомнил «Кюхлю», и вдруг на глазах его буквально закипели слезы восторга. Весь этот день, один из лучших дней, какие я помню, Горький был, если можно так выразиться, энергично, стремительно весел, хвастался нам свежим номером журнала «Наши достижения» (он очень любил этот журнал и даже у меня, молодого литератора, спрашивал, что мы, молодежь, думаем об этом его детище) и неустанно хвалил советскую литературу и в ее настоящем, и в том, какой она станет.

— Вы не знаете,— говорил он,— вы еще молоды и читаете только то, что сами пишете или что сосед написал. А я знаю: нашим литераторам никогда не придется заду-

мываться над тем, для чего нужно искусство и нужно ли оно вообще. А это знаете как важно! Это, товарищи, основа основ...

Попозже, помешивая угли потухающего костра, Горький слушал одного писателя, который изящными и округлыми фразами выражал ему восхищение по поводу нынче напечатанной статьи Алексея Максимовича. Внезапно Горький сказал:

— Не так это все. Я некоторые положения намеренно сгустил. И именно от вас, несколько вас зная, ждал ответа в печати. Предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая литературная жизнь, а какая-то, знаете ли, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь небось у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной не согласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это ерунда, ведь это решительно быть не может, ведь это все вздор...

Мы молчали.

Горький вздохнул, но сказал весело:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои — закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать как с литератором, пусть и более опытным, чем вы, а не как с департаментом изящной словесности...

Так я видел Горького живым в последний раз. Потом я увидел его в гробу. Я стоял у гроба и никак не мог поверить, что один из самых живых людей на земле — мертв. И вспомнились мне почему-то слова:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое...

С. М. МУКАНОВ

⟨ОН ЖИВ, ОН С НАМИ⟩

⟨...⟩ Известно, что в 1932 году Постановлением ЦК ВКП(б) был ликвидирован РАПП и создан Оргкомитет Союза писателей СССР, председателем которого стал Максим Горький [1]. С этого времени начался новый этап в жизни советских писателей.

С первых же дней работы Оргкомитета на улицу Воровского, где он помещался, стекались писатели разных национальностей со всех концов обширной родины, из союзных и автономных республик, автономных областей и округов. Их принимал Алексей Максимович. Союз писателей СССР превратился в интернациональный орган.

Горький беседовал с писателями, расспрашивал их о материальных и творческих нуждах и, как правило, тут же решал многие вопросы. Он интересовался национальными культурами, искусством и литературой.

В то время я учился в Московском институте красной профессуры (ИКП) [2], принимал участие в работе РАППа, а потом — Оргкомитета и не раз встречался с Алексеем Максимовичем.

Однажды в беседе со мной Горький заговорил о казахском фольклоре.

— Вы сидите на сундуке, наполненном золотом, и вам нужно как можно полнее использовать эти ценности в своем творчестве.

В другой раз Горький спросил, есть ли среди казашек писательница. Ссылаясь на казахский фольклор, я сказал, что до середины XIX века, когда все казахи вели кочевую жизнь, женщины были более независимы от мужчин. В то время среди казашек было множество та-

лантливых поэтесс-импровизаторов, которые не раз побеждали на айтысах — песенных состязаниях.

В середине XIX века, когда царская Россия целиком колонизировала казахскую степь, значительная часть казахов начала переходить на полукочевой образ жизни. В связи с этим усилился феодализм и казахская женщина превратилась в домашнюю рабыню, за которую был уплачен калым. Ей уже некогда стало заниматься поэтическим творчеством.

— А теперь?— спросил Горький.

— С того времени, как создана Казахская республика [3], идет решительная борьба по раскрепощению женщин. Уже появились первые писательницы-казашки. Их несколько десятков.

— Это очень хорошо,— заметил Алексей Максимович.— Надо им помогать. Будем надеяться, что из них выявятся большие таланты. ⟨...⟩

Мы, писатели братских республик, нередко пользовались и творческой помощью Алексея Максимовича. Прочитав его повесть «Мои университеты», я решил написать автобиографическое произведение. Посоветовался с Алексеем Максимовичем.

Он сказал:

— Лучший советчик — сама жизнь. Если вы напишете о ней правдиво, то верно изобразите социальные и классовые сдвиги в жизни вашего народа. Только надо знать,— подчеркнул Горький,— с каких позиций покажете вы эту жизнь. Ведь можно ее показать с разных точек зрения. Наша точка зрения — ленинизм. Вот с этих позиций и пишите.

Работая над автобиографической трилогией «Школа жизни» на протяжении 30 лет [4], я никогда не упускал из виду эти советы Горького.

Немало лет прошло со времени кончины Алексея Максимовича. Многое изменилось с тех пор. Но неизменен путь, проложенный Горьким,— путь социалистического реализма. По нему идут литературы всех братских народов нашей родины. ⟨...⟩

М. Я. СЕНГАЛЕВИЧ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Первый съезд советских писателей явился большим общественным событием [1]. Помню, всюду — в трамваях, на улицах — можно было слышать разговоры о съезде, о литературе, о советских писателях. Всех интересовал предстоящий доклад Максима Горького.

Пропусков и билетов на съезд было много, но, конечно, если бы Колонный зал был в сотни раз больше, все равно он не вместил бы всех желающих. У меня был билет в ложу прессы.

Алексей Максимович вышел на трибуну. Подняв брови, он оглядел зал, улыбнулся, покачал головой, выждал минуту... Делегаты продолжали приветствовать его... Он нахмурился, по-деловому заглянул в лежащие перед ним заметки...

Наконец тишина... Горький начал доклад.

Художники на портретах обычно придают Алексею Максимовичу какие-то особые «выразительные черты» — подчеркивают и углубляют складки на лбу, вздыбливают волосы. Но, насколько я помню, в действительности «лепка» лица Алексея Максимовича была иной. Лицо не было изборождено столь резкими морщинами, игра его была очень тонкой — оно то выражало сосредоточенное внимание, углубленную мысль, то вдруг что-то очень живое, острое, почти по-детски озорное вспыхивало в глубине его глаз, в улыбке...

С Алексеем Максимовичем познакомил меня Демьян Бедный.

Редакция украинской газеты поручила мне написать очерк о ком-нибудь из делегатов съезда. Но на съезде было так много замечательных людей, что я не знала,

на ком остановиться. Я обратилась за советом к Горькому. На другой день Алексей Максимович сам пришел в ложу прессы.

— Вот глядите-ка туда! — указал он глазами на невысокую пожилую женщину в белой косынке.— Познакомьтесь: интересный человек, замечательный. А когда напишете, дайте-ка прочитать. Хорошо?

В тот же день я познакомилась с Агриппиной Гавриловной Коревановой.

Жизнь Агриппины Гавриловны Коревановой действительно была необычайной. Грузчица с речной пристани, почти неграмотная, она написала книгу, в основу которой положила историю своей жизни [2]. И вот теперь Агриппина Кореванова — делегат съезда советских писателей.

Когда очерк был готов, я показала его Алексею Максимовичу.

— Завтра в перерыве зайдите сюда. Постараюсь к завтрашнему дню прочесть,— сказал он.— В редакции-то, наверно, ждут?

С понятным волнением и тревогой ждала я следующего дня, встречи с Алексеем Максимовичем, я уже заранее представляла себе, как он раскритикует мое произведение... Алексей Максимович заметил мое волнение и сразу же начал:

— Очерк посылайте, а то в редакции, наверное, заждались.

Эти слова успокоили меня.

— Я там сделал пометки,— сказал Алексей Максимович, возвращая мне рукопись.— Побеседовать сейчас нет времени, а хотелось бы,— прибавил он.

Я поспешила домой и перечитала очерк. Он начинался с описания тяжелого, безрадостного детства Коревановой, затем в хронологическом порядке рассказывалась история ее жизни. По этому поводу Алексей Максимович сделал следующее замечание на полях:

«Думаю, лучше показать Кореванову сразу на трибуне съезда,— это привлечет внимание читателя. Еще недавно неграмотная крестьянка, теперь писательница на трибуне Всесоюзного съезда советских писателей. Это важно, значительно и характерно для нас!»

Напротив того места в очерке, где рассказывалось, что Кореванова любила слушать волжские песни, оказавшие на нее большое влияние, Алексей Максимович написал на полях: «Хорошо!»

Там, где говорилось, что Коревапова вступила в ряды Коммунистической партии, Алексей Максимович сделал пометку:

«Уточните, когда Кореванова вступила в Коммунистическую партию,— это важно! Подчеркните какой-нибудь деталью это значительнейшее событие в жизни человека».

Я обдумала советы Алексея Максимовича и, насколько сумела, сделала в тексте очерка соответствующие исправления. Затем я отправила очерк в Киев, где он был напечатан в одном из посвященных Первому съезду советских писателей номеров газеты. К сожалению, рукопись-черновик с пометами Алексея Максимовича погибла в Киеве во время Отечественной войны.

На съезде я беседовала с Горьким еще несколько раз.

От редакции у меня было задание: получить для газеты статью одного из зарубежных писателей, делегатов съезда, друзей Советского Союза. И здесь Алексей Максимович дал мне ценный совет.

— Побеседуйте с Мартином Андерсеном Нексе,— сказал он.— Нексе наш искренний друг. Знаете, есть выражение: «В глазах душа светится». Вот у Нексе именно в глазах душа светится.

На следующий день во время одного из перерывов между заседаниями съезда Алексей Максимович познакомил меня с Красным Мартином, как он называл Нексе. Нексе очень охотно отозвался на просьбу написать статью. В ней Мартин Андерсен Нексе с большой любовью и признательностью говорил о Советском Союзе.

Разговаривая с Нексе, я вспомнила слова Алексея Максимовича. В глазах Красного Мартина действительно светилась удивительно ясная и чистая душа. С большим интересом расспрашивал Нексе об украинских писателях, о нашей литературе...

Вскоре после съезда я вновь побывала в Москве и снова увиделась с Горьким. Встречи эти навсегда сохранились в моей памяти.

...День был ясный, солнечный. Когда я вошла в комнату, Алексей Максимович сидел за столом. Он поднял голову, встал и пошел мне навстречу. Дружески поздоровавшись, усадил меня против себя.

«О чем говорить с Алексеем Максимовичем, с чего начать, будет ли ему интересно беседовать со мной?» — подумала я.

Горький пристально взглянул на меня. В эту секунду по столу мелькнул пестрый солнечный зайчик.

Алексей Максимович вдруг поднял брови.

— Глядите-ка, какой проворный солнечный зайчик, а! — произнес он, улыбнувшись.— Почему именно зайчик, а?! Народ-то даром не назовет. Верно, трус этот солнечный зайчик?..— Алексей Максимович покачал головой.— Ну да, трус... Видите, как пробежал по столу? Испугался. Вас-то не испугался, а вот меня, такого длинного, лохматого, испугался и бросился наутек.

Я невольно рассмеялась — так ярко представил Алексей Максимович этого солнечного зайчика. И вдруг мне стало стыдно своей робости. Ведь я знала, что предо мной друг, готовый помочь и посоветовать...

Робость моя прошла, и я рассказала случай из своего детства, как квартирная хозяйка окатила водой моего любимого котенка, чтобы «квартирантский котенок» в ногах не путался. Была я тогда «студенческим дитем» и впервые почувствовала, что такое несправедливость.

— А вы попробовали бы написать об этом? Хозяйка, «студенческое дите» и котенок. Попробовали бы, а? — сказал Горький.— Тяжелое это дело — впервые почувствовать, что такое несправедливость, каждому из нас пришлось это пережить. Каждому по-своему... Вот и напишите про «студенческое дите». Надо, чтоб наша молодежь знала прошлое, тогда еще ярче почувствует она настоящее.

— Сколько вам было в октябре тысяча девятьсот семнадцатого года? — спросил Алексей Максимович.

— Шестнадцать...

— Замечательная была юность у этого поколения,— произнес Алексей Максимович.

Я сказала, что самым ярким впечатлением моей юности была для меня встреча с Лениным.

— Вы были на Третьем съезде комсомола? — живо спросил Алексей Максимович.

— Нет, я слышала доклад Ленина на Четвертом конгрессе Коминтерна.

Горький спросил, как выглядел Владимир Ильич во время доклада.

— У Владимира Ильича была удивительная способность к языкам,— сказал Алексей Максимович.— Помню, как на Капри перебрасывался он словечками с итальянскими рыбаками, и так у него это легко, свободно полу-

чалось, будто сродни были ему и люди, и язык. Немецкий язык Владимир Ильич знал великолепно, но сделать такой обширный доклад на неродном языке требует большого напряжения, а он ведь был уже болен, болен... [3]

На глазах у Алексея Максимовича блеснули слезы, он прикрыл глаза ладонью. Потом произнес тихо, словно самому себе:

— Удивительное это чувство — вот знаешь, что Ленин ушел от нас, а чувствуешь его, словно живого, с нами,— столько было в нем силы, неисчерпаемой энергии... И вот теперь с нами он, в наших делах, в партии, что осуществляет его замыслы... Хорошо, очень хорошо, что вы слышали Ленина, это на всю жизнь.— И озабоченно прибавил: — Запишите, обязательно запишите. О Ленине каждое правдивое слово дорого.

По совету Алексея Максимовича я в тот же вечер записала встречу с В. И. Лениным. Эта запись легла в основу воспоминаний моих о Ленине, напечатанных в 1945 году в журнале «Работница» [4].

Я упомянула, что виделась с Михаилом Михайловичем Коцюбинским, когда он лежал в клинике Образцова [5], что Коцюбинский бывал в семье моего деда.

Алексей Максимович расспрашивал обо всем, что хоть каким-нибудь образом относилось к Михаилу Михайловичу Коцюбинскому.

Я рассказала о своих детских слезах над «Харитей», о встрече с больным Михаилом Михайловичем в клинике Образцова, о том, как читал он «Сказки об Италии» М. Горького — книгу, которую Алексей Максимович послал М. М. Коцюбинскому.

С глубокой любовью говорил Алексей Максимович о Коцюбинском. В его словах были печаль о близком друге, о большом таланте, что угас так рано, забота о братской литературе дорогого его сердцу украинского народа...

— Как работает сейчас ваша молодежь? — спросил Алексей Максимович.

Я сказала, что большинство молодых украинских писателей связано с газетами, многие часто бывают на стройках, на заводах, в колхозах, руководят литературными кружками на предприятиях.

— Хорошо! Молодцы! — похвалил Алексей Максимович.— И газеты не чураются, це добре!

Горький спросил, что я пишу, что уже написала.

Я сказала, что вышло несколько сборников моих рассказов и очерков, что как очеркист я побывала в Криворожье, в Донбассе, на Днепрострое.

— Когда вы были на Днепрострое? — спросил Алексей Максимович.

— Летом и осенью тридцать второго года на строительстве и в октябре тридцать второго года на открытии Днепрогэса...

— И теперь жалею, что не смог побывать на открытии Днепрогэса,— сказал Алексей Максимович.— Вот это действительно праздник человеческого труда!

Алексей Максимович снова заговорил о молодых, начинающих писателях.

— Хорошо, что ваша молодежь много путешествует, видит, наблюдает,— движение для писателя полезно, очень полезно... Движение... Вот, помните, у Шуберта песня «В дорогу». Хорошая вещь, иной пятиактной оперы стоит...

Много новых, интересных мыслей возникало после беседы с Горьким. Алексей Максимович посматривал на собеседника своими зоркими глазами, задавал ему вопросы, чтобы раскрыть, угадать, что за человек перед ним. То мягкий, ободряющий, то требовательный и строгий, он удивительно умел помочь, дать нужный совет. Узнавая человека, Алексей Максимович наделял его частицей своего богатства мысли, чувства и таланта.

А. Н. ТОЛСТОЙ

ПО ТАКОМУ ОБРАЗЦУ ДОЛЖНЫ ФОРМИРОВАТЬСЯ ЛЮДИ

На банкете после съезда писателей меня просили конферировать шуточные номера. Я не пробыл и 10 минут на эстраде; от стола, где сидел с семьей Алексей Максимович, начали меня звать, чтобы я туда спустился... Алексей Максимович сказал резко:

— Сядьте...— и, посопев, дружески, но все еще сердясь: — Черт вас возьми, я вам прямо готов тарелку о голову разбить.

Я понял. Алексей Максимович горячо, как всегда, рассердился за то, что я принижаю свое писательское звание шуточками с эстрады.

В этом был весь Алексей Максимович...

Он любил и смех, и шутки, но к призванию писателя, художника, творца он относился непримиримо, сурово, страстно.

Слушая какого-нибудь начинающего даровитого писателя, он мог расплакаться, встать и уйти из-за стола, вытирая платком глаза, ворча: «Хорошо пишут, черти полосатые».

Но если ты сфальшивил, слукавил,— а он это чувствовал шестым чувством,— унизился до компромиссика, рука его начинала барабанить пальцами по столу, он отводил в сторону светло-голубые глаза... В нем боролась доброта, такая же большая, как все в нем,— доброта с начинающимся раздражением. И когда доброта наконец расступалась, он наговаривал глухим голосом такие беспощадные слова, уже прямо глядя в глаза! Получалась писателю баня...

Алексей Максимович был последним из великих русских классиков. Он действительно хранил заветы большой

русской литературы. Одним из заветов было сознание всей величины, всей значительности для человечества того удивительного явления, которое мы называем искусством.

Отсюда понятно его страстное отношение ко всякому проявлению творчества: от какой-нибудь палехской шкатулки, от хорошо спетой народной песни до архитектурных проектов Большой Москвы [1].

По разносторонности, по интересу ко всем проявлениям жизнетворчества мы знаем еще только одного художника — Пушкина. У Алексея Максимовича было то преимущество, что перед ним развертывалась ясная, реальная перспектива будущего его страны и будущего человечества. Он видел плоды своих усилий, видел, как «гордый человек», сбросив лохмотья, унижение и рабство, начал строить социализм. Его пламенная вера в гордого человека оправдывалась. Путь, на который вступил он еще юношей,— путь социализма, стал действительностью.

Он постоянно повторял: «Пожить хоть бы еще десять годков». С каждым годом он все больше нагружал себя работой, читая все рукописи, редактируя журналы и сборники, заново перерабатывал свои старые пьесы [2], писал эпопею «Клим Самгин», пьесы, рассказы.

Он не мог отстать от темпов жизни. Ему хотелось знать все, участвовать во всем, что строится, растет, меняется, творит. Он писал сотни писем детям. Он вникал во все мелочи созидания Всесоюзного института экспериментальной медицины [3].

В своей широте, раскинутой на весь мир, во всем охвате всех явлений он был коренным русским человеком. Он пламенно любил свою вновь обретенную социалистическую родину.

Он отдал ей свой талант и свою жизнь. Он не щадил себя. За несколько часов до смерти, когда к нему пришел проститься навсегда его высокий друг [4], Алексей Максимович, почти уже не дыша, приподнялся и начал говорить о том, что, по его мнению, нужно еще сделать.

Таков человек. Таков пример для всех нас. По такому образцу должны формироваться люди.

А. Л. КОПТЕЛОВ

У МАКСИМА ГОРЬКОГО

В 1928 году в журнале «Сибирские огни» появились выдержки из письма Алексея Максимовича Горького к Владимиру Яковлевичу Зазубрину о родственном отношении к «литературным младенцам»[1]. Писатели моего поколения в то время были «младенцами», и теплые слова Горького нас радовали, как слова отца. ⟨...⟩

С думами о Горьком, таком отзывчивом и отечески заботливом, я ехал в Москву в начале июля 1929 года. На второй день после моего приезда в столицу Михаил Михайлович Басов, один из основателей журнала «Сибирские огни», работавший в то время в Госиздате, позвонил секретарю Горького:

— Тут вот приехал один сибиряк. А Алексей Максимович, сами знаете, принимает сибирские дела близко к сердцу. Сейчас есть новые факты. Могут пригодиться... Приезжий сибиряк расскажет.

На следующее утро я уже был в доме № 1-а по Машкову переулку, где в квартире Екатерины Павловны Пешковой остановился Алексей Максимович, только что вернувшийся из Италии. Кабинетом ему служила продолговатая комната с большим окном. У стен стояли дубовые шкафы с книгами, в углу — кровать. Против двери, у окна — стол. На нем, возле письменного прибора,— деревянный стакан, полный отточенных карандашей. Всюду — книги, журналы, газеты.

С глубоким волнением я переступил порог этой комнаты. Навстречу мне, чуточку сутулясь, шел от стола высокий человек, с крутыми крепкими плечами, в светло-голубой летней рубашке с короткими рукавами, в белых брюках. Из-под пушистых усов растекалась по лицу,

изборожденному глубокими морщинами, теплая приветливая улыбка.

Моя рука скрылась в широкой, костистой и сильной руке Алексея Максимовича. Он провел меня к рабочему столу.

— Садитесь, сибиряк, рассказывайте. Давно ли в Москве? Первый раз? А что уже успели посмотреть? И как понравилась столица?..

Он сел на свой стул по другую сторону стола. Я смотрел на него и радовался, что в шестьдесят один год седина почти не тронула его волос. Горький казался моложе своих лет и, хотя то и дело покашливал, выглядел могучим.

На столе лежала линованная бумага старого большого и очень удобного формата с отчеркнутыми полями для пометок и поправок. Первый лист до половины был покрыт ровными строчками четкого горьковского письма. Нехорошо, что я пришел в неурочный час — до обеда, в рабочую пору — и оторвал Алексея Максимовича от рукописи.

Но как только Горький заговорил, смущение рассеялось. ⟨...⟩

Алексей Максимович довольно долго расспрашивал меня о писателях-сибиряках старшего поколения, об их новых произведениях, о том, над чем они работают. Многих из них он знал лично, со многими переписывался.

В его шкафу стояли свежие номера «Сибирских огней».

Затем он заговорил о молодых писателях, которые идут в литературу через газеты, и рассказал о решении выпускать журнал «Литературная учеба»:

— Журнал будет оказывать помощь молодым писателям. Они увидят, как надо и как не надо писать. Мы будем печатать: на одной странице рассказ начинающего автора, а на другой — тот же рассказ, выправленный опытным писателем.

О начинающих литераторах Алексей Максимович между прочим сказал:

— Молодежь должна учиться писать короткие рассказы: учиться на этом, набивать руку. ⟨...⟩

Общеизвестно, что писатель должен знать мир, а не только свой город или свой край. Вероятно, у всякого литератора есть заветная мечта — побывать в разных странах. Сейчас это легко сделать: тысячи туристских групп ежегодно отправляются из Советского Союза во все концы света. А в то время было весьма трудно осуществить поездку за границу — туристские связи даже и не

начинали налаживаться. И мне хотелось взглянуть на мир. «Писатель обязан знать как можно больше»,— читал я в статье Горького «О пользе грамотности». Это подогревало мою мечту о заграничной поездке. Я робко упомянул об этом. Нельзя ли побывать в Италии? Алексей Максимович расспросил, где я вырос, где учился, что читал, что из моих произведений уже появилось в печати, а под конец ободрил:

— Ну что ж. Поездку можно будет устроить. Нужны такие поездки. Весьма полезны для писателей. Весьма.— И тут же он посоветовал: — Вам нужно хорошо подготовиться, чтобы знать, где и что посмотреть, и чтобы разобраться в явлениях искусства. Почитайте побольше книг.

Он назвал книги Вазари и несколько других старых фундаментальных изданий об искусстве эпохи Возрождения.

— Поищите у букинистов. Если не найдете, напишите мне — пришлю.

Такую трогательную заботу я, только еще пробовавший свои силы в литературе, видел впервые.

Горький проводил меня до двери, сказал, что, возможно, и на зиму останется на родине. Но непогожая осень принудила его, при его подорванном здоровье, снова уехать на зиму в Италию. ⟨...⟩

После съезда Горький пригласил к себе сибиряков.

В 10 часов 30 минут утра 3 сентября мы приехали в небольшой особняк на Малой Никитской улице, где теперь висит белая мраморная доска с золотыми буквами:

Здесь жил М. Горький

1931—1936

Нас провели в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Посредине комнаты стоял длинный стол, покрытый белой скатертью. По одну сторону его сидел Алексей Максимович в темно-сером пиджаке, по другую — иркутянин Петр Поликарпович Петров, приглашенный на полчаса раньше, чтобы поговорить о его романах, посвященных золотоискателям. Перед собеседниками стояли уже пустые чашки,— во время разговора хозяин и гость пили кофе.

Алексей Максимович встал, сделал два шага нам навстречу и всем пожал руки.

Съезд утомил его. На лице была заметна усталость. Казалось, что морщины стали еще глубже и резче. Но и на этот раз, после продолжительной напряженной работы, он казался бодрее, крепче и моложе, чем на портрете работы П. Корина, написанном, по всей вероятности, в январе — феврале 1932 года в Италии: воздух родины, видимо, действовал благотворно.

Мы сели к столу. ⟨...⟩

Горький был на редкость внимательным собеседником. Выслушав одного и заметив, что кто-то другой хочет что-то сказать, он переносил на него взгляд своих чистых глаз задушевного человека:

— А нуте-ка... Давайте...

Возвращаясь к вопросу о «Сибирских огнях», Алексей Максимович посоветовал:

— Вам нужно увеличить объем журнала.— И тут же спросил: — А бумажная фабрика у вас есть?

— В Восточно-Сибирском крае запроектирована постройка комбината,— сообщил кто-то из иркутян.

— Комбинат — это долго. Вам следовало бы небольшую фабрику быстренько построить. Лесу у вас много, а бумажной фабрики до сих пор нет. Плохо.

Упомянули о книжной выставке к съезду, на которой не оказалось ни одной книги, изданной в Сибири.

— Краевая литература — большое культурное дело,— заметил Алексей Максимович.— В Москве некоторые еще не понимают этого. Надо подымать краевую литературу.

— Приехали бы к нам, Алексей Максимович. Вы ведь давно собирались побывать в Сибири.

— Собирался... А теперь как мне ехать?.. Сердце...— Он на секунду приложил руку к груди.— Плохо работает. Не то чтобы очень плохо, а... подводит иногда. В Колонный зал подымался с отдыхом — тяжело.

Он ломал спички и в пепельнице складывал их костром, потом поджег. ⟨...⟩

Поэт Иван Молчанов-Сибирский упомянул о книге иркутских пионеров «База курносых»[2].

— А я вас не узнал,— сказал Горький.— Вы прошлый раз, когда приезжали с пионерами в Горки, были иначе одеты... Интересные у вас в Сибири ребята. Крепкие. У нас на даче они всех поразили: «Эти нас забьют!»

Здоровые. Сильные. На другой день после вас у меня были пионеры с Шарикоподшипника, так те послабее. И нервознее. Нет у них такого спокойствия и силы. Нет.

— Мы хотим переиздать книгу «База курпосых».

— А следует ли?

— Весь тираж разошелся.

— Подумайте — следует ли. Интересный опыт, но опасный. Вдруг все ребята начнут писать.— Алексей Максимович снова рассмеялся.— Все захотят быть писателями...

Разговор перекинулся на критику. Мы, сибиряки, посетовали:

— О книгах, выходящих в Сибири, в Москве совершенно не упоминают...

Алексей Максимович вздохнул:

— Вы сами видели — на съезде критики молчали. Это показательно. Перед съездом мы собирали несколько совещаний критиков. Вот в этой комнате. Пришли, знаете, настоящие средневековые схоласты. Да, схоласты. Ничего не вышло из разговора. Не вышло. ⟨...⟩

— Вы, сибиряки, должны помогать писателям малых народностей. Край у вас многоязыкий. Юкагир * один хорошую книгу написал — «Жизнь Имтеургина-старшего». Я приехал домой со съезда, взял посмотреть и прочитал всю. А в книге страниц сто пятьдесят. Хорошая! До двух часов ночи читал. И поражался: огонь добывают деревянным сверлом! Вот тебе и начало двадцатого века, века электричества, радио!.. Так было недавно... А как там все описано! Совершенно неизвестная жизнь открывается перед читателем...

Пора уходить,— нас предупреждали, что у Горького сегодня особенно много дел,— и мы, переглянувшись, начали вставать.

— А сколько времени? — Алексей Максимович достал часы.— Еще полчаса можно поговорить. До следующего приема у меня остается тридцать минут... Где вы вчера были? Как прошел вечер у корейцев? А я был у таджиков. Очень интересно! Как там девушки плясали! Все тело — в движении! А какая пластика! Особенно — руки. Хорошо! Настоящее, большое искусство!

---

* Текки Одулок. Его книга вышла в 1934 году. (*Примеч. А. Л. Коптелова.*)

Затем он вспомнил о выступлении на съезде директора Гослитиздата Н. Н. Накорякова:

— Убийственные цифры привел Накоряков. Подумать только, семьдесят пять процентов книг последних лет не заслуживают переиздания, по существу — брак! Серые, ненужные. Меня это убивает. Мы все должны отвечать за эту цифру.

Под конец беседы Алексей Максимович спросил, какое впечатление произвела на нас Красная площадь во время Международного юношеского дня, а потом сказал:

— Какой парад был! Праздник молодости! Меня особенно тронули колонны юных ворошиловских стрелков. Обратили внимание? Как они шли! Будто настоящие бойцы. Подумайте: вместо цветов им приходится нести винтовки — тревожное международное положение обязывает. И они уже владеют винтовками в совершенстве. Юные защитники культуры. Помните, за ними шли девушки с розовыми георгинами? Я, по старости своей, расположен к слезам от радости. Но на этот раз даже те, кому, кажется, слезы по чину не полагаются, не удержались. Какая чудесная, здоровая молодежь растет у нас! Какая сила! Эх, если бы нам не мешали!.. Когда посмотришь на нашу молодежь и подумаешь о будущей войне, ненависть к врагам переполняет сердце...

Он поднял руки, стиснутые в кулаки, и внушительно потряс ими:

— Так бы сам взял и уничтожил всех этих гитлеров и муссолини. Своими бы руками. На такую молодежь собираются нападать! Будет война, многие из этих ребят не вернутся...

Алексей Максимович достал платок...

Когда мы уходили, он крепко пожал всем руки и проводил до двери. Мы верили, что мощный голос Буревестника еще долго будет греметь над миром, и надеялись на будущую встречу, может быть — в Сибири. Но смерть разрушила эту надежду... ⟨...⟩

И. А. СИВКО

ПАМЯТЬ

В нашем городе [1] у самого берега Дона стоит памятник. Высокий, чуть сутуловатый человек, прищурив глаза, смотрит вдаль.

Максим Горький...

Я часто прихожу сюда, на набережную, и вспоминаю...

Седьмое мая 1934 года. Нас приехало в Москву двенадцать человек. И называли нас тогда знатными людьми страны, лучшими ударниками социалистической промышленности и сельского хозяйства Украины и Азово-Черноморья. И я пугалась этого высокого звания. Мне все время казалось, что это сон и что он длится с тех самых пор, когда председатель колхоза вызвал меня к себе. Думала, ругать будет за что-то, а он встал из-за стола, пожал мне руку и сказал: «Ну вот, Иришка, какие дела. В Москву ты у нас поедешь как знатный человек деревни, ударница-колхозница...» У меня аж сердце зашлось. Да как же это я поеду, если мне и паровоза-то в жизни увидеть не пришлось...

Провожали меня всей деревней. Платье пошили из красного шелка. Наказ дали, чтобы я в Москве надела, когда к товарищу Калинину на прием пойду, чтобы, значит, не только душой, а и внешне красной комсомолкой выглядела.

Что было со мной, как доехала, как по Москве ходила, как встречалась с товарищами Калининым, Димитровым — сразу и не опишешь... А седьмого мая мне сообщили, что хочет видеть нас и Алексей Максимович Горький. Вот была радость! Ведь все мы помнили, как во время поездки великого пролетарского писателя по Союзу Советов был он и у нас на Дону. А потом рассказ написал

о Сальских степях [2], в которых и наш колхоз располагался.

За город, на дачу, где жил в то время Алексей Максимович [3], поехали мы на двух машинах. Помню, подъехали к белому домику. Цветы вокруг. Смотрю, кто-то высокий, худой ходит во дворе с лейкой и цветы поливает. У меня и в мыслях не было, что это может быть Горький. И вдруг, смотрю, все выскакивают из машин, приветствуют. А он уже идет гостям навстречу. Вот как сейчас помню — в серенькой рубашке, плечи заостренные такие, немного сутуловатый, усы с проседью. Идет и улыбается. Я тогда оробела и спряталась за шахтера Никиту Изотова.

А Горький подходит к нам и неожиданно спрашивает: «Так где же здесь Ира Никульшина?» Как он узнал мою фамилию, до сих пор ума не приложу. Ну, тут я вышла вперед. И он мне первой подал руку. Потом со всеми гостями поздоровался.

Вошли мы в дом. В приемной просторно, солнечно, длинные столы стоят, стулья. Присела я с краешка, у дверей. А Горький опять ко мне обращается: «Ира, ну-ка иди сюда. Садись рядом со мной». Подставляет мне чашку чаю, спрашивает: «Так сколько все же тебе лет, Ира?» — «Девятнадцать скоро исполнится»,— отвечаю я. «Замужняя?» — «Нет еще». А сама краснею. «Фотограф,— говорит тогда Горький,— сними-ка нас с этой девушкой. Глядишь, и я лет на двадцать помолодею...»

Вот уже тридцать четыре года висит у меня в комнате эта фотография — Алексей Максимович и я. Он такой был тогда веселый, приветливый, все время шутил. А я сижу и думаю: почему он разговаривает со мной, как с девочкой? Про женихов спрашивает... Осмелела я, пообвыклась немного с обстановкой, возьми да и скажи ему: «А ведь я бригадир большой комсомольской бригады». А он хитровато улыбнулся в усы и обратился тогда уже ко всем присутствующим: «Вот видите, товарищи, склероз, видно, у меня уже. Я с ней, как с невестой, разговариваю, а она, оказывается, бригадир большой полеводческой бригады... Так скажи нам, пожалуйста, Ира, как ты работаешь со своей бригадой? И вообще как тебя, такую молодую, назначили бригадиром?»

Ну, тут я все и рассказала. Откуда только и слова взялись. Рассказала, как пятнадцати лет вступила в комсомол. Как организовала у себя в Богородицком комсомольскую ячейку и стала первым ее секретарем, как до-

бывали мы у кулаков хлеб, как стреляли в меня кулацкие прихвостни, как хотели заколоть вилами... Рассказала и о том, что сначала у меня в бригаде было всего двенадцать человек, а потом стало в четыре раза больше, и посевную всегда заканчивали досрочно...

«А мне интересно, старики есть у тебя в бригаде?» — спросил Алексей Максимович. «А как же,— говорю,— есть и старики, и пожилые женщины».— «И слушаются они тебя?» — «Конечно, слушаются!» — «Вы посмотрите на нее,— сказал Горький,— она даже и не удивляется этому. А ведь уважение старших заслужить нелегко. По себе знаю.— И неожиданно спросил: — Не будешь возражать, если я в журнал «Колхозник» кое-что напишу о тебе, а?» Ну, тут я и совсем растерялась...

А через некоторое время Алексей Максимович прислал мне самый первый номер журнала «Колхозник». Открываю я его и глазам не верю. Читаю: «Видел я девятнадцатилетнюю бригадиршу Ирину Никульшину. В ее бригаде 48 мужчин и женщин, на нее «мужики» с вилами ходили, «как на медведицу», хотя на медведицу она нимало не похожа — очень милая девушка и как будто даже небольшой физической силы. Но слушаешь ее умную, деловую речь, чувствуешь глубокое ее убеждение в силе коллективизма, ее правильную оценку силы знания...» [4]

Если бы вы знали, как читали и перечитывали этот журнал у нас на селе! И мечтали о будущем нашего колхоза.

Забегая вперед, скажу: побывала я в прошлом году в селе Богородицком. Сейчас там располагается центральная усадьба колхоза «Родина». Как там все изменилось! Я не могла нарадоваться, глядя на прекрасный Дворец культуры, школу, детский сад, больницу, быткомбинат... А дома какие у колхозников!

Встречалась я и со старыми друзьями своими. Вспоминали о том, как я переписывалась с Горьким.

А переписка у нас с Горьким завязалась с той памятной встречи. Тогда в конце разговора Алексей Максимович предложил: «А не будешь ли ты, Ира, возражать, если я с тобой переписку заведу?» — «Да что вы,— говорю,— Алексей Максимович, это же такая радость для меня будет».— «Ну, а замуж будешь выходить, пригласишь на свадьбу?» Я говорю: «Обязательно!» На том и закончился наш разговор. Пожелал мне Алексей Максимович успехов и учиться обязательно наказывал. Я ему

пообещала тогда — как только добьюсь двенадцати килограммов зерна на трудодень в своем колхозе, так и пойду учиться...

В 1937 году выполнила я и последний завет Горького — поехала в город Новочеркасск и поступила учиться в высшую коммунистическую школу. А до этого я малограмотной была.

Потом и председателем колхоза двенадцать лет работала, и председателем поселкового Совета, и простой труженицей на предприятиях города Ростова, откуда и на пенсию ушла. И на всем этом жизненном пути меня всегда поддерживал, вдохновлял образ любимого пролетарского писателя. О дружбе с ним, о его простоте, человечности, о благодатном влиянии на мою судьбу я рассказала детям своим, рассказываю внукам, школьникам. Теперь вот высказала все, что было на сердце, читателям «Комсомольской правды».

Простите, что так подробно все описала. Но, поверьте, трудно коротко рассказать о своей самой светлой памяти, которую бережно храню вот уже тридцать четыре года. ⟨...⟩

А. А. СУРКОВ

НАШ РЕДАКТОР, ДОБРЫЙ И СТРОГИЙ

Как-то осенью 1934 года, через некоторое время после первого писательского съезда, мне позвонил секретарь А. М. Горького П. П. Крючков и предложил зайти к ним, на Малую Никитскую, для «серьезного разговора».

Так как до этого времени мне приходилось встречаться с Горьким случайно и главным образом при коллективных посещениях, я ломал голову: зачем понадобился нашему писательскому патриарху?

Не без сердечного трепета я шел к назначенному часу в особняк на Малой Никитской.

В прихожей меня встретил Петр Петрович Крючков и, поздоровавшись, провел в рабочий кабинет Горького.

Хозяина в кабинете не было. В ожидании я стал разглядывать корешки книг на полках и не заметил, как Алексей Максимович вошел в комнату.

Обернувшись на шорох, я увидел перед собой Алексея Максимовича — большого, чуть сутуловатого, в мягкой рубашке и сером вязаном пуловере.

Протягивая мне руку, он сказал:

— Ну, здравствуйте, товарищ Сурков! Познакомимся поближе. Присаживайтесь вот сюда,— показал он на кресло около рабочего стола,— поговорим по одному делу, которое может вас заинтересовать.

Сев за стол, он спросил меня, как оценивают недавно прошедший съезд писатели, с которыми я общаюсь. Потом перевел разговор на работу с начинающей литературной молодежью [1]. С большим вниманием и интересом слушал мой рассказ о московских рабочих литературных кружках

и объединениях, о том, кто работает консультантами, рецензирующими рукописи начинающих в издательствах, о причинах плачевной неудачи проведенного в свое время РАППом «призыва ударников в литературу» [2]. Особенно внимательно слушал рассказ о том, как поставлены преподавание и творческие семинары в молодом тогда вечернем рабочем Литературном университете, горьковском детище, прообразе ныне существующего Литературного института [3].

Выспросив и выслушав все, Алексей Максимович, вставлявший реплики по ходу моего рассказа, потрогал усы и сказал:

— А теперь возьмем быка за рога. Вот вы только что окончили Институт красной профессуры [4], так сказать, теоретически подковались. Недавно довольно резво выступили на съезде. Помогали Ставскому готовить его доклад о литературе молодых. И, как видно из вашего рассказа, давно с интересом работаете с начинающими. Учитывая все это, я и хочу сделать вам одно деловое предложение.

Вы знаете, что у нас в Ленинграде выходит с тысяча девятьсот тридцатого года журнал «Литературная учеба» [5], который я редактирую. В общем-то неплохой и полезный журнал, оправдывающий свое существование.

В паре с вечерним Литературным университетом он может принести большую пользу в вооружении идущей в литературу молодежи необходимыми знаниями и опытом.

В Ленинграде много полезных для журнала авторов. Его хорошо ведет заместитель редактора критик Ефим Добин. Но все-таки журнал рассчитан на молодежь всего Союза, ему бы полезно быть в тесном контакте с рабочим Литературным университетом. Ну, словом, мы тут посоветовались и решили перевести редакцию сюда, в Москву, поближе к правлению Союза писателей и редактору [6]. И, естественно, вести его должен кто-то постоянно живущий в Москве. Вот я и подумал: не заинтересовала ли бы вас эта работа? Я вас не тороплю с ответом. Подумайте. Поближе познакомьтесь с журналом. Устрою ли я вас как шеф? Мои позиции в вопросе воспитания литературной молодежи вы знаете — читали, наверное, статьи, присутствовали на беседах с рабочими авторами. Словом, семь раз примерьте, а если надумаете отрезать — дайте мне знать.

Я уходил от Горького взволнованный этим неожиданным предложением [7]. ⟨...⟩

Горький был тактичный шеф и очень требовательный редактор. Как правило, мы регулярно посылали ему планы очередных номеров, верстку статей. И каждый раз лично (по телефону или на квартире) или через П. Крючкова Алексей Максимович делал свои замечания и по планам, и по вышедшим номерам. Так было, когда Горький был в Москве или на подмосковной даче в Горках. Так было и тогда, когда он уезжал в Крым, в Тессели, спасаться от капризов московского климата. ⟨...⟩

Как уже было сказано, я должен был представить редактору программу журнала. Не чувствуя себя сильным охватить подробно весь круг проблем и вопросов, которые должны были быть освещенными на страницах журнала, я, будучи уверенным в том, что в вопросах народного творчества понимаю кое-что, в представленной программе именно эти вопросы изложил особенно подробно.

План послали редактору и получили приглашение основным работникам редакции приехать к нему в Горки. ⟨...⟩

Беседа затянулась до полуночи. В дверях столовой появилась домоправительница [8] и, показывая на часы, жестами напомнила хозяину, что ему пора на отдых.

Без большой охоты вставая из-за стола, Алексей Максимович сказал нам:

— Уж вы извините меня, пожалуйста, товарищи. Эта мучительница все равно не отстанет от меня. Старею. Старею. Теперь уже больше семи-восьми часов за рабочим столом сидеть не могу...

Семь-восемь часов. Это в шестьдесят семь лет! При источенных туберкулезом легких. И не считая, что, кроме того, каждый день одна, две, три, а иногда и пять бесед с разными «нужными» людьми и коллективами, жаждущими встречи с великим патриархом литературы!

В то же посещение Алексея Максимовича я убедился в том, насколько я был самонадеян, думая, что широко и хорошо знаю проблемы изучения народного творчества.

Горький сказал, что этот раздел разработан мной «прилично». И тут же стал советовать обратить внимание на новые, не названные мной аспекты разработки вопросов фольклора, называть неизвестные мне редкие работы фольклористов, советовать, каким авторам лучше заказать написать статьи на те или иные темы. ⟨...⟩

Последний раз я встретился со своим редактором в Крыму, в Тессели, где он жил зимой.

В День Красной Армии я проводил из Севастополя радиорепортаж с подводной лодки, находящейся в море. ⟨...⟩

На другой день около полудня машина была прислана, и я, совершив короткий пробег от Севастополя до Байдар, очутился в Тессели.

Алексей Максимович встретил меня радушно, но был какой-то нахохленный — недомогание давало о себе знать.

Расспрашивал меня о редакционных делах. Сделал несколько замечаний по последним присланным ему номерам. Поскольку я был в те времена секретарем поэтической секции, интересовался, сказались ли в деятельности наших поэтов результаты встречи с Горьким минувшим летом.

Потом посетовал на одного тогда еще молодого литератора, которому Алексей Максимович помог выйти в люди с первой книгой: новое свое произведение, несовершенное и сырое, которое Горький прочел и рекомендовал не торопиться печатать, напечатал в журнале, редактор которого «обижен на Горького за критику и напечатал эту вещь в пику ему».

После обеда я уехал в Севастополь, унося грустное впечатление от этого моего посещения, оказавшегося последним.

Летом Алексей Максимович ушел из жизни. Мне не привелось увидеть его на смертном одре. Я был в деревне и поздно узнал о постигшей нас тяжелой утрате.

О светлом времени работы у него «под рукой» сохранились два больших письма, показывающих, как близко к сердцу принимал он дела редактируемого им журнала, как был он озабочен судьбой литературной молодежи, видя в ней завтрашний день нашей литературы.

И, пожалуй, за всю историю нашей русской литературы не было писателя, который бы, подобно Горькому, с первых лет своей жизни в литературе так много отдавал энергии и силы сердца литературной молодежи и так много вывел в литературу людей, чьи имена написаны на заглавной странице ее истории.

А. А. ПРОКОФЬЕВ

У ГОРЬКОГО

Летом 1935 года Федин, Маршак, Тынянов, Ильин и я получили приглашение приехать к Горькому. Я не знал, как мне отнестись к приглашению. Дело в том, что Горький незадолго до этого очень меня разругал за редактуру книжки Ал. Молчанова «Крестьянин» [1]. Разругал справедливо, но сильно, сильнее, как мне казалось, чем следовало. Я переспросил Союз писателей: не ошибка ли адресованное мне приглашение приехать к Горькому? «Нет»,— ответили мне из Москвы и подтвердили надобность нашего приезда.

В Москве мы узнали, что должна быть большая встреча писателей с Горьким [2]. Но нам посчастливилось. Горький принял нас отдельно, независимо от общей встречи.

...Горки. Дача. Широко раскрываются ворота. Садовая дорожка. Увижу Горького! Как он встретит? Что скажу я ему? Но Горький уже ожидает нас в подъезде. Я подхожу к нему, рекомендуюсь, жму руку. Он всматривается в меня, задерживает мою руку и говорит:

— Так это вас я обругал?

— Да, меня, Алексей Максимович,— смущенно отвечаю я,— но ничего, ничего. (Тут уже начинается лепет — все, дескать, теперь уже прошло.)

— Да по заглазью-то ничего, а в глаза совестно,— говорит Алексей Максимович.

И мне этих слов никогда не забыть. Я повторил их сейчас, и вновь старое, нахлынувшее тогда на меня чувство заполнило мое сердце.

«Горький прост и сердечен,— записал я по возвращении.— Его не крушит время. Он бодр».

Никак не ожидал я, что через год буду стоять в

почетном карауле у гроба Горького, что через год, в конце июня, траурный марш Шопена зальет всю страну, весь мир, что Горького не будет...

Горький много курил. Перед ним на столе пепельница. В ней обгоревшие спички. Я увидел, как велика была страсть у Горького к огню. Вот он складывает в пепельнице лесенкой полуобгоревшие спички и поджигает их. Горит маленький-маленький костер. Горький доволен.

У Горького в то время гостил Ромен Роллан. По нездоровью он не участвовал в нашей беседе. Мы все пришли к нему наверх. Высокий человек откинул плед, поднялся с дивана. Седые пучки бровей мне запомнились навсегда. Наш разговор с Р. Ролланом был краток. Горький также участвовал в нем. Как сейчас вижу я его стоящим у двери небольшой комнаты, сутуловатого, разглаживающего обеими руками рыжеватые усы, доброго, простого Алексея Максимовича.

Потом, за столом, я много говорил с ним о фольклоре, о кино, читал стихи. Я знал, что ему очень нравится герой русских былин Василий Буслаев. В беседе со мной Горький говорил о том, что надо бы создать оперу, где Буслаев был бы главным действующим лицом [3]. Горький спросил, есть ли у меня «Сказание о Русской земле» Сахарова [4]. Обещал достать и прислать мне эту книгу.

Горький любил народное творчество и укрепил мою веру в него. Я очень благодарен ему за это.

Дальше цитирую по «Литературному Ленинграду», по номеру от 20 июля 1935 года:

«О многом мы переговорили с Алексеем Максимовичем за четыре часа.

О кино. О двух фильмах последнего выпуска тепло отозвался Горький. Это о «Границе» и «Пэпо» [5].

— Не правда ли, хорошие картины? — сказал он.

Я обратил внимание Алексея Максимовича на последний эпизод в кинокартине «Пэпо», на демонстрацию перед тюрьмой, сказав, что он мне кажется условным.

Горький ответил, что он знает эту тюрьму, что окна ее находятся близко от земли и что картина правдива...

Обратно я ехал в одной машине с С. Я. Маршаком.

— Вот Горький! — говорил Маршак. — По-моему, мало найдется людей с искрой, которые прошли мимо Горького, не ободренные его вниманием.

Я навсегда согласен с ним».

Ю. А. ШАПОРИН

О ГОРЬКОМ

⟨...⟩ В первый раз я пожал руку Горького в его доме на Никитской, куда меня повезла тогдашняя директриса Большого театра Елена Константиновна Малиновская, большой и многолетний друг Горького [1]. Это было 1 июня 1931 года. Был яркий солнечный день. В большую комнату с окнами, чуть не во всю стену, вошел высокий, немного сутулый Горький, с проницательными серо-голубоватыми глазами, слегка рыжеватыми волосами, и подал мне большую теплую руку.

Целью приезда Малиновской, давнишней знакомой по Нижнему Новгороду и близкого друга Горького, было желание получить от писателя либретто для оперы «Мать». Меня же она взяла с собою как бы консультантом. Но едва начавшийся разговор на эту тему был прерван внезапным появлением Алексея Николаевича Толстого. Горький, питавший к нему чувства, которые не назовешь иначе как отеческими, обнял его и увел в другую комнату. Затея Малиновской получить от Горького либретто потерпела фиаско [2]. Она уехала, я же был приглашен остаться и провел в доме писателя весь день. С тех пор и до конца жизни Горького я очень часто бывал в его доме на Никитской и на даче в Горках, чему в значительной степени способствовали дружеские отношения, установившиеся между его сыном Максимом и мной.

В музыке писатель ценил «чудесную», как он говорил, способность проникать до глубины души и, как никакое другое искусство, передавать и жизненные радости и скорби. Он не раз возвращался к мысли о симфонии, темой которой был бы человеческий труд и в пору, когда

народ был подневольным, и в наше время, когда он стал свободным.

Эта мысль великого писателя, к сожалению, не осуществлена, как не осуществилось и его желание о народно-героической опере на былинном материале. Алексей Максимович неоднократно и настойчиво советовал искать сюжеты в богатырском эпосе, ярко отражающем героическое прошлое русского народа. «Освобожденный народ должен знать свою историю, показанную в художественных образах»,— говорил он. Эти слова, заключенные мною в кавычки, как и другие эстетические положения великого писателя, передаются мною с буквальной точностью. Он неоднократно возвращался к русскому эпосу. Особенно привлекал его образ Василия Буслаева. «Какой чудесный материал для либретто представляет, например, былина о Василии Буслаеве» [3].

Заговорив как-то об оперном либретто, Алексей Максимович сказал: «Каждый композитор отлично знает наиболее сильные стороны своего дарования и поэтому должен строить свое либретто так, чтобы наиболее ярко выразить эти свои стороны». В другой раз он возвратился к этой же теме, говоря в несколько назидательном, даже повелительном тоне: «Композиторы сами должны писать либретто, а писатель, литератор призван быть лишь помощником в оформлении замысла композитора».

Заговорили как-то о волжских песнях. «Я много их знаю, а в тех сборниках народных песен, что попадались мне, я их не нашел.— И, хитро прищурив правый глаз, сказал:— Как-нибудь спою вам». Ждать пришлось долго. Но как же я был вознагражден, когда Алексей Максимович однажды, взяв решительно меня за руку, сказал: «Пойдем»,— и повел меня в одну из отдаленных комнат дома. Когда мы вошли в нее, Алексей Максимович, оглядев комнату, вопросительно заметил: «А рояля-то нет!» — «Зачем? — ответил я.— Мы обойдемся и без него. Вы будете петь, а я записывать», после чего хозяин, заперев дверь на ключ, начал петь своим слегка надтреснутым голосом, по высоте и тембру близким к баритону.

Пел он стоя, положив правую руку на грудь, а левую держа у головы.

Как описать мое состояние? Я в первые минуты так волновался, что долго не мог сосредоточиться на предстоящей записи. Овладев наконец собою, я взял карандаш и записал две песни. Из них бурлацкая «Мы идем босы,

голодны, ты подай, Микола, помочи» является, не преувеличиваю, шедевром народно-певческого искусства русских людей. Впоследствии, уже когда Горького не было на свете, я обработал ее для голоса и фортепьяно [4].

Буквально на днях, после того как я получил от Надежды Алексеевны Пешковой предложение выступить с моими воспоминаниями об Алексее Максимовиче и живя этой мыслью, я вдруг вспомнил о непростительной оплошности, допущенной мной при записывании песен, петых мне Горьким. Я ударил себя по лбу и, обращаясь к самому себе, горько воскликнул: «Как же ты не позаботился о том, чтобы записать голос поющего Горького на пластинку!» Ведь эта запись — уникальная запись — ценилась бы теперь, когда Горького нет среди нас, на вес золота. Но прошлого, как говорится, не воротишь.

Все знавшие Алексея Максимовича дивились его необыкновенной памяти. Я хотел бы привести один пример для доказательства этого могучего дара великого писателя из области музыки. По его просьбе я играл ему некоторые места из долго сочинявшейся мною оперы «Декабристы» [5]. Окончив четвертую картину (у Рылеева), я в одну из встреч сыграл ее Горькому. В тот раз он слушал ее впервые. Через год, зайдя на Никитскую, я после долгой разлуки встретился с Алексеем Максимовичем. Говорили о том о сем. Вдруг хозяин быстро встал и, поведя меня за руку к роялю, сказал: «Сыграйте мне ту штуковину».— «Какую?» — недоумевающе спросил я. «Ну, ту, что играли в прошлом году». Я понял, что дело идет о четвертой картине, и сыграл ее. «А зачем вы ее сократили?» — грозно спросил Горький. Я так и ахнул. Подумайте, один только раз слышать сочинение и запомнить его настолько, чтобы заметить сделанную купюру. Не всякий большой музыкант на это способен.

Как-то совсем неожиданно Горький предложил ехать в Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко на оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича [6]. Мы сидели в ложе. Горького восхитила ария Катерины (из второй картины), сцена в полицейском участке и все последнее действие. Это действие особенно тронуло писателя, и он утирал набежавшие слезы. В ложу вошел В. И. Немирович-Данченко. Чтобы не мешать им, я вышел из ложи и, конечно, не решился спросить, о чем они так долго беседовали, хотя и предполагал, что темой послужил спектакль оперы.

Как-то раз я привел на Никитскую пианистку Юдину. В те поры она была в зените своего исполнительского искусства, играла Баха и очень тронула хозяина своим исполнением. Слушая однажды Грига, Алексей Максимович сказал: «В его музыке видишь чудесные картины северной природы: и туманное утро, и солнечные лужайки, фиорды и скалы, мирные пастбища, тихий ручеек и чувствуешь силу гордого народа».

Не помню точно года, когда Горький в беседе со мной открыл одно неизвестное мне обстоятельство, но точно помню его слова (я их тогда же записал). Вот они: «Приезжаю как-то из Сорренто в Неаполь и, представьте себе, узнаю, что из гостиницы, где я остановился, накануне уехал Федор (так назвал он Шаляпина). Уверен, что если бы мне удалось повидаться с ним и наедине поговорить, долго поговорить, я убедил бы его вернуться на родину».

У Горького была, как он сам сказал об одном из своих героев, «певучая душа». Он глубоко чувствовал и любил музыку. И как хорошо и чутко сказал о Горьком Александр Блок в юбилейном приветствии, когда пожелал великому писателю: «Чтобы не оставлял его суровый, гневный, стихийный, но и милостивый дух музыки, которому он, как художник, верен» [7].

Я не случайно соединил эти два имени. Их творчество явилось той духовной пищей, которая питала меня на моем жизненном пути, продолжает питать и на завершительном его участке.

Слава Горького все растет и растет. Не знаю, каков был бы путь советского искусства, если бы в нужное для России время не появился этот титан, соединивший в себе необыкновенный дар писателя и человека, о котором он так величественно сказал: «Человек, это звучит гордо».

И. П. ЯУНЗЕМ

В ГОСТЯХ У А. М. ГОРЬКОГО

13 июля 1935 года. Обычный летний день. Но каким он был для меня необычным! Накануне мне позвонил П. П. Крючков, секретарь А. М. Горького, и сообщил, что Алексей Максимович хочет познакомить гостящего у него в Горках французского писателя Ромена Роллана с моим искусством, и просил меня приехать. Мне предстояло петь перед двумя великими писателями нашей эпохи, произведения которых я очень любила.

Когда мы приехали в Горки, в вестибюле нас встретили родные Алексея Максимовича. Поднявшись на второй этаж, мы очутились в большой комнате с белыми мраморными колоннами. Посреди стоял стол, накрытый белой скатертью, на нем огромный букет розовых пионов в вазе. Справа, между колоннами и стеной, я сразу заметила рояль, слева — небольшой овальный столик и несколько глубоких мягких кресел.

Как волновалась я, как ждала этой встречи! Но когда раздался спокойный голос Алексея Максимовича и на пороге показалась его высокая фигура, когда его теплая, сильная и мягкая рука пожала мою руку, когда я встретила его внимательный взгляд, мне сразу стало хорошо и спокойно. Казалось, я его знаю долгие годы как старого, доброго друга.

Алексей Максимович ласково улыбнулся мне, приглашая сесть, и негромко сказал: «Я вас знаю, не раз слышал по радио и в концерте на съезде писателей». Завязалась непринужденная беседа. Мы заговорили о Роллане, и вдруг в это самое время в дверях появился сам Ромен Роллан — высокий, худой, в темном костюме, с

белоснежным крахмальным воротничком. Я увидела бледное, почти прозрачное лицо с чуть заострившимся носом и необыкновенно лучистыми глазами. В комнату вместе с ним вошла его жена Мария Павловна, за ними — сын с невесткой и ленинградская художница В. М. Ходасевич. Мы поздоровались.

Заговорили о погоде. Алексей Максимович рассказал нам: недавно он прогуливался по саду. Вдруг сильный порыв ветра подхватил цыплят. Они не устояли на тоненьких лапках и покатились, как ярко-желтые шарики. А курица, распушив перья, с криком бежала за своими питомцами.

— Вот если бы меня ветер так погнал по своей воле, наверное, было бы мне так же мало приятно, как этим цыплятам! — шутил хозяин.

Все рассмеялись. Я смотрела на Алексея Максимовича, прислушиваясь к его мягкому, чуть окающему говору. Как свободно и легко он говорил, как умел сразу создать вокруг себя атмосферу дружеской непринужденности!

Потом Алексей Максимович попросил меня спеть. Я подошла к роялю и коротко рассказала содержание первой песни «Сказ про татарский полон». Пела я как во сне, и пришла в себя только тогда, когда кончила петь. Сознание, что я пою перед двумя великими художниками, вызвало во мне огромное волнение, воодушевлявшее меня, придававшее мне новые силы. Я стремилась раскрыть поэтическое содержание и колорит песен, передать моим слушателям красоту народной музыки. Мне хотелось, чтобы эти песни стали этим двум людям такими же близкими и дорогими, как и мне!

Я спела русскую песню, записанную мною в Сибири, чудесную украинскую «Чуешь, брате мий», затем башкирскую, татарскую, армянскую, еврейскую, белорусскую...

— Самая замечательная песня про полоняночку,— сказал Ромен Роллан,— во Франции есть аналогичная ей песня о короле Роланде — такая же эпическая, спокойная, повествовательная...

С этим согласился и Алексей Максимович.

После обеда я опять много пела. Слушая веселые, задорные песни, Алексей Максимович весь светился доброй улыбкой, ударял в ладоши. А ударял он ими очень забавно: поворачивался ко мне всем корпусом, раскрывая широко руки, как будто хотел обнять, и хлопал ладонью

об ладонь, что-то одобрительно бормоча. Какое очарование от него исходило, сколько было в нем простоты и непосредственности.

Вечером, за чаем Алексей Максимович много говорил об Италии. В его рассказе оживали картины этой далекой страны — ее природа, быт, люди. Горький хорошо знал и любил итальянскую народную песню.

— Нередко,— говорил он,— песни слагаются безвестными поэтами и композиторами из народа, мелкими ремесленниками, рыбаками, уличными торговцами. Бывает, что такие песни быстро подхватываются и приобретают популярность, иногда даже выносятся на эстраду в исполнении певцов-профессионалов.

С неподражаемой живостью и юмором Алексей Максимович рассказал нам о случае, свидетелем которого он был. В одном театрике певица исполняла какую-то песенку, имевшую огромный успех у слушателей. Раздались возгласы: «Автора, автора!» Певица поклонилась и ушла за кулисы. Зрители услышали какой-то неясный шум: за кулисами что-то происходило, кого-то тянули на сцену, кто-то отчаянно упирался.

Певица снова вышла и опять одна. «Автора, автора!» — настаивала публика. Наконец певица вызвала на авансцену отчаянно упиравшегося «автора» — длинного верзилу в клетчатых брюках и затасканном пиджаке... Публика на мгновенье смолкла от неожиданности, и в этой тишине с галерки вдруг раздался чей-то голос: «Ого-го! Какая каланча!» Потом взрыв смеха, и новая лавина аплодисментов. Как выяснилось потом, автором этой песни оказался местный ремесленник.

И еще вспомнил Алексей Максимович, как однажды он был в Милане в оперном театре «Ла Скала». Шла опера «Севильский цирюльник» Россини. В спектакле участвовали четыре гастролера в заглавных партиях, в том числе и Федор Иванович Шаляпин. Опера шла на итальянском языке. По установившейся традиции, гастролерам не разрешалось бисировать свои арии. Перед спектаклем Шаляпин поспорил со своими друзьями, что он будет бисировать «Клевету».

Театр был переполнен. Появление Шаляпина публика встретила бурными аплодисментами. Но после исполнения арии «О клевете» восторги достигли предела. Аудитория шумела, неистово кричала — так захватила всех игра и исполнение русским певцом этой партии.

Неожиданно дон Базилио — Шаляпин подошел к авансцене, вытянул вперед худую руку с длинными растопыренными пальцами, сделал выразительный жест, как бы призывая зрителей к тишине, потом, повернув голову в сторону Бартоло, на чистейшем итальянском языке произнес: «Так вы знаете, что такое клевета?— и, безнадежно махнув рукой, сказал:— Нет, вы не знаете, что такое клевета!»

Затем, обращаясь к зрительному залу: «А вы знаете, что такое клевета? — и в воцарившейся тишине, приглашая рукой дирижера и оркестр, Федор Иванович сказал:— Никто не знает, что такое клевета! Маэстро! Давайте еще раз расскажем и втолкуем всем,— что такое клевета!»

Растерявшийся и весь под обаянием силы таланта русского артиста дирижер поднял палочку... и Шаляпин спел во второй раз арию «О клевете». Вообразите себе восторг театра!

Пел Шаляпин так мастерски, так блестяще, что дирекция театра простила ему остроумную выходку. Так Шаляпин выиграл пари...

Мы заговорили о Японии. Я рассказала, что была там дважды. Потом речь зашла о книгах, о вышедшей недавно книге «Слово о полку Игореве» в издательстве «Академия». Алексей Максимович хвалил оформление книги, особенно рисунки палехского художника Голикова. Заговорили о палешанах, о новой книге Соболева «Народная резьба по дереву» [1]. Горькому понравилось, что эти книги мне знакомы. А с каким восторгом отзывался Алексей Максимович о наших первых женщинах-парашютистках! «Веселые, бойкие девчата,— говорил он.— Прыгнуть с самолета им ничего не стоит, рассказывают об этом просто, скромно, как о самом будничном деле». Понравились ему ребята из Болшевской трудовой коммуны, они приезжали к Горькому с целым самодеятельным концертом: пели, играли на балалайках, плясали [2].

Вспоминая о недавнем посещении болшевцев, Алексей Максимович заговорил об успехах нашего самодеятельного искусства. «Нельзя не поражаться яркости, свежести и самобытности народных талантов,— говорил он.— Искусство помогает нам перевоспитывать людей, оно организует и сплачивает коллектив... вырабатывает хороший вкус...»

И опять повторил, какое огромное значение имеет русская народная песня для развития советского музыкаль-

ного творчества. Величайшие создания русской музыки органически связаны с образами русского народного творчества. И в операх, и в симфонических произведениях великих русских композиторов широко раскрывается то, что в народном творчестве существует в лаконичных, но глубоко выразительных образах песен, сказов.

Алексей Максимович очень хвалил обработки песен, которые я ему пела, особенно ему понравились обработки С. Василенко, М. Штейнберга, М. М. Ипполитова-Иванова.

Позже, когда после нашей встречи я перечитывала произведения Горького, я поняла, как много сделал он сам для развития национального искусства братских народов, в частности музыки. Он писал: «Вот передо мной сборник «Тысяча казахских-киргизских песен» — они положены на ноты, оригинальнейшие их мелодии — богатый материал для Моцартов, Бетховенов, Шопенов, Мусоргских и Григов будущего. Отовсюду — от зырян, бурят, чуваш, марийцев и так далее — для гениальных музыкантов будущего льются ручьи поразительно красивых мелодий... Думаешь, конечно, не только о музыке будущего, а о будущем страны, где все разноязычные люди труда научатся уважать друг друга и воплотят в жизнь всю красоту, издревле накопленную ими. Это — должно быть, и это будет...»

Здесь великий писатель высказал целую художественную программу для развития молодой советской музыки. Вспоминая теперь слова Горького о том, как важны в искусстве простота и реализм, верность исторической правде и глубокая народность, я с волнением думаю о великой мудрости и действенной силе этих замечательных заветов гениального художника и человека.

Но возвращаюсь вновь к той памятной встрече.

Заговорили о литературе и опять о песне.

— Вот Миша Шолохов,— с отеческой лаской в голосе сказал Алексей Максимович,— знает много замечательных песен донских казаков. Надо бы свести вас с ним!

За этой интересной беседой о музыке мы засиделись далеко за полночь. На прощание Алексей Максимович велел срезать побольше пионов и, передавая мне огромную охапку цветов, сказал:

— Приезжайте, обязательно приезжайте еще!

Я поблагодарила.

— Небось опять куда-нибудь уедете надолго... Жди вас!

Мы засмеялись. Через день я получила от Алексея Максимовича пакет с фотографиями его, Ромена Роллана и прекрасной книгой избранных сочинений Горького с теплой надписью, а также письмо и тексты четырех прекрасных старинных русских песен, записанных им самим.

В письме он мне писал:

«Вот, Ирма Петровна, посылаю Вам обещанные песни... Очень хочется, чтоб Вы украсили Ваш богатейший репертуар и русскими старыми песнями. Сердечно благодарю Вас за прекрасный вечер, хорошо Вы поете! *М. Горький*» [3].

М. Ф. ОШУРКОВ

«ПОТОМ, ПОТОМ...»

Мне посчастливилось за многолетнюю работу в документальном кино встречаться со многими замечательными людьми нашей страны. Но с особым волнением я вспоминаю встречи с великим пролетарским писателем А. М. Горьким, которого мне не раз доводилось снимать.

Большая сутуловатая фигура, исключительно выразительное лицо с «горьковской» неповторимой, я бы сказал, лирически мягкой улыбкой — ухмылкой в усы, и глаза, то весело искрящиеся, то строгие и серьезные, но всегда предельно выразительные,— разве все это можно забыть!

А. М. Горький не любил сниматься, но мне удавалось это делать: я часто бывал на даче Алексея Максимовича в Горках, он привык ко мне и при встречах говорил, кладя руку на плечо: «Ну, как дела, старик?» Иногда заставал я Алексея Максимовича в саду собирающим сушняк, ветки в небольшие кучки-костры, которые он так любил,— они ему напоминали Волгу! Спросишь его, можно ли снять это? А он в ответ свое обычное: «Потом, потом».

Но в один из сентябрьских дней 1932 года нам сообщили, что Алексей Максимович дал согласие сняться и произнести речь для звукового кино. Несовершенство аппаратуры того времени заставило нас изрядно поволноваться. Шутка ли — первая звуковая съемка Горького! Проверяем досконально свое звуковое «хозяйство». Наконец все готово.

Выехали на дачу Горького в Горки. Алексея Максимовича мы застали в саду с Дарьюшкой и Марфинькой — его внучками. Нам везет — исключительно удачная погода, солнце, да и настроение, как видно, у Алексея Максимовича

неплохое! Подойдя к нам и поздоровавшись со всеми, он сказал: «Ну-ка, ну-ка, покажите, что за штуку вы привезли». Наш звукооператор А. Карасев рассказал Алексею Максимовичу о принципе звукозаписи по системе инженера Шорина. Звуковые съемки только-только начинали входить в практику работы документального кино. Мы поставили микрофон на стол, все приготовили и уже собирались включить камеру, как вдруг, кашляя, Горький произнес: «Зачем вам зря тратить пленку, я ведь не оратор, о чем же вам сказать? О роли кино?» И, помолчав, он начал говорить о культуре [1]. Так началась эта историческая съемка...

Как всякий истинный художник, Горький любил красоту, любил молодость. Огромное удовольствие доставляли ему физкультурные парады на Красной площади, он не все время находился наверху, на трибуне, а часто спускался вниз, к подножию Мавзолея, чтобы быть ближе к молодежи и спортсменам, видеть их лица.

— Черт побери, какая молодежь! Смотри... смотри... — то и дело повторял Алексей Максимович.

С 17 августа по 1 сентября 1934 года под председательством Горького в Колонном зале Дома Союзов в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Нам, документалистам, предстояло сделать фильм об этом съезде. Малочувствительная пленка и слабая оптика того времени не позволяли снимать с небольшим количеством света, и мы вынуждены были во многих местах зала расставить мощные прожекторы. Все было хорошо до выхода Алексея Максимовича на трибуну. Нам удалось снять делегатов, аплодировавших Горькому. Он долго не мог начать говорить, наши «юпитеры» нагрели зал и слепили ему глаза; наконец, надевая очки, Алексей Максимович строго и в то же время шутливо сказал: «Уберите этот бесовский свет!» Снять Горького через некоторое время все же удалось.

Во время перерыва между заседаниями я снял Алексея Максимовича беседующим с ашугом Сулейманом Стальским. Это о нем с трибуны съезда Горький сказал: «Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман».

Из съемок на съезде писателей мне особенно запомнилась одна — во время беседы Алексея Максимовича с «Гринчихой» — Софьей Ивовной Гринченко, колхозницей, героиней повести В. Ставского «Разбег» [2]. Алексей Мак-

симович резко жестикулировал, временами хмурился, чем-то был недоволен; к сожалению, занятый съемкой, я не запомнил их разговора.

В мае 1935 года А. М. Горький получил сообщение от жены Ромена Роллана Марии Павловны о том, что вскоре в Советский Союз приедет Р. Роллан, и вот 30 июня мы уже снимаем их на Красной площади, где они наблюдают за физкультурным парадом. Роллан сидел около трибуны на стуле, закутанный в плед. Врачи запретили ему выходить в этот день на улицу, однако он уговорил их отпустить его на полчаса на площадь. Но встреча с Горьким, красочность и необычность парада, физкультурники, приветствовавшие его и Горького,— все это заставило Роллана пробыть на Красной площади до конца. После парада я попросил у Алексея Максимовича разрешения приехать на дачу и снять его вместе с Роменом Ролланом. Алексей Максимович дал согласие. В этот день к нему приехали советские писатели для встречи с Ролланом. Встреча проходила в зале, где мы не могли снимать, поэтому около выхода из дачи в сад мы поставили плетеный соломенный диванчик и по окончании встречи попросили сесть Р. Роллана и Горького, сзади стояла жена Роллана — Мария Павловна. Видя, что мы снимаем для кино, они вели непринужденную беседу. Здоровье Р. Роллана было очень слабым, и даже в этот жаркий июльский день он не расставался с пледом, который был наброшен на его плечи. После этого я снял их гуляющими по саду и беседующими около фонтана. 21 июля Роллан уехал на родину. Эта их встреча была первой и единственной. Перед отъездом он подарил Горькому свой портрет с надписью: «Моему дорогому другу Максиму Горькому в память о прекрасных неделях, проведенных у него, с глубоким волнением. Ромен Роллан. Москва, 21 июля 1935 г.».

Уже в конце дня, когда все разъехались, Алексей Максимович вдруг сам захотел сняться. «Знаешь что, старик, сними меня, пожалуйста, в одном костюме». Алексей Максимович попросил секретаря съездить в Москву на машине и привезти тот самый костюм, в котором он хотел сняться.

Ждали очень долго, но я в это время снял Алексея Максимовича за рабочим столом; это был особый стол, выше нормального, врачи запретили Горькому сильно наклоняться. Наконец привезли костюм, но стало совсем темно, а упустить такую исключительную возможность —

сделать новый снимок, да еще по его просьбе — было бы обидно. Я помог Алексею Максимовичу надеть привезенный костюм и шляпу, очень большую и широкополую, черного цвета; такого же цвета была накидка. Пришлось попросить Алексея Максимовича выйти из комнаты на балкон, где было светлее, и не делать резких движений — съемка велась замедленно. Я очень волновался, но, к счастью, все получилось хорошо. После съемки я горячо благодарил Горького, а он, прощаясь, сказал своим волжским окающим говором: «Только обязательно дайте под этим снимком подпись, что в этом костюме-крылатке я ходил в 1895 году в городе Самаре».

С волнением и теплотой вспоминаю я сейчас все отдельные, порой, казалось бы, незначительные штрихи, реплики, замечания этого скромного человека, отдавшего весь свой талант, всю свою огромную творческую энергию служению любимой родине.

П. А. ПАВЛЕНКО

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

А. М. ГОРЬКИЙ

⟨...⟩Я впервые увидел Горького в 1932 году. Тот, кто был героем отроческих мечтаний, стоял передо мною в вестибюле особняка на Малой Никитской и ласково приглашал войти, пытливо и, как мне показалось, с чрезмерным любопытством разглядывая меня, нового, еще неизвестного ему. Тогда я еще не знал пристрастия Горького ко всем новым людям, от которых, как от непрочитанной книги, он всегда ожидал каких-то открытий.

Это было в апреле 1932 года, вскоре после ликвидации РАППа Центральным Комитетом ВКП(б) [1]. Я пришел с Н. С. Тихоновым, который передал мне приглашение Горького прийти в ближайшие дни и рассказать о Ближнем Востоке [2]. С непростительным ухарством я согласился.

Но стоило мне увидеть Алексея Максимовича и невольно поежиться под его изучающим взглядом, как я понял, что не смогу произнести ни слова и что буду вести себя невероятно глупо и смешно.

В тот день у Алексея Максимовича было людно. Из Ленинграда приехали Алексей Николаевич Толстой, Тынянов и Тихонов, пришли москвичи — Фадеев, Ермилов, кажется, Никулин и еще кто-то. Разговор шел сразу о многом. В моей памяти остались только вопросы Горького, обращенные ко мне,— давно ли пишу, чем сейчас занят. Узнав, что я закончил повесть «Баррикады», о днях Парижской коммуны, он немедленно посоветовал то-то и то-то прочесть. К счастью, я смог ответить, что уже читал рекомендуемое.

— А в Тьера [3] не заглядывали?

Я ответил утвердительно, добавив, что познакомился с

живым участником Парижской коммуны, проживавшим тогда в Москве, на покое [4]. Горький заинтересовался.

— Кто он, каков? Кем был при Коммуне? Где живет?

Казалось, он выспрашивает для того, чтобы завтра же отправиться к старику коммунару и все, что я рассказал, досконально перепроверить.

Горький терпеть не мог литераторов, плохо знающих свой материал, и я понял, что перестану для него существовать, если провалюсь на первом же испытании.

Спустя несколько лет вопрос о Парижской коммуне снова возник в доме Алексея Максимовича — в связи с пребыванием у него Ромена Роллана [5].

Меня представили знаменитому гостю как автора книги о Парижской коммуне, и тот, естественно, заинтересовался, бывал ли я в Париже и где и как подбирал материалы для своей работы. Помню взгляд Алексея Максимовича, настороженно-беспокойный, тревожный: не завалишь ли? Он слушал мои ответы Роллану, нервно постукивая по столу пальцами. Когда же выяснилось, что большинство материалов я извлек из наших советских архивов и что я мог достаточно уверенно беседовать о Коммуне с одним из образованнейших французов, Горький заулыбался. Удивительная это была у него черта — гордость за своих! Вот-де, хоть и не француз, а знает... да-да...— говорила тогда его довольная улыбка. ⟨...⟩

Вечера в доме Горького были школой огромного значения для нас, писателей. Столько, бывало, узнаешь за чаем или ужином, что потом и самому становится непонятно, как можно жить, не зная столь необходимых и необыкновенных вещей. Горький собирал ученых, писателей, живописцев, людей практической жизни,— это была академия узнавания, обмена опытом, академия дерзких планов и проектов.

Меньше всего говорилось о фабуле и сюжете. Горький избегал узкопрофессионального, технологического разговора о литературе. В разговорах с писателем его привлекали проблемы общие, тематические...

Идеи — вот что интересовало его. Что и о чем мы будем говорить своему читателю, куда зовем его, а если не зовем, так почему же, в силу каких препятствий?

Рассказчик он был необыкновенный. Не рассказывал — лепил, коротко и сильно; слушать его рассказы было то же, что учиться писать. Для нас он как бы писал вслух. Наверное, так в академиях живописи великие художники

углем набрасывают перед учениками кроки полотен, этюды лиц, приучая мгновенно схватывать натуру.

Сурово иной раз звучали горьковские уроки. Человек сердечнейший и душевный, он был жесток как учитель и за дурной рассказ, за неграмотную фразу без сожаления мог отделать любого.

Литературу — и особенно русскую — он любил и знал отличнейше и высоко ценил ее идейность, подвижничество. Святыней было для него наследство великанов нашего искусства — Пушкина, Лермонтова, Белинского, Тургенева, Толстого. Он рассматривал его как национальный капитал, который следует бережливо приумножать, а не разбазаривать, и горе было тому, на чью грешную голову обрушивался гнев Алексея Максимовича. В его устах слово «русский писатель» звучало торжественно и гордо. И каждый начинал вдруг осознавать себя принадлежащим (пусть в последней шеренге) к огромной и славной армии.

Сидишь, пьешь чай, слушаешь Алексея Максимовича и вдруг в смятении ощущаешь, что ты — соратник Пушкина по профессии, что ты — в одном союзе с Тургеневым, Чернышевским, Львом Толстым, Чеховым, что ты — господи боже! — их законный наследник и даже продолжатель.

Вспоминая о встречах с Горьким, не раз я говорю себе: путь мой как литератора был бы совсем иным, гораздо худшим, не подари мне жизнь счастья видеть, слышать и учиться у Горького, хотя этим я, конечно, вовсе не хочу сказать, что я всему, что надо, выучился и смею называть себя его учеником.

Об одном не могу не жалеть — что знал его я не много лет.

Мне довелось некоторое время вести два горьковских начинания — журнал «Колхозник» и альманах, называвшийся «Год шестнадцатый», «Год семнадцатый»[6] и так далее, и быть свидетелем того, как работал Горький со своими корреспондентами. Я сознательно употребил глагол «работать». Ибо переписка Алексея Максимовича не чем иным и не может быть названа, как только гигантски сложной работой.

Искусство писать письма — дело нелегкое, но наша литература знает много великолепных мастеров эпистолярного жанра — например, Антона Павловича Чехова.

Когда трудами неутомимого творческого друга его, Марии Павловны Чеховой, будет завершено издание всех

чеховских писем [7], мы с удивлением и благоговением увидим, как много сделано Чеховым в своих письмах, в этих крохотных новеллах с тиражом в один-два экземпляра каждая. Если писание рассказов было для Чехова средством разговаривать с тысячами, то писание писем предполагало общение каждый раз только с одной личностью, с одной душой,— и как же глубоко проникал Чехов в души своих корреспондентов!

Если бы мне предложили одним словом охарактеризовать стиль чеховских писем, я произнес бы слово «забота». Чехов все время о ком-нибудь или о чем-нибудь заботился. Это письма страдальца за чужие беды. Они иной раз душевнее и нежнее, чем даже его рассказы, потому что в них скрыта личность самого автора.

Письма же Горького — это работа. То работа с начинающим, то с неудачником-изобретателем, то с избачом по поводу чтения вслух, то с пионером по поводу стихов, то с деятелем национальной культуры относительно принципов художественного перевода или организации театра народов Советского Союза.

Чехов и Горький — вообще удивительные мастера переписки, неутомимые, разнообразные, неповторяющиеся.

Отвечая многочисленным авторам рукописей по журналу «Колхозник», я обычно рассказывал Алексею Максимовичу, что и кому я написал. Ужасно много огорчений приносили мне эти мои доклады.

Однажды я сообщил, что возвращаю автору, куда-то в Сибирь, рукопись большого, но удивительно безграмотного романа.

— Женат? — насторожившись, спросил Горький.

— Кто, Алексей Максимович?

— Да этот ваш автор, кто же, не мы с вами.

— Не знаю.

— А жаль!.. Кто его там знает, а? Может быть, человек женился... черт его... дети... кормить нечем... Вот он, понимаете, слыхал, что за романы здорово платят, и послал. Много лет?

— Он ничего не пишет о себе.

— Мало ли что не пишет! Надо бы как-нибудь стороной узнать. Если молодой — ругайте как можно жестче. Выдержит. А ежели старый, пощадить надо. У меня один такой был — в семьдесят два года стихи начал писать. Ну, как такого ударишь?

Возвращение романа, конечно, надолго откладывалось. Ко всем старым делам прибавилось новое — добыча справок о возрасте и семейном положении незадачливого автора.

Память на людей у него была феноменальная. Такая же, как на книги. Однажды я сообщил Алексею Максимовичу, что некий старичок принес в редакцию замечательно интересный дневник. Был этот старичок дрессировщиком зверей. Ехал как-то из одной деревни в другую, и на него напали кулаки. Он и крикнул своему ручному медведю: «Мишка, спасай! Кулаки бьют!» Медведь выскочил из саней и разогнал нападающих. С той поры, как только дрессировщик крикнет: «Кулаки бьют!», Мишка становится на задние лапы — и не подходи, порвет.

Алексей Максимович выслушал рассказ, щурясь и как бы вспоминая что-то.

— Маленький такой, усатый?.. Глаза один выше другого?.. И шепелявит немного?

— Да,— говорю,— примерно такой.

— Ведь вот же какой настойчивый,— сказал Алексей Максимович, улыбаясь.— Он мне этот свой «дневник» в первые годы революции показывал, и я ему еще тогда сказал, что это у него краденое добро-то...

— Помилуйте, Алексей Максимович, он такой серьезный старичок...

— Во-во-во... Он самый. Краденое. Краденое. Вы найдите-ка приложение к «Новому времени» за тысяча восемьсот девяносто девятый год. Там, знаете, не помню в каком номере, есть любопытные записки итальянца Эмилио Сальгари. О том же самом. И медведь точно такой же. С образованием. И тоже кого-то задрал по дороге.

Когда я с огромным трудом разыскал в библиотеках и прочел Эмилио Сальгари [8], пришлось только развести руками. Старичок действительно переписал итальянца от корки до корки. Самое же удивительное, что разговор с Алексеем Максимовичем происходил спустя тридцать пять лет после публикации мемуаров Сальгари.

Горькому принадлежала идея создания «Истории фабрик и заводов», а также «Истории гражданской войны» [9].

Он был ярым сторонником коллективных начинаний. В артельности мыслились ему новые перспективы искусства, и он не уставал советовать писателям учить молодежь именно на коллективных трудах, на миру, чтобы придать делу наибольший размах. Масштабность — вот что он любил в творчестве молодых. Масштабность и дерзания!

Прилично написанные стихи и повестушки, о которых ничего нельзя было сказать ни хорошего, ни плохого, выводили его из себя.

Вопрос: «Для чего вы, голубчик, пишете?» — не был для Горького праздным, ибо сам он не «писал», а «работал», точно зная, для кого и для чего делает то-то и то-то. Обычный журнальный очерк, в котором открывалась ему крупица нового, радовал его больше, нежели хорошо сбитый, но внутренне пустой роман крупного, пусть даже близкого ему литератора.

— Хорошо нынче стали писать, да вот только мало,— говаривал он не раз, приводя на память цифры всего написанного Толстым.

— Богатырище!

И видно было — обижался на пишущих листа по два-три в год. Не любил худосочных и, по-моему, в душе презирал их. Или, вспомнив о Пушкине, любившем странствовать по России:

— Побродил, побродил... не вам чета... зря не заседал, дело делал... да-с!..

И вдруг вне связи с Пушкиным, но по какой-то близкой ассоциации мелькает у него в памяти:

— Был у меня знакомый рыбак... Всю жизнь подсчитывал, сколько рыб выловил... Выходило что-то много, чуть ли не два морских парохода... Очень гордился этим... Дельный был рыбак.

Любовь к труду у него глубокая, сильная.

Как-то после поездки по Волге [10] рассказывал он о босяках.

— Не осталось их, нет... вывелись... Одного, однако, видел... воду вычерпывать из баржи ему поручили, так он механизировал дело! Соорудил какой-то насос, лежит себе на спине, одной ногой педаль какую-то нажимает — и бежит вода. Спрашиваем: «Отдыхаешь?» — «Зачем, говорит, отдыхать,— механизировался!» — и смеется, очень довольный за остроумного босяка. «Нынче, говорит, нельзя без техники!..» Мои-то перевелись... ⟨...⟩

В 1933 году, вернувшись из бригадной поездки по Дагестану, группа писателей (Н. Тихонов, В. Луговской и П. Павленко) [11] рассказала Алексею Максимовичу о своей встрече в горах Южного Дагестана с поэтом Сулейманом из Ашага-Стали, до той поры неизвестным вне своей республики. В следующем году старик Сулейман был вызван на Первый Всесоюзный съезд советских писателей и

занял место в его президиуме. Мне выпало на долю знакомить Стальского с Горьким. Сулейман ужасно волновался и несколько раз даже снимал свою высокую черную папаху, чтобы стереть пот с головы... Стальский был маленького роста, папаха делала его выше, заметнее. Я посоветовал ему не снимать папахи, сидя рядом с высоким Горьким.

— Ах, дорогой,— сказал старик, маша рукой в отчаянии,— когда гром над тобой, подметками не прикроешься. Одному я рад, что мы оба старики, и хоть в этом деле я старше его,— надеюсь, не посмеется надо мной.

А Горький уже шел навстречу, улыбаясь своей умной улыбкой и широко раскрыв руки для объятий. И, поздоровавшись, тотчас сел, чтобы не возвышаться над Стальским, что могло смутить гостя.

Вечером, попозже, Стальский сказал мне, кивнув в сторону Алексея Максимовича:

— Похожий.

Он твердо и красиво выговорил это трудное слово на малознакомом ему русском языке, ничего к нему не прибавляя, точно и одного этого слова должно было вполне хватить для определения его мысли.

Не сразу дошла она до меня, каюсь.

— Как на сердце был, так есть,— раздражаясь, что он плохо понят, добавил старик, и только тут я оценил блестящую краткость его определения.

Горький оказался похожим на того Горького, чей образ ему, Сулейману, давно уже являлся в мечтах. Горький оказался как раз таким, каким Сулейман его себе представил, и старик был горд тем, что он так хорошо и правильно думал об Алексее Максимовиче и что так отлично сочетались его мысли с жизнью, и все оказалось достойно, как и подобает быть.

Действительно, Алексей Максимович даже тому, кто видел его впервые, представлялся старым знакомым, с которым можно было заговорить как угодно и о чем угодно. Он обладал тайной особой простоты, чисто горьковской. Но простота эта не была ни добродушна, ни наивна. Горький был прост в гневе, как и в радости, и своею простотой никогда не прикрывал суровой правды о людях.

Прожив огромную жизнь и вырастив поколение последователей и учеников, он, мне кажется, всегда чувствовал себя еще очень молодым, почти ничего еще не пережившим человеком и искренне, всем существом завидовал людям, знающим что-нибудь такое, чего не знал он сам. Он увле-

кался коллекционированием изделий из слоновой кости и знал эту область в совершенстве.

Когда-то он собирал медали — и стоило послушать, что он только об этих медалях рассказывал!

Часами мог слушать он рассказы о профессиях. Однажды ночь просидел со знакомым агентом уголовного розыска, слушая воспоминания того о своей деятельности. Поэзия труда занимала его чрезвычайно, и, вероятно, не просто как человека, но безусловно и как художника. До самых последних дней своих он отлично помнил хлебопекарное дело и любил подать совет, как испечь то-то и то-то. Хорошо знал птиц. «Птицы — хорошие люди»,— шутливо говаривал он. Живя в Крыму, в Тессели, он живо интересовался местными делами. Осенью 1935 года я бывал свидетелем оживленных споров у него в Тессели о водоснабжении Южного берега, о смете Херсонского музея, о том, почему в Крыму мало шелковицы и пчел, о разведении мериносов.

Я только что вернулся с Дальнего Востока, и мои рассказы о том, что я там видел, интересовали Горького, никогда не бывшего восточнее Волги. Но о Дальнем Востоке он знал до удивления много, и часто оказывалось, что я, побывавший там, знал меньше, чем он, следивший за тихоокеанским побережьем только по литературе. Книгу Арсеньева «В Уссурийской тайге» он знал почти наизусть и долго, придирчиво расспрашивал о том, как изменилась тайга, какими растут люди. Остался недоволен, что я ничего не мог добавить к образу Дерсу-Узала, что я ничего не знал о неопубликованном наследстве Арсеньева, что не побывал в «чеховских местах» на Сахалине [12].

Строительство города Комсомольска занимало его чрезвычайно [13]. О созидателях города он мог слушать часами, прищелкивая пальцами и что-то одобрительно ворча в усы.

Русский человек был его любимейшим героем, но человек советский совершенно покорил воображение.

Он часто говорил о том, что пора писать научные исследования о русском и советском характерах и, оглядывая гостивших у него литераторов, добавлял:

— Был бы я помоложе, написал бы книгу портретов. Тридцать или, скажем, пятьдесят. Отборных. И всех бы вас, молодых, обогнал. Догоняйте! ⟨...⟩

Создавать человеческую душу, формировать сознание, чувства и характер своих современников любыми средства-

ми искусства, от фельетона до романа, от статьи до обозрения, от хроники русской жизни, как «Жизнь Клима Самгина», до письма, адресованного школьнику, означало для Горького — жить.

Однажды он сказал:

— Прежде чем начать писать, я всегда задаю себе три вопроса: что я хочу написать, как написать и для чего написать?

Не в пример другим он не был способен писать «для себя», жить в воображенном мире вне связи с миром действительности, писать лишь для того, чтобы «выражать» себя. Горький по складу своей натуры был агитатором. Он писал для того, чтобы действовать, и невозможно, немыслимо представить себе Горького затворником, сочинителем произведений, рассчитанных на любителя.

Вести за собой, преображать, перестраивать, обогащать, совершенствовать — вот что лежало в основе горьковского отношения к искусству.

Писателя такого размаха и такой хозяйской складки история дала нам впервые...

К. А. ТРЕНЕВ

МОИ ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

Наши встречи были более или менее случайны и непродолжительны. Мне уже не раз приходилось вспоминать, что заочное знакомство наше с Алексеем Максимовичем началось с 1911 года, когда я отправил ему на Капри первое свое произведение и когда он откликнулся на него теплым письмом. Это письмо хранится в Горьковском музее и недавно было опубликовано. После него завязалась моя переписка с Алексеем Максимовичем, сыгравшая огромную роль в моей творческой биографии.

Известно, что перед началом войны 1914—1918 годов Алексей Максимович вернулся из Италии в Россию [1]. Еще будучи на Капри, Алексей Максимович очень гостеприимно звал меня побывать у него. Это приглашение он возобновил и по возвращении в Россию. В мае 1916 года я из Петрограда поехал к нему в Мустамяки. Унылая финская природа, двухэтажная дача в бору, недалеко от озера или залива. Я вошел в подъезд. Навстречу вышла известная мне по портретам Мария Федоровна Андреева.

— Можно видеть Алексея Максимовича?

— Алеша! К тебе! — крикнула Мария Федоровна наверх и предложила мне подняться на второй этаж. Я поднялся. На площадке лестницы стоял человек — несомненно Горький, но совсем непохожий на того Горького, которого мы привыкли видеть на портретах. Стриженная ежиком голова, большие рыжие усы, морщинистое лицо. Мне он страшно напомнил знакомого в детстве сапожника, а навстречу мне улыбались изумительной красоты и выразительности голубые глаза.

Горький крепко пожал мне руку, и мы долго стояли, молча оглядывая друг друга, оба неимоверно высокие,

сутуловатые, и вдруг вместе, как по команде, сказали: «Вот вы какой!»

Потом рассмеялись. Алексей Максимович провел меня в свой кабинет, усадил на диван и стал разговаривать с той простотой и задушевностью, каких я в жизни своей не встречал не только у знаменитостей, но и у обыкновенных «значительных» лиц. Говорили обо всем, что приходило в голову. Был на исходе второй год империалистической войны, русская армия терпела поражения, в тылу намечался хозяйственный развал — таков был фон беседы.

Проговорили до обеда, потом сошли вниз, Алексей Максимович дал мне умыться. Он лил мне на руки и на голову из кувшина, и эта услуга великого человека тоже была очень забавна.

После обеда Алексей Максимович развивал свои издательские планы, в частности много говорил о начавшем выходить под его редакцией журнале «Летопись» [2].

Уже завечерело, когда я собрался уезжать. Алексей Максимович любезно оставлял у себя, я наотрез отказался и, нагруженный связкой его книг со свежими автографами, уехал.

Вторая моя встреча с Горьким произошла совершенно случайно.

Летом 1916 года, на рассвете, я приехал из Москвы в Симферополь и, так как дома у меня никого не было, сел за стол в вокзальном буфете и попросил чаю. В это время к соседнему столу подошел Алексей Максимович, я окликнул его. Оказывается, он ехал к Шаляпину в Форос (там у Шаляпина была своя дача) работать над его автобиографией [3]. Шаляпин, как они уговорились, должен был выслать за Горьким машину, но ее не оказалось, и, просидев часа два, мы вышли в город, в контору автотранса. Было еще рано, на улицах ни извозчиков, ни трамваев, мы отправились пешком. Экспедиция наша, однако, оказалась неудачной — машины не нашлось, и у Алексея Максимовича к тому же разболелась нога. Пешком вернулись на вокзал. Впрочем, Горький не замечал неудобств прогулки. Он узнавал знакомые места, вспоминал связанные с ними события, указал место, где он в молодости мостил улицу [4], а на обратном пути, между прочим, чрезвычайно подробно, с мельчайшими деталями рассказал о встрече с нищей, больной ребенок которой сидел в ящике. Несколько позже все это я нашел в его прекрасном рассказе «Страсти-мордасти».

Мы заказали на вокзале кофе, но шаляпинский шофер, оказывается, уже поджидал Алексея Максимовича, и тот должен был ехать.

Третья встреча была также неожиданна и тоже в Крыму[5], на вокзале в Феодосии. Снова мы ехали с Алексеем Максимовичем в одном поезде, не зная об этом, и встретились у вокзального подъезда, договаривая извозчиков. Потом сели в одну пролетку и поехали в Коктебель. Время было тревожное — только что вскрылся и еще не был ликвидирован заговор Корнилова [6]. Алексей Максимович рассказывал очень много интересного о положении в Петрограде, но рассказывал скупо, невесело. В Коктебеле он поселился на одной из дач у моря, часто бывал у меня, снимался с моей семьей. У меня до сих пор хранится фотография: на коленях у Алексея Максимовича сидит моя трехлетняя дочь Наташа, в руках у нее и у Горького полно кукол, у обоих на лицах выражение гордости, граничащее с высокомерием.

Алексей Максимович и я собирались построить себе в Коктебеле дачи, но события отвлекли нас от этих мирных забот. С тех пор мы не виделись с ним до второго приезда его в Москву из Италии [7].

В Коктебеле мне пришлось убедиться в огромной эрудиции Алексея Максимовича. Как-то гуляли мы с ним по берегу моря. В сухих прибрежных травах проскользнула бегущая птица. Алексей Максимович тотчас назвал ее породу и рассказал ее птичью биографию, попутно развернув целую картину родственного ей пернатого царства; взяв в руки камешек, каким так славится коктебельский пляж, прочел мне целую лекцию по минералогии, рассказал историю потухающего вулкана Карадага, а в связи с ним и историю Коктебельского залива.

Время было бурное. Стоило сойтись двум-трем человекам, как завязывались страстные споры, быстро перерастающие в летучие митинги. Вокруг Горького дискуссии возникали ежечасно. Он вступал в борьбу с самыми разнообразными противниками, начиная от декадентских поэтов до махровых реакционеров. Речь его была страстна и убеждала. ⟨...⟩

Последняя же встреча моя с Горьким произошла в 1936 году, за два месяца до его смерти. Попасть в те времена к Горькому было трудно, почти невозможно. Однако в мае 1936 года передо мной стояла творческая задача такой исключительной важности и трудности, что я вынужден был

всеми силами добиваться свидания с Алексеем Максимовичем.

Постановлением Совета Народных Комиссаров группе драматургов предложено было написать пьесу к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции с разрешением дать сценический образ Владимира Ильича Ленина.

Я взял тему «Октябрьская революция в Петрограде».

Срок был дан жесткий — один год.

Для меня это была задача почти неразрешимая. Я работаю очень медленно. Лишь на собирание материала для такой пьесы, как «Октябрь», в среднем нужно было не менее года. Предо мной встала задача: либо принять предложение правительства, либо отказаться от него; если же принять, то как приступить к выполнению задачи?

Горький жил в это время в Крыму, в Тессели. Я навел справки, и оказалось, что секретарь его, чинивший препятствия писателям во встречах их с Алексеем Максимовичем, был в это время в Москве. Я телеграфировал Горькому о разрешении приехать и получил в ответ одно слово: «Жду».

В Тессели попал я в обеденное время. За столом сидела вся семья Горького... Алексей Максимович, усиленно в то время работавший по строжайшему графику, спустился с второго этажа, где помещался его рабочий кабинет, в самом веселом настроении. За обедом он много рассказывал о своей жизни, о своих родственниках, особенно о двоюродном брате Сашке, которого Алексей Максимович разводил с женой, вдвое старшей мужа. После обеда мы прошли в кабинет хозяина.

— Ну-с, Константин Андреевич,— начал Горький без предисловия,— плохо у нас с литературой.— Он очень сетовал на малое количество ярких книг в советской литературе тех лет.

Я спросил его,— нет ли новых надежд среди литературной молодежи. Алексей Максимович назвал, с некоторыми оговорками, два имени. Теперь эти писатели работают и, по-видимому, оправдают надежды Горького.

Говорили мы, как и десять лет назад, просто, откровенно, по-товарищески. А потом, в конце беседы, я рассказал ему о своей докуке. Алексей Максимович горячо отнесся к моему делу и дал несколько исключительно ценных советов, которыми я впоследствии и воспользовался [8].

Его письменный стол был завален бог знает чем — и

образцы переплетов, и какие-то проекты, чертежи, и горы рукописей, и горы писем, и какие-то крымские камни.

Между встречей нашей в Коктебеле и последним свиданием[9] у меня произошли кое-какие события личного характера. Я, получивший в свое время высшее образование в гуманитарном учебном заведении, вдруг задумал пополнить его естествознанием и, будучи отцом двух детей и уже сложившимся литератором, окончил агрономический факультет Крымского университета.

Помню, что, изучая биологию и минералогию, я всегда видел перед собой Горького с его изумительной эрудицией, и мне часто хотелось встретиться с Алексеем Максимовичем, чтобы не ударить, как когда-то, лицом в грязь. И вот я пытаюсь навести разговор на лежащие перед нами камни. Увы, минералогическая беседа что-то не клеится. Иные камни лежали на душе и у меня, и у моего собеседника. Нехорошо выглядел в это время Алексей Максимович. Лицо его было стеклянного отлива. В углу кабинета приметил я подушки с кислородом, к которому Горький прибегал по ночам.

Простились мы с ним горячо и так крепко расцеловались, точно почувствовал каждый из нас, что это последний поцелуй.

Когда я поднимался от Тессели к шоссе, передо мной широко разворачивалась панорама Южного берега Крыма. Вдали синела Алупка, за ней Кореиз. Мне вспомнился эпизод из книги Горького о Льве Толстом, как шел он однажды из Ялты в Кореиз и, увидя сидящего на берегу Толстого, потихоньку обошел его, чтобы не обеспокоить, и, «растроганный до слез, подумал: «Пока он жив, не сирота я на земле».

Теперь я повторил эти слова, отнеся их к Горькому, и тоже заплакал радостными слезами. Не знал я того, что меньше чем через два месяца буду стоять у его гроба и плакать иными слезами.

КУКРЫНИКСЫ

У ГОРЬКОГО

Весной 1928 года из Италии в Москву приехал А. М. Горький.

Редакция журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент» дала нам пропуск на одну из первых встреч с великим писателем. В клубе имени Кухмистерова собрались рабселькоры, где должен был выступить Алексей Максимович [1]. Редактор М. И. Ульянова предлагала дать материал об этой встрече в журнале, а нам поручалось сделать зарисовки с писателя.

Места у нас были в президиуме недалеко от трибуны. Переполненный зал клуба с волнением ждал появления Горького. И вот он вошел — высокий, с южным загаром, в светлом летнем пальто. Громкие овации раскатились по всему залу. Протиснувшись сквозь многолюдный президиум, взволнованный взрывом аплодисментов и приветствий, Алексей Максимович сел рядом с Марией Ильиничной, директором Госиздата А. Б. Халатовым и другими. Мы оказались как раз позади писателя.

Начались выступления. На трибуну выходили рабкоры и селькоры, приветствовавшие писателя. Горький внимательно слушал выступления и с интересом всматривался в каждого оратора. Он волновался, курил сигарету в длинном мундштуке.

Алексей Максимович был нам виден в профиль, и его можно было рисовать, что мы и делали. Ведь мы впервые в жизни видели любимого писателя, да еще так близко, совсем рядом.

На трибуне немолодая женщина — селькор. Она образно, живо, обращаясь к Горькому, рассказывала, как благодаря Советской власти она из неграмотной беспризорной стала опытной работницей сельского хозяйства и корреспондентом сельской печати. Слушая биографию этой женщины, Горький разволновался, несколько раз

поворачивался в нашу сторону и, прищелкивая пальцами, а иногда вытирая слезу, возбужденно восклицал:

— Вот это баба! Вот это да! Какой народ!

Закончив свое выступление, женщина подошла к Алексею Максимовичу с рукопожатием. Растроганный, он поцеловал ее.

Во время перерыва Горький вместе с членами президиума зашел в небольшую комнату отдохнуть. Сотрудник журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент» взял у нас рисунок, сделанный с Алексея Максимовича в профиль, и показал ему. Горький посмотрел и сказал окая:

— Ух ты, глаз-то у меня, как у вороны!

Сотрудник попросил написать что-нибудь под рисунком для журнала. Горький ответил:

— Что ж, я напишу, что это я.

И, взяв карандаш, крупно подписал свою фамилию.

Вскоре журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент» напечатал подробный отчет об этом собрании и нашу зарисовку с М. Горького с его автографом [2].

После перерыва Горький под гром аплодисментов вышел к трибуне, густо окруженный столпившимися около нее участниками встречи. Очень волнуясь, писатель предупредил, что он не оратор и выступать не умеет, но попробует просто рассказать, как он стал писателем. Весь зал с огромным вниманием слушал интереснейший рассказ о том, как Алеша Пешков стал писателем Максимом Горьким. Затем Алексей Максимович в форме беседы отвечал на вопросы, которые ему задавали участники встречи [3].

Алексей Максимович Горький сыграл огромную роль в нашей художественной судьбе. Не встреться мы с ним — наш путь оказался бы иным. До встречи с Горьким мы были по преимуществу окололитературными карикатуристами. Делали шаржи на писателей, карикатуры на литературные темы, печатали их чаще всего в специальных литературных журналах. Даже в массовых изданиях — в «Прожекторе», «Красной ниве», «Комсомольской правде», «Смене» и других — мы также выступали на писательские темы. Эта работа нам нравилась, и нам как-то не приходило в голову выйти из узких рамок такой тематики. Правда, к этому времени мы сделали несколько плакатов, проиллюстрировали несколько детских книжек, но для нас это было чем-то эпизодическим, чем-то лежащим в стороне от нашей основной деятельности в той области, в которой мы были «специалистами».

Наша встреча с великим писателем — уже в домашней обстановке — произошла 24 августа 1931 года. А было это так. Директор Госиздата А. Б. Халатов, добрейший человек, однажды сказал нам:

— Кукрыниксы, я был в Италии у Горького, и мы говорили с ним о вас. Он знает ваши карикатуры. Мы договорились, что, когда Алексей Максимович приедет в Москву, он встретится с вами. Я это устрою.

И вот с письмом Халатова мы идем к Горькому. Ровно в 11 часов утра, как условились, входим в дом на улице Герцена [4], неся с собой плакаты, альбомы шаржей.

Открывается дверь, и нас приглашают в кабинет писателя. У двери в сером пиджаке, в синей рубашке и туркестанской чеплашке на голове, улыбаясь, стоит Алексей Максимович.

— Ну, здравствуйте, «исказители нашей действительности»,— говорит он.— Проходите, пожалуйста.

В первые минуты нас охватило смущение. Так хотелось свидеться с ним, расспросить о многом, просить совета, а тут все приготовленные вопросы куда-то пропали, и не знаешь, о чем можно разговаривать с таким большим человеком. Но он, многоопытный и мудрый, посмотрел на нас, как на детей, и заговорил сам:

— Вот что, товарищи. Разрешите мне поговорить с вами по-отечески, несколько нравоучительно, поговорить широко и о многом. Вы делаете хорошее и большое дело, но вы немного застыли на писательских темах. А ведь жизнь значительно шире их. Пора вам браться за более высокие и более значительные темы.

Он говорил с нами, прерывая течение своих мыслей вопросами: «А вы знакомы с историей карикатуры? Кто вам больше нравится в карикатуре прошлого?»

Горький спросил, любим ли мы Домье, и тут же рассказал, что видел за границей случайно продававшиеся очень дешево автолитографии этого замечательного художника.

— У Домье есть чему поучиться.

Писатель поинтересовался, бывали ли мы за границей. «Вот где бы вам надо было побывать»,— сказал он и начал очень красочно и остро рассказывать об Италии, о жизни итальянцев.

— Какие там Ватикан устраивает демонстрации! По улицам идут монахи в черном, в красном, белом... Нравы в этой стране довольно забавны. Итальянцы, например, очень суеверны. Особенно верят они в горбатых. Они счи-

тают, что если дотронуться до горба, то будет счастье, а если потереть о горб монету, то разбогатеешь. Попади в трамвайный вагон — замучают его. Художников в Италии много. Есть талантливые. Одного я знаю — Карено. Написал свой автопортрет — бреется. (Тут Горький показал, как Карено это делает.) Талантливый мастер!

Алексей Максимович обещал выписать для нас иностранные журналы и достать нужные нам книги. Беседа течет легко, она касается то плана издания сатирических журналов, то Каутского и Гильфердинга («мелкие вошки»), то международных вопросов. Мы сказали Горькому, что, кроме литературных рисунков последнего времени, принесли с собой еще иллюстрированные нами книжки, плакаты и «массовые картины»[5].

Разложили на полу репродукции картин о керенщине, потом о 1905 годе. Так как репродукции небольшие, Горький опускается на колени, чтобы лучше их рассмотреть.

Первое замечание писателя:

— Как плохо напечатано! Плохая бумага и краска. Небрежная работа.

Алексей Максимович внимательно разглядывает плакаты. Если нравится, хвалит. Спрашивает, куда идут плакаты.

— В клубы, избы-читальни,— отвечаем.

— Хорошо. А тираж какой?

— Двадцать пять тысяч.

— Мало, очень мало,— качает головой Горький.

Плакаты просмотрены. Вновь устраиваемся за столом, показываем рисунки из нашего литературного альбома. Просматривая шаржи, Алексей Максимович смеется искренне, иногда до кашля, и тут же критикует, иногда очень строго. Вспоминая портрет, написанный с него одним известным советским художником, Горький замечает:

— Это не мой портрет. Это портрет моей кожи.

В конце встречи Алексей Максимович посоветовал нам устроить свою выставку. Обещал написать предисловие для каталога. Приглашал приехать к нему в Италию.

Полтора часа пробыли мы у Горького. Взбудораженные, вышли от него. По дороге домой вспоминали каждое его слово.

Все свои обещания Алексей Максимович выполнил с лихвой. Мы получили от него замечательную монографию о Домье, историю французской и английской карикатуры,

историю древней карикатуры, журнал «Симплициссимус» [6] за 35 лет и ряд иностранных журналов. Написал Горький и обещанное предисловие к каталогу нашей выставки. Вот это предисловие:

«Не знаю, существовала ли и не думаю, что в области карикатуры могла существовать такая «единосущная и нераздельная троица», как наши Кукрыниксы.

Их талантливость общепризнанна, за шесть лет своей остроумной, веселой работы они отлично доказали и непрерывность своего роста, и ценность своего творчества. Я не намерен говорить им комплименты, насколько я знаю этих людей, мне кажется, что они не ощущают нужды в похвалах. Но следует особенно подчеркнуть факт — вероятно, единственный в капризной области капризного искусства — хорошо видеть и тонко изображать смешное,— факт коллективного творчества троих, которые выступают, как один художник.

Мне кажется, что такое единодушное и плодотворное сотрудничество в пластическом искусстве гораздо труднее, чем сотрудничество в работе словом, редко удачное. Поэтому опыт Кукрыниксов заслуживает серьезнейшего внимания и поощрения, ибо этот опыт как будто переводит рассуждения о возможности коллективного творчества художников из теории в практику. Это — главное, что я вижу в работе Кукрыникс.

Карикатуру многие считают «кривым зеркалом» жизни. Так смотрят на нее люди, по адресу которых давно и убедительно сказано: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Карикатура — социально значительное и полезнейшее искусство изображать различные, не всегда видимые «простым глазом» искривления в почтенном личике современных героев или кандидатов в герои. Подразумеваю гитлеров всех мастей, а также и в лице граждан, не желающих быть героями в области социалистического творчества. Искривления эти «невооруженный глаз» улавливает с трудом, ибо, как известно, внутреннее безобразие весьма часто и очень искусно прикрывается внешним благообразием.

Острый и меткий глаз карикатуристов отлично умеет вскрывать противоречия внутреннего и внешнего.

Критическая и сатирическая сила глаза Кукрыникс значительно возросла бы, если б единому коллективному их глазу помогало ухо.

Они, наверное, знают, что лживый язык неплохо умеет говорить громкие и веские слова, и знают, что для многих почтенных граждан собственный горшок щей гораздо дороже судьбы их родины. Поэтому они должны учиться хорошо слышать медный звон лживых слов, а для того, чтобы слышать эту «медь звенящую», надо знать политику дня, года и эпохи.

Это знание бесконечно расширит перед ними область наблюдения и умножит количество тем. Честные люди Союза Советов, строители нового быта, новой культуры работают все еще на мусорной почве прошлого, в облаках его ядовитой и лживой пыли. Кукрыниксы должны беспощадно вскрывать, обличать все, что прячется от гибели, как бы искусно и где бы оно ни пряталось.

Они, как мне кажется, несколько излишне специализировались на литературе, на литераторах. Это неплохо. В литературах всегда было и еще осталось много смешного, литератор привык смотреть на себя, как на человека с плюсом, хотя весьма часто этот плюс — просто бородавка на носу или опухоль непомерно раздутого самообожания.

Но нельзя ограничиться изображением только рыжих или только брюнетов. Мы живем и работаем в стране в условиях, которые дают нам исключительное право осмеивать и смеяться. Наши враги — серьезные враги. Но никогда еще враг не был так смешон, как наш враг.

Мне кажется, что Кукрыниксы должны почаще заглядывать в Европу, за океан, за все наши рубежи. Смешного там так же много, как подлого.

А затем я сердечно желаю им учиться и расти, расти и учиться.

Они очень талантливы, делают хорошее дело и могут делать его гораздо лучше. Желаю их троице еще более тесной дружбы, еще больше единодушия в работе.

М. Горький».

Весенним днем 1932 года к нам на выставку должен был приехать Алексей Максимович [7].

Волновались мы дико. По многу раз осматривали, все ли на выставке в порядке.

— Приехал!

Горький вошел в летнем пальто и тюбетейке. С ним — сын Максим, невестка Надежда Алексеевна и кто-то еще.

Кроме нас троих, здесь были писатель А. Архангельский и оформитель выставки художник С. Телингатер.

Горький стал внимательно знакомиться с экспонатами. Мы водили его от стенда к стенду. В одном месте висела наша первая живописная попытка — серия картин из истории гражданской войны. Познакомившись с этой серией, Алексей Максимович сказал:

— Ну, это пока еще не ваша область.

Писатель долго смотрел серию сатирических рисунков «Старая Москва». Глуховато смеясь в усы, показывал отдельные детали на рисунках. Заинтересовался куклами нашего кукольного театра [8].

По предложению Алексея Максимовича мы решили проиллюстрировать его роман «Клим Самгин». Готовясь к этой работе, мы рылись во всевозможных материалах, изучали типы, костюмы, прически, бытовую обстановку. Трудились очень много, работу проделали колоссальную, отнеслись к ней со всей душой. Ведь в «Климе Самгине» более тысячи страниц, а описание того или иного персонажа разбросано порой по всем трем томам. Характеры тоже развиваются на протяжении всей эпопеи. В начале работы приходится мучиться, чтобы найти стиль и общее композиционное решение иллюстраций. Это трудно, и находишь решение не сразу.

Но вот через шесть месяцев пятьдесят рисунков было закончено. Мы решили показать их Горькому. Алексей Максимович был в ту пору болен и просил прислать ему рисунки. Так мы и сделали. Через неделю мы получили рисунки обратно. К ним были приложены два листа напечатанных на пишущей машинке замечаний Горького по каждому рисунку, с указанием, что в них хорошо и что плохо. Оказалось, что из пятидесяти рисунков он принял без поправок только семь, остальные просил исправить либо переделать.

Замечания Горького были исключительно конкретны. В рисунке «Клим Самгин у белошвейки» мы в углу комнаты поместили икону, хотя в тексте о ней ничего не было сказано. Алексей Максимович написал: «Если вешать икону, то туда, где она должна быть, а в этом углу она висеть не может. И белошвейки никогда не бывали толстыми». О рисунке с голубями было написано: «Куда смотрят люди, якобы смотрящие на голубей?» Смотрели они у нас, действительно, не совсем точно. В изображении приезда Николая II на Нижегородскую ярмарку мы нарисовали

над толпой шапки, поднятые в воздух. Горький указал: «Царь хорошо. Но необходимы руки, поднятые в воздух, ведь шапки-то не сами собой взлетели».

Другие замечания писателя:

«Нет толпы. Тонки веревки. Мало хоругвей. Надо показать мелко: толпу, колокол в воздухе на струнах веревок».

«У Лидии помело на голове. Причешите немножко».

«Гапон — слишком худ, аскетичен».

«Радение не удалось. Надо, чтобы я вам рассказал, как это бывает...»

Горький писал, что мы внесли в иллюстрации больше сатирических моментов, чем нужно, что иллюстрации слишком карикатурны, нужно сделать их более реалистично, без сатирической деформации.

Отзывом Алексея Максимовича мы были очень обескуражены. Склонялись даже к тому, чтобы отказаться от работы. Однако в конце концов решили, что нужно попробовать переделать иллюстрации. Стали пытаться перейти на бытовые рельсы, найти более реалистический характер, строить образы не на карикатурной основе, а на более глубокой и широкой характеристике.

Переделки заняли у нас около полугода. Наконец работа была окончена, надо было показать ее Горькому. Издательство созвонилось с ним и договорилось, что 1 сентября (1933 г.) мы приедем к Алексею Максимовичу в Горки, где он тогда жил.

Естественно, мы очень волновались: как отнесется Горький к нашей работе? Двадцать рисунков мы переделали, двадцать три сделали заново, дав новое композиционное решение, а иногда выбрав новые моменты. Одобрит ли все это писатель или забракует?

Алексей Максимович смотрит первый рисунок — «Дети», который мы заново нарисовали. Существенных замечаний у него нет.

— Вот только,— рекомендует он,— эту девочку пересадить бы по-другому, а?

Удивляемся, как мы сами не заметили, что девочка действительно неудобно сидит.

Горький смотрит портрет Варавки:

— Теперь лучше, только борода не русская, прибавить с боков надо.

О рисунке «Николай II на Нижегородской ярмарке» спросил:

— А где его встречали — в Москве или в Нижнем? В Нижнем? Ну тогда в первом ряду не могут стоять такие купчики. Тут надо дать эдакого «рабочего»-гармониста в оранжевой рубахе и в сапогах в гармошку.

В «Климе Самгине» у нас часто повторялись люди одного типа с бородками. По этому поводу Горький заметил:

— Нужно найти другой тип. Этот бородатенький у вас часто повторяется.

Сам Клим Самгин ему очень понравился, понравился ему и Дронов.

— Дронов хорош. Он должен быть жуликом, он потом у меня издателем будет.

Вот и все рисунки просмотрены. Спрашиваем, какое у него впечатление после переделки.

— Хорошо, хорошо. Ушли от карикатуры.

— Значит, можно печатать?

— Ну, конечно, валяйте,— отвечает Алексей Максимович и жестом приглашает нас за стол.

За столом разговор идет о молодости.

— Вот мы в наше время — на голове шляпа широкополая, на плечах крылатка.

Горький просит, чтобы ему принесли старую крылатку. Он выходит из-за стола, надевает крылатку на плечи и стоит в такой позе, высокий, немного сутулясь.

— Вот так и ходил. Жители шарахались в подворотню. А вот девушки, те ничего, останавливались и смотрели, им нравилось.

Потом разговор касается недавних художественных выставок. Алексей Максимович побывал на них [9]. Спрашиваем, что ему понравилось и что нет. Он говорит, что общее впечатление недостаточно сильное. Интересуемся, не собирается ли он писать по этому поводу статью.

— Я думаю написать о выставках наших,— отвечает Горький,— но не упомяну ни одной фамилии. У нас часто так получается: напишет какой-нибудь большой человек о чем-нибудь с личной точки зрения и назовет фамилию, а потом его мнения делают каноном. Я не буду так писать, но напишу обязательно. Мне кажется, что на наших выставках очень мало картин с детьми, пионерами, об их жизни...

Вскоре мы уезжаем. Горький провожает нас до дверей. Близится полночь. Из-за поворота блеснул свет фар. Это еще кто-то, несмотря на поздний час, едет к Алексею Максимовичу.

П. Д. КОРИН

МОИ ВСТРЕЧИ С А. М. ГОРЬКИМ

(Из воспоминаний)

⟨...⟩ В начале 1930-х годов я жил на Арбате, дом 23, где у меня на чердаке этого дома была мастерская. Мастерская небольшая, но очень уютная, с хорошим светом. Единственным недостатком этой мастерской была страшная жара и духота летом в жаркую погоду — под крышей. Мастерская разделялась на две части: в одной части жили мы с женой, у нас была еще маленькая темная кухонька, она же служила нам столовой и гостиной; в другой половине жил брат Александр Дмитриевич [1]. Чтобы попасть к нам, надо было подняться по парадной лестнице на пятый этаж, пройти на черный ход, подняться еще два марша до площадки, открыть окованную железом дверь на чердак, пройти его — и в конце чердака находилась наша квартира. Здесь-то и писались этюды к картине «Уходящее» [2]. Бывали у меня товарищи-художники, на которых мои работы производили впечатление. Был тогда у меня и А. В. Луначарский. Часты были и особенно дороги мне посещения моего учителя и друга М. В. Нестерова. Каждую новую мою работу он первый смотрел и давал ей оценку. Много тогда у нас с ним было разговоров о моей будущей картине...

3 сентября 1931 года в 10 часов утра звонок. Я бегу череэ чердак открыть дверь. Открываю, вижу человека, который мне говорит: «К вам поднимается Горький». Я был очень удивлен и вернулся, чтобы предупредить жену и брата, и на них это известие произвело впечатление ошеломляющее. Я побежал встречать Горького. Встретил его на площадке третьего этажа парадной лестницы, где он стоял со своими спутниками и тяжело дышал. Оказывается, в тот момент, как я подошел, они обсуждали, подниматься-

ся дальше или вернуться. Я поздоровался, и Алексей Максимович сказал: «Ну что же, надо подниматься». И мы медленно, с остановками прошли тот путь, который я описал раньше.

Надо было пройти через нашу кухоньку, чтобы попасть в мастерскую. От кухни начиналась наша обстановка: во всех углах стояли гипсовые слепки с античных статуй, на стенах висели античные барельефы (ими заняты были и все стены кухни), несколько старинных икон и, прислоненные к стене, стояли мои работы. Мебель была небогатая — несколько стульев и стол. Потолки шли согласно конструкции крыши. Алексей Максимович вошел высокий, под самый потолок кухни, и с интересом осматривал наше хозяйство. Уселись, немного поговорили. Алексей Максимович баском на «о» говорит: «Ну, показывайте». Волнуясь, начал я показывать свои работы. Слышу его одобрительное: «Здорово, черт возьми!»

Друг за другом проходили мои работы. Наконец показ кончен. Я сейчас приведу слова, которые мне тогда сказал Горький. Прав он был или не прав — пусть судят другие. Алексей Максимович встал, подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал: «Отлично! Вы большой художник! Вам есть что сказать. У вас настоящее, здоровое, кондовое искусство». Потом говорит: «Послушайте, вам надо поехать в Италию, посмотреть великих мастеров». Я благодарю Алексея Максимовича за высокое мнение о моем искусстве, говорю ему, как оно мне дорого и что оно меня, человека, вечно сомневающегося в своих силах, укрепляет и поддерживает. А насчет Италии — это мечта моей жизни, но как это сделать? «А вот через месяц я туда поеду, вместе и поедемте. Завтра вы приходите в двенадцать часов на Малую Никитскую, дом шесть, нелепый дом такой, я там живу».

После этого пошли к брату Александру. У него на мольберте стояла копия с «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи. Алексей Максимович пришел в восторг от копии, просил брата продать ему ее. Александр уперся — «вещь непродажная». Потом через некоторое время уступил. Эта копия сейчас находится в кабинете Алексея Максимовича на Никитской [3].

Проводивши гостей, мы с женой сидели пораженные происшедшим. «У нас был Горький! Мое художество ему понравилось! Я еду в Италию. Еду в Италию с Горьким». Незадолго перед этим я как-то говорил жене: «Мне бы

только разрешили пройти мимо фресок Рафаэля и Микеланджело, не останавливаясь перед ними ни на минуту, я и то был бы доволен».

Вечером были у М. В. Нестерова, рассказали ему о всем происшедшем. Он был счастлив и радовался вместе с нами.

На другой день к двенадцати часам я пошел на Малую Никитскую.

Алексей Максимович опять говорил мне о своем впечатлении от моих работ, опять говорил мне бодрящие слова. Под конец Алексей Максимович спрашивает: «А брат хочет поехать в Италию?» Я говорю: «Конечно».— «Ну тогда вам вместе надо ехать».

18 октября 1931 года мы выехали с Алексеем Максимовичем за границу. Ехали мы вместе с ним и его семьей в отдельном вагоне. Помню, в Столбцах, первая тогда после границы польская станция, Горький вышел из поезда, шел по платформе, и его все узнавали, а когда мы пришли в зал-ресторан и сели за столик, то носильщики стояли, заложив руки за свои фартуки, и смотрели на Горького. В ресторане много было польских военных; они, сидя за столиками, косились в сторону Горького. ⟨...⟩

Алексей Максимович жил не в самом Сорренто, а в Капо-ди-Сорренто, два километра южнее Сорренто. Занимал отдельный небольшой двухэтажный дом. Во втором этаже находился его кабинет с балконом, с которого открывался дивный вид на Сорренто и на весь Неаполитанский залив с вечно дымящимся Везувием. Вечером, когда все это освещалось закатным солнцем, было удивительно красиво и торжественно. Алексей Максимович сам любовался и, если были гости, звал гостей.

Как проходил день в Сорренто? У Алексея Максимовича был установлен твердый распорядок дня. Около девяти часов утра он выходил пить кофе, в девять часов уходил к себе в кабинет и работал до двух часов, в эти часы его никто не тревожил. От двух до трех был обед. За обедом разговоры с гостями. Редкий день случался без гостей. Каждый русский, приехавший в Италию из Советского Союза, считал своим долгом побывать у Горького. Гостями были писатели, художники, музыканты, ученые, партийные работники, моряки, попавшие в каком-то очередном плавании в Неаполь. Со всеми у него завязывался интересный разговор. Алексей Максимович слушал, расспрашивал и при каком-нибудь хорошем сообщении о наших успехах в Союзе поглаживал свои усы, у него показыва-

лись слезы на глазах, и он говорил в восхищении: «Отлично! Какие люди!»

После обеда от трех до пяти Алексей Максимович гулял, если был здоров. Я ходил несколько раз с ним на эти прогулки. Он шел по дорожке среди олив и пиний к морю, опираясь на палку, впереди бежали внучки Марфа и Дарья, собирали хворост. Приходили на высокий берег моря, там стояла скамья. Алексей Максимович садился; приносили собранный хворост, укладывали, и Алексей Максимович зажигал костер. Сидел, курил и глядел вдаль, на Везувий, на Неаполь. Костер догорал, и Алексей Максимович поднимался, и медленно шли домой. От пяти до шести чай, опять разговоры. В шесть часов Алексей Максимович уходил к себе и работал до восьми часов. В восемь часов ужин и опять разговоры с гостями. После ужина садились играть в карты в подкидного дурака или в «тетку». Игра в карты была придумана для отдыха Алексея Максимовича. Иногда он заявлял: «Музыку давайте, надоели карты». Заводили патефон. Алексей Максимович любил Грига, просил финна Сибелиуса, но больше была музыка классическая. В десять часов вечера подавался чай, в одиннадцать он уходил к себе и часа два еще читал.

Как-то подсел ко мне Алексей Максимович и говорит: «Знаете что, напишите-ка с меня портрет». Я отвечаю: «Алексей Максимович, я портретов не писал, боюсь, отниму у вас дорогое время, замучаю вас и ничего из этого не выйдет». Он говорит: «Ничего, попробуйте, вы вернетесь домой с портретом Горького, и это может послужить оправданием вашей поездки за границу». Я согласился. Стал наблюдать Алексея Максимовича, вечерами делал с него зарисовки, ходил с ним гулять. И на этих прогулках я увидел Горького. Он шел, опираясь на палку, сутулясь, его угловатые плечи высоко поднимались, над высоким лбом дыбились седеющие волосы; он шел, глубоко задумавшись. Меня потом обвиняли, что я написал портрет не нашего Горького, что он одинокий и суровый. Но я его увидел таким, увидел его высокую угловатую фигуру, шедшую в глубокой задумчивости на фоне Неаполитанского залива.

Подготовивши холст и уяснив себе идею и композицию портрета, я уехал с братом в Сицилию. По возвращении оттуда начал работать над портретом.

Портрет был задуман на открытом воздухе, а Алексей Максимович часто простужался, и ему опасно было

позировать на воздухе, поэтому сеансы у нас происходили на веранде, с трех сторон застекленной, так что почти получалось, как на открытом воздухе. Мне позировал еще человек на открытом воздухе на фоне моря, на которого я надевал пальто Горького. У меня был написан этюд. Во время писания портрета мы больше молчали; я не могу говорить во время работы; когда я начинаю говорить, у меня дело не клеится. Алексей Максимович заметил это и тоже молчал. Когда я работал — волновался, но старался не показывать виду, что я весь в смятении. Все это перегорало внутри меня, у меня пересыхало горло, и я худел. Алексей Максимович говорил мне после окончания сеанса: «Павел Дмитриевич, у вас глаза провалились». Написал я голову в четыре сеанса, сеансы были по полтора, по два часа. Попросил я Алексея Максимовича поглядеть. Ему понравилось. ⟨...⟩

У Алексея Максимовича была удивительная черта: он с величайшим вниманием и уважением относился к чужому труду, и в частности к моему. Однажды после обеда Алексей Максимович позвал меня к себе в кабинет: «Мне надо с вами поговорить»,— сказал он. Я теперь не могу восстановить этого разговора, но темой его была моя картина. Алексей Максимович в разговоре мне сказал: «Дайте ей паспорт, назовите ее «Уходящая Русь». Были у нас с Алексеем Максимовичем беседы на исторические темы. Он историю знал и любил поговорить, были разговоры и об искусстве. Помню, заговорили мы с ним о фресках Микеланджело в Сикстинской капелле. Отдавая все должное великому художнику, он говорит: «А мне больше нравится Синьорелли, его фрески в соборе Орвьетто «Пришествие антихриста». Это здорово! Я его (Синьорелли) ставлю выше Микеланджело». Заговорили о «Моисее» Микеланджело. Это произведение он ценил очень высоко за выражение духовной мощи. Горький любил средневековую архитектуру. Однажды он начал с увлечением рассказывать о готических соборах, об их скульптуре, о выразительности этой скульптуры. Вообще Алексей Максимович в искусстве ценил образ, идею, дух. Ему были чужды только эстетические и чисто живописные упражнения. Много говорили мы с ним о русском искусстве. Он вспоминал Репина, Серова, Врубеля и других.

Как-то за утренним кофе мы с братом собирались поехать в Неаполь, посмотреть Неаполитанский музей. Алексей Максимович услышал наш разговор и говорит: «Возь-

мите меня, мне надоело тут сидеть». И вот мы на машине поехали: Алексей Максимович, мы с братом, Максим и доктор Никитин. В Неаполитанском музее служители-старики узнавали Алексея Максимовича. Почти каждый из них, чтобы доставить лишнее удовольствие Алексею Максимовичу, куда-то вел его показать что-то новое, еще невиданное. Один из стариков подвел его к куску старого мрамора с каким-то намеком на барельеф и с жаром что-то объяснял. Алексей Максимович терпеливо слушал. Посетители музея узнавали Горького и провожали его глазами. Помню, как Алексей Максимович восхищался реализмом римской бронзовой головы менялы-еврея. После музея ездили по неаполитанским церквам. В Неаполе замечательные барочные церкви, Алексей Максимович хорошо их знал. Усталые, мы поехали обедать в ресторан. Алексей Максимович и Максим заказали устрицы, мы с братом от них наотрез отказались. Вечером довольные вернулись домой... ⟨...⟩

1934 год был тяжелым годом для Алексея Максимовича. Не стало сына Максима. Отец и сын были дружны. Приятно было слышать, как Максим, обращаясь к отцу, говорил: «Алексей, послушай», и т. д. В день похорон Максима я был на кладбище. Алексей Максимович стоял у могилы без шляпы, волосы его развевал ветер, он смахивал рукой слезы. Я был у них на другой день. Алексей Максимович был спокоен, сосредоточен, о Максиме не говорил, и никто не заводил разговора о нем, но чувствовалось, что Алексей Максимович неотступно думает о Максиме. Меня с женой пригласили пожить в Горки. Мы пробыли там месяц, этим летом был съезд писателей, и в Горках было много народу. Я сделал там с Алексея Максимовича рисунок,— сидел он сосредоточенный, нахохлившийся. Алексей Максимович сказал, усмехнувшись, по поводу рисунка: «Как старая общипанная птица». Я в этом году заболел. У меня возобновился процесс остеомиелита в большеберцовой кости правой ноги. Осенью, уезжая в Крым, Алексей Максимович пригласил меня с женой к себе. «Вам надо полечиться»,— говорил он.

В начале октября мы приехали в Тессели и прожили там два с половиной месяца. Порядок дня в Тессели был такой же, как и в Сорренто и в Горках. От трех до пяти часов — время гулянья — Алексей Максимович проводил за очисткой парка от сорняков. Кроме собирания хвороста, была еще такая работа: долбили сланцевый камень, легко

поддающийся удару; щебни этого камня употребляли на утрамбовку дорожек. Помогали ему в этом семейные и гости, но скоро это надоедало и потихоньку почти все отставали. Верными помощниками Алексея Максимовича были Олимпиада Дмитриевна и моя жена Прасковья Тихоновна. Обычно Алексей Максимович сидел наверху, на глыбе огромного камня, и киркой откалывал куски камня, а внизу собирали их Олимпиада Дмитриевна и Прасковья Тихоновна, клали на носилки и относили в сторону, а я в это время сидел поблизости в беседке и изображал Крымские горы. После ужина играли в карты, а я сидел и рисовал. Мною была сделана целая серия рисунков, большая часть которых хранится в Горьковском музее...[4]

В конце 1935 года я задумал написать с Горького еще портрет за его рабочим столом в кабинете. Мы сговорились, я поехал к нему в Крым; он жил опять в Тессели. Был конец декабря, погода стояла дивная, было тепло. Я сделал с Алексея Максимовича два подготовительных рисунка к портрету. Алексею Максимовичу что-то нездоровилось, и он предложил мне писание портрета отложить до Москвы. «Я в конце мая приеду в Москву, в июне вы напишете портрет, а потом вместе поедем по Волге кататься».

В начале 1935 года в Музее изобразительных искусств была закрытая выставка работ М. В. Нестерова. Алексей Максимович был на этой выставке, был вместе с Нестеровым. Ему выставка понравилась, но в особенности ему понравился портрет умирающей от туберкулеза девушки. Он просил, чтобы Нестеров уступил ему эту вещь. Нестеров что-то не соглашался. Алексея Максимовича спрашивали: «Что вам нравится в этой тяжелой вещи?» Алексей Максимович отвечал: «Я никогда не видал в искусстве, чтобы так была опоэтизирована смерть».

Когда я в конце 1935 года поехал в Крым, Нестеров просил меня передать Алексею Максимовичу для прочтения его воспоминания о нем и письмо. Когда я уезжал обратно в Москву, Алексей Максимович вручил мне ответ М. В. Нестерову и сказал: «Убедите, пожалуйста, Нестерова, чтобы он уступил мне портрет девушки!» После долгих разговоров Михаил Васильевич наконец согласился. Мы вместе с И. П. Ладыжниковым отвезли портрет в Горки и повесили его в кабинете Алексея Максимовича. Это было перед самым приездом Алексея Максимовича. Портрет и сейчас висит там [5].



А. М. Горький. Петроград. 1917.



Молодые писатели 20-х годов. Слева направо: К. А. Федин, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, Е. Г. Полонская, М. М. Зощенко, Н. Н. Никитин, И. А. Груздев, В. А. Каверин.



В. И. Ленин и А. М. Горький на II конгрессе Коминтерна. Петроград. 1920.



А. М. Горький. Финляндия. 1921.



Разгрузка продуктов в Петроградском Доме ученых. 1921.



А. М. Горький у бюста Данте. Сорренто. 1924.



А. М. Горький с сыном Максимом Алексеевичем, невесткой Надеждой Алексеевной и внучками Марфой (с мячом) и Дарьей. Сорренто. 1928.



В. И. Качалов, А. М. Горький, К. С. Станиславский после спектакля «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова. Москва. 1928.

А. Д. Корин. Кабинет А. М. Горького в Горках X.





А. М. Горький среди рабочих-ударников, совершавших рейс вокруг Европы на теплоходе «Абхазия». Неаполь. 1930.



П. Д. Корин. Портрет А. М. Горького. Сорренто. 1932.

А. М. Горький на выставке работ художников Кукрыниксов. Москва. 1932. Слева направо: поэт А. Г. Архангельский, художник П. Н. Крылов, А. М. Горький, художники М. В. Куприянов, Н. А. Соколов, С. Б. Телингатер.

Кукрыниксы. А. М. Горький. Шарж. 1932.



Кукрыниксы. А. М. Горький на I Всесоюзном съезде советских писателей. Шарж. Москва. 1934.





А М. Горький выступает на I Всесоюзном съезде советских писателей. Москва. 1934.

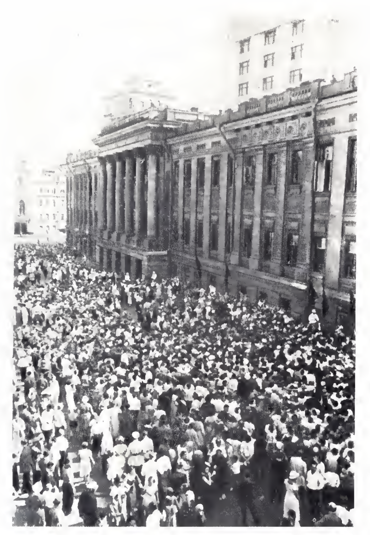


Анри Барбюс.

А. М. Горький провожает Ромена Роллана и его жену М. П. Роллан. Москва. 1935.



А. М. Горький и К. А. Федин. Горки X. 1934.



Прощание народа с А. М. Горьким. У Дома Союзов.
Москва. 20 июня 1936 г.

Дом на ул. Качалова (бывшая М. Никитская, 6), в котором А. М. Горький жил с 1931 по 1936 г. Москва.

Восточная коллекция в кабинете А. М. Горького на бывшей М. Никитской ул., 6.

Встретил я у Алексея Максимовича новый, 1936 год в Крыму и 2 января собрался ехать в Москву. Последнее мое свидание с Алексеем Максимовичем было 2 января 1936 года. Мне надо было ехать в Севастополь на поезд. В рабочие часы к Алексею Максимовичу не входили. Мне в одиннадцать надо было уезжать. Олимпиада Дмитриевна ему сказала, что я уезжаю и прошу разрешения проститься. Когда я вошел в кабинет, Алексей Максимович сидел за столом, работал. Увидя меня, встал: «Ну, значит, уезжаете? Увидимся в Москве, напишете с меня портрет, и поедем кататься по Волге». Крепко поцеловал меня, и последние его слова ко мне были: «Не медлите, сделайте себе операцию ноги».

Я тогда не думал, что это моя последняя беседа, последняя встреча с Алексеем Максимовичем.

В самом конце мая 1936 года Алексей Максимович приехал в Москву. Я его ждал вечером на Никитской, но его сильно задержали на вокзале встречающие. Мне надо было уходить. Я решил, что зайду с ним повидаться на другой день. На другой день утром я сидел в своей мастерской с М. В. Нестеровым. Звонок по телефону. Я иду. Пока из мастерской я дошел до телефона, трубку положили. Оказывается, Алексей Максимович собрался ехать на кладбище Девичьего монастыря на могилу сына и на обратном пути хотел заехать ко мне. Он попросил Надежду Алексеевну позвонить мне, а она, не дождавшись моего подхода к телефону, положила трубку и сказала Алексею Максимовичу, что Кориных нет дома. Прямо с кладбища Алексей Максимович уехал в Горки и на другой день заболел. Я звонил каждый день по телефону и справлялся о его здоровье. Несколько раз спрашивал, можно ли приехать. Мне отвечали, что к нему никого не пускают. Бюллетени о его здоровье в «Правде» стали тревожные.

18 июня утром в десять часов я позвонил в Горки по телефону, подошла О. Д. Черткова. Спрашиваю ее:

— Как здоровье Алексея Максимовича?

Она отвечает:

— Плохо, Павел Дмитриевич, плохо.

Я спрашиваю:

— Надежда-то есть?

— Ну, надежда всегда должна быть, но очень плохо.

Прошел час, звонок по телефону. У телефона Иван Павлович Ладыжников, который говорит мне:

— Павел Дмитриевич, все кончено, собирайте все нужное для зарисовки, за вами приедет машина, приезжайте скорее.

Через час я был в Горках. Вошел в спальню. Алексей Максимович лежал на постели, на которой скончался, лежал в светло-голубой рубашке, очень похудевший и помолодевший. Взявши себя в руки, начал рисовать, время терять было нельзя, за мной другие ждали, чтобы снять маску. Рисунок мой находится в Горьковском музее в Москве. Поздно ночью тело Алексея Максимовича было перевезено в дом Союзов в Колонный зал. Я там сделал еще несколько зарисовок. Сотни тысяч москвичей прошли перед гробом Алексея Максимовича, прощаясь с ним.

Н. А. ПЕШКОВА

⟨РЯДОМ С ГОРЬКИМ⟩

⟨...⟩ В первых числах ноября 1921 г. приехал Алексей Максимович [1], совсем больной — с тромбофлебитом, цингой, кровохарканьем. На выезде Алексея Максимовича из России и длительном лечении в санатории настоял В. И. Ленин [2].

Втроем — Алексей Максимович, Максим и я — поехали в санаторий Сан-Блазиен [3], вблизи швейцарской границы.

Местность, где находился санаторий, была очень красивая — горы, леса, гулять спускались в долину. Там часто встречали мальчишек с ожерельями из лягушечьих лапок на шее, я впервые узнала, что они съедобны, их подают запеченными в тесте как местное блюдо.

Алексей Максимович работал, а мы, чтобы ему не мешать, уходили далеко в горы, катались на лыжах, на санях.

Максим был отличным лыжником, иногда брал лошадь, привязывал лыжи и один уезжал в горы. Я ходила на лыжах много хуже и на такие прогулки с Максимом не решалась.

В определенные часы Максим работал с отцом, а я читала, изучала немецкий язык.

Здоровье Алексея Максимовича поправлялось медленно, кровохарканье не прекращалось.

Максим мечтал о самостоятельной работе, но состояние здоровья Алексея Максимовича не позволяло оставить его, к тому же Максим всегда помнил слова В. И. Ленина: «Ваше место около отца, заботиться о нем, беречь его...»

Нервная система Максима тоже требовала лечения.

Соблюдая довольно строгий санаторный режим, Алексей Максимович ни на один день не прекращал работу. Из разных стран приходили письма, нужно было перево-

дить, печатать на машинке ответы. Максим был и переводчиком, и секретарем.

В России голод. В. И. Ленин попросил Алексея Максимовича написать письма прогрессивным писателям Америки, Франции, Германии и других стран о помощи голодающим [4].

Алексей Максимович пишет, Максим печатает и рассылает.

Жизнь в санатории была спокойной и размеренной. Но когда Алексей Максимович приезжал в Берлин, все резко менялось: бесконечные встречи, приемы, посещение театров, музеев и т. д. В результате здоровье Алексея Максимовича, едва окрепшее, ухудшалось, и снова надо было ехать в санаторий или просто в какое-нибудь тихое местечко, подальше от центра. ⟨...⟩

После горного воздуха Сан-Блазиена врачи рекомендуют Алексею Максимовичу морской воздух Герингсдорфа, и мы едем туда [5].

У хозяина-немца снимаем виллу с мансардой. В комнатах виллы по стенам развешано много всевозможного старинного африканского оружия; особенно нас поразила высушенная голова африканца, стоявшая на камине.

На втором этаже поселился Алексей Максимович, мы — внизу, гости остановились в мансарде.

Неожиданно в Герингсдорф приехала Мария Игнатьевна Будберг. С ней Алексей Максимович познакомился еще в Петрограде, когда она работала секретарем в редакции «Всемирной литературы». В подарок Алексею Максимовичу она привезла прелестного щенка фокстерьера. Алексей Максимович назвал его Кузькой. Кузька скоро стал общим любимцем, и мы всегда брали его с собой в наших поездках. Марию Игнатьевну я увидела здесь впервые. Мне понравилось ее лицо, большие выразительные глаза, ладная фигура и какая-то особенная манера держаться. Умная, деятельная, широко образованная, в совершенстве владевшая несколькими иностранными языками, она много ездила, много знала, видела и умела интересно обо всем рассказать. Кроме Марии Игнатьевны, в Герингсдорфе с нами жила Л. Ф. Шаляпина, приезжал и Федор Иванович.

Вечерами Лидия Федоровна пела, аккомпанируя себе на гитаре, цыганские и старинные русские песни. Пела

с большим чувством и артистичностью, у нее было красивое меддо-сопрано.

Алексей Максимович всегда с удовольствием ее слушал, иногда сочинял смешные припевы, которые тут же исполнялись при всеобщем одобрении:

Ай — я кинтошка молодой,
Ты — барина старая...
    Не щипай минэ за ногу,
    Что тэбэ — гитара я?
Молоденький барипня
Сэрсэ глазкам колит...
    Что ты минэ бьешь живот,
    Барабан я, что ли?
Молоденький баришна
Дыля минэ — приманка,
    Не верти ты ухи минэ,
    Раэве я — шарманка?
По Куре плывет баржа,
Это просто ей-то!
    Ах, не плюй на морда мне,
    Я тебе нэ флейта!

Но душой всех вечеров всегда оставался Максим. Он был неистощим в изобретении шарад, ребусов, импровизированных представлений. Экспромтом придумывались инсценировки, в ультрафантастических костюмах. Смотреть на Максима, выделывавшего всевозможные па, было смешно до слез.

Среди близких и приятных ему людей Максим был увлекательным рассказчиком, интересным собеседником. Но если он попадал в среду людей чужих или встречал предвзятое к себе отношение, он замыкался, держался настороженно и молчаливо.

В Герингсдорф приезжал Алексей Николаевич Толстой, читал отрывки из повести «Аэлита», а Алексей Максимович — свой рассказ «Отшельник»; Соколов-Микитов рассказывал много интересного о русских путешественниках — Н. М. Пржевальском, Н. Н. Миклухе-Маклае [6].

Из Берлина советские дипкурьеры заезжали к Алексею Максимовичу рассказать о происходящих в СССР событиях и новостях, передать рукописи и письма.

Работал Алексей Максимович не меньше 6—8 часов в день, и никакие уговоры Максима работать меньше не помогали.

Вместе с рукописями из России получали новые книги молодых писателей — К. А. Федина, В. А. Каверина,

Мих. Зощенко, Вс. Иванова и др. Мы все с интересом их читали.

Вообще все, что было оттуда, с родины,— все волновало и радовало Алексея Максимовича и нас.

После Герингсдорфа мы поселились в дачной местности Саарове, недалеко от Берлина.

И здесь, несмотря на запрещение врачей, Алексей Максимович много читает и продолжает работать. Вечерами, когда никого не было, мы устраивали Алексею Максимовичу отдых — играли в карты, в подкидного дурака. Часто слушали музыку.

В письме к Р. Роллану, с которым он был в постоянной переписке, Алексей Максимович жалуется, что очень тоскует по родине, все его мысли там.

И в Саарове у Алексея Максимовича продолжается кровохарканье. Как только ему становилось немного лучше, он выезжал с нами в Берлин. Однажды смотрели фильм по рассказу Л. Н. Толстого «Поликушка» с И. М. Москвиным в главной роли [7]. Фильм и реалистическая игра актеров произвели на нас очень большое впечатление. Алексей Максимович много говорил тогда о значении художественной правды в искусстве, предсказывал кинематографу с его возможностями большое будущее.

В Берлине мы познакомились с Эльзой Триоле, она тогда работала над своей первой книгой «На Таити».

Интересная была встреча у А. Н. Толстого с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан [8]. Есенин с большим настроением читал свои стихи для Алексея Максимовича, а Дункан танцевала.

В Саарове Алексей Максимович простудился, получил сильный бронхит, обострение процесса в легких. Врачи посоветовали переехать в Шварцвальд, местечко называлось Гюнтерсталь [9], около Фрейбурга. Поехала туда и Мария Игнатьевна Будберг. ⟨...⟩

Врачи советуют Алексею Максимовичу ехать в Италию, надеясь, что ему поможет теплый климат. Алексей Максимович не возражает. В ожидании визы он хочет съездить в Чехословакию, побывать в Праге, о которой много слышал и читал.

С нами поехали художник И. Н. Ракицкий и Мария Игнатьевна Будберг, близкий друг и переводчик произведений Алексея Максимовича на иностранные языки.

Зима в тот год в Чехословакии была очень суровой, и Алексей Максимович тяжело переносил перемену кли-

мата, но все же из Мариенбада мы ездили в Прагу [10], гуляли по пражским улицам, знакомясь с городом, осматривали пражскую архитектуру.

Лечился Алексей Максимович у доктора Б. Ольберта — очень культурного, широко образованного человека. У него устраивались интересные музыкальные вечера, желанным гостем на них был Алексей Максимович.

Из Советского Союза в Прагу доходят тревожные вести о болезни В. И. Ленина. Алексей Максимович страшно беспокоится, подолгу разговаривает о Владимире Ильиче с Максимом. Весть о кончине Владимира Ильича потрясла Алексея Максимовича [11] и всех нас. Алексей Максимович в этот день никуда не выходил из своей комнаты.

По просьбе Алексея Максимовича Екатерина Павловна присылает все газеты, посвященные В. И. Ленину.

Из Чехословакии, которая была так близка к России, еще сильнее тянуло на родину, но доктора настаивали на немедленном отъезде в Италию... ⟨...⟩

В начале апреля 1924 года мы получили визы и выехали в Италию [12]. Остановились в Неаполе, в отеле «Континенталь». В Неаполе встретили много старых знакомых. Алексей Максимович получил огромное количество писем из Берлина. Через несколько дней перебрались в Сорренто, где Алексея Максимовича ждала самая теплая встреча.

Италия поразила меня изумительной природой, мягким климатом и, конечно, морем. Мы с Максимом часами пропадали на замечательном пляже виллы «Масса», купались, собирали мозаику.

В далеком прошлом здесь были виллы, разрушенные морем, теперь оно выбрасывало множество разноцветной мозаики, обломки скульптурных украшений, а я нашла две замечательные геммы для колец.

В часы отдыха Алексей Максимович присоединялся к нам, он очень любил морские прогулки, любил один подолгу сидеть, смотреть на волны, думать под шум прибоя.

На плоской крыше виллы «Масса» стояла подзорная труба, вечерами мы поднимались туда и любовались звездным небом. Незабываемые, чудесные итальянские вечера.

На вилле «Масса» Алексей Максимович заболел острой формой воспаления легких. Положение было критическое. Спас его швейцарский доктор Сутер (он работал в госпитале для иностранцев). Сутер ввел в вену огромное количе-

ство камфоры, и Алексей Максимович, потерявший сознание, пришел в себя,— опасность миновала. Однако молниеносно разнесся слух — умер Горький. И когда Алексей Максимович, совсем еще слабый, сидел в кресле вместе с нами около дома, неожиданно у садовой калитки раздался звонок, открывать пошел Максим и... остолбенел. Перед ним стояла делегация в цилиндрах, траурной одежде, с венками. Оказывается, делегацию прислал подеста (генерал-губернатор) Неаполя.

Максим сказал: «Алексей Максимович, слава богу, жив, произошло недоразумение. У него был очень тяжелый приступ, но прошел, сейчас ему гораздо лучше». В полном смущении, с искренними извинениями делегация ушла, а мы послали за шампанским и выпили за здоровье Алексея Максимовича, вспомнив, что это хорошая примета.

Когда Алексей Максимович стал поправляться, решили переехать в другое место, так как вилла «Масса», построенная на вулканическом туфе, имела одну неприятную особенность — днем впитывать в себя всю влагу, а вечером отдавать ее, сырость же Алексею Максимовичу была абсолютно противопоказана.

Художник П. П. Кончаловский, который жил недалеко от Сорренто, бывая у нас в гостях, рекомендовал посмотреть виллу на Капо ди Сорренто (на скалистом мысу), принадлежащую дуке ди Серра-Каприола. Вилла (XVIII в.) и хозяева нам понравились, и мы сняли половину дома. Несколько комнат с отдельным входом, с правой стороны дома, хозяева оставили себе. Мы с Максимом поселились внизу, с левой стороны, а Алексей Максимович на втором этаже виллы. Дука ди Серра-Каприола — веселый, остроумный человек, убежденный антифашист,— быстро подружился с Максимом. Обе его дочери, Елена и Матильда, прекрасно воспитанные девушки, занимались садом, сбором апельсинов, оливок, лимонов и продажей их, так как были бедны.

В дни наших семейных праздников хозяева принимали самое горячее участие в наших домашних развлечениях, устраивали вместе с нами велосипедные гонки для детей, жгли большие костры, через которые прыгали все, кто мог прыгать. Максим устраивал домашние спектакли, шарады, живые картины, он, как всегда, был неистощим и оригинален. Из вещей, которые находились в доме, он мастерил фантастические костюмы, придумывал забавные

гримы. Гротесковые образы, созданные Максимом, во всех постановках были настолько самобытны и убедительны, что навсегда запечатлелись в памяти.

В «Иль-Сорито» Алексей Максимович работал очень много: вставал в 8 часов утра и с 9 до 13 ч. 30 мин. работал, затем, с 2-х до 4-х, обед, после обеда — прогулка к морю, с 4-х до 5-ти; в 8 часов ужин, в 11 часов он уходил к себе — и, если не было неотложных встреч, читал до глубокой ночи. ⟨...⟩

Однажды раздался телефонный звонок из Рима. Звонил Ф. И. Шаляпин. Он будет в Риме петь «Бориса Годунова» и после спектакля хочет приехать к Алексею Максимовичу в Сорренто. Спрашивает, можно ли? Алексей Максимович решает иначе — он сам приедет в Рим послушать «Бориса Годунова» и встретиться с Федором Ивановичем.

В Рим поехали на машине, вел Максим, с нами поехал Иван Николаевич Ракицкий.

Приехав в Рим, остановились в гостинице, и в тот же вечер отправились слушать «Бориса Годунова» [13]. Впечатление от спектакля осталось незабываемое. Игрой и пением Федора Ивановича потрясены были все присутствующие в зале, независимо от возраста и национальности.

Чопорные англичане, сидевшие перед нами, в сцене смерти Бориса встали, забыв о сидящих сзади.

В антрактах Алексей Максимович, взволнованный и возбужденный игрой Федора Ивановича, ходил к нему за кулисы, а мы оставались в партере, боясь помешать их беседе.

По окончании спектакля, желая выразить Федору Ивановичу свое восхищение, за кулисы пошли все вместе. Там была Мария Валентиновна, вторая жена Федора Ивановича, с которой меня познакомили, Максим и Иван Николаевич были знакомы с ней раньше.

Федор Иванович и Мария Валентиновна пригласили нас поужинать в подвальчик, где всегда собирались артисты, художники, писатели; столы и стулья были сделаны из бочек, на полках по годам стояли коллекции вин. В нише подальше от публики нас ждал накрытый стол с разными закусками и винами. Кроме нас, были приглашены художник Коровин, Н. Бенуа и еще кто-то, не помню.

За столом было очень весело. Федор Иванович и Коровин, оба блестящие рассказчики, состязались в остроумии.

Все были в очень хорошем настроении. Алексей Максимович и Максим много интересного рассказывали о Со-

ветском Союзе, отвечали на массу вопросов, в заключение Алексей Максимович сказал Федору Ивановичу: «Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, интерес их к тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен». Мария Валентиновна, молча слушавшая, вдруг решительно заявила, обращаясь к Федору Ивановичу: «В Советский Союз ты поедешь только через мой труп» [14].

После такого заявления жены Федор Иванович как-то сразу затих, настроение у всех упало, Алексей Максимович замолчал, Максим помрачнел.

Быстро засобирались домой, приятно начатый вечер был испорчен. ⟨...⟩

В конце октября 1933 года Алексей Максимович, Максим, Марфа, Дарья и я приехали в Тессели.

Как предполагали, место, дом — все понравилось Алексею Максимовичу. К дому уже была сделана пристройка, комнаты для гостей и приезжих.

С нами приехала и О. Д. Черткова, медсестра по образованию, близкий нашей семье человек. Она выполняла все процедуры, предписанные врачами Алексею Максимовичу, и успевала заниматься всеми хозяйственными делами.

Приехал секретарь П. П. Крючков с женой и сыном.

Алексей Максимович, как всегда, сразу же стал готовить себе стол для работы и занялся разборкой книг, прибывших в огромных ящиках еще до нашего приезда. Помогали Максим и Крючков.

Перед обедом, когда все разместились по комнатам, пошли гулять. Осмотрев сад, отправились по дороге к маяку и попали в великолепную рощу, впоследствии ставшую любимым местом прогулок Алексея Максимовича (мы назвали ее Пушкинской).

Гуляли долго, Алексей Максимович, несмотря на болезнь, был неутомимый ходок.

К обеду пришли голодные, но довольные и веселые. Алексей Максимович сказал: «Хорошо, очень хорошо». За обедом весело шутил и поел с аппетитом, а вообще в еде он всегда был умерен.

Обычно он съедал неполную тарелку супа, маленькую порцию второго и какое-нибудь легкое сладкое. Любимым блюдом были пельмени. Никаких особо острых блюд, закусок и вообще излишеств в еде Алексей Максимович не признавал.

Завтрак его обычно состоял из двух сырых яиц в стакане, туда же выжимался сок целого лимона, без соли и без сахара, он глотал все это, как глотают устриц, затем пил стакан крепкого кофе с молоком и пятью кусками сахара и съедал маленький кусок белого хлеба без масла. После завтрака Алексей Максимович уходил к себе в кабинет работать,— утренние часы работы, по его словам, были самыми творческими и продуктивными.

Режим жизни в Тессели оставался прежним, как всегда и везде. Так же приезжали и приходили люди, взрослые и дети (школьники начальной школы в Форосе), так же печатал Максим все, что нужно было отцу.

В конце декабря мы все уехали из Тессели в Москву. ⟨...⟩

В апреле 1934 года Екатерина Павловна с Марфой и Дарьей выехала в Тессели. Алексей Максимович плохо себя чувствовал и решил немного задержаться, к тому же были срочные дела. Максим и я остались с ним.

В первых числах мая, когда Алексей Максимович собрался ехать, заболел Максим. Он простудился на рыбной ловле. С первых дней болезни температура поднялась до 40°.

Приехавший в Горки лечащий врач поставил диагноз — крупозное воспаление легких. Вызванный затем академик Сперанский подтвердил диагноз. Болезнь сразу приняла катастрофический характер.

В Тессели срочно была отправлена телеграмма с вызовом Екатерины Павловны.

Максим бредил.

В падающей от люстры тени ему мерещился невидимый глазу неприятельский аэроплан. Он говорил, что если прищуриться, то под некоторым углом зрения можно увидеть очертания самолета, что он открыл секрет конструкции этого аэроплана. Одновременно карандашом на коробке от папирос Максим чертил какие-то авиационные конструкции.

Во время болезни Максима Алексей Максимович не находил места от беспокойства.

Около Максима, кроме лечащего врача, по очереди дежурили я и Олимпиада Дмитриевна Черткова. Приходил Алексей Максимович, разговаривал с Максимом. Если видел, что он без сознания, молча постояв, уходил и тут же присылал Олимпиаду Дмитриевну (когда дежурила я) или кого-нибудь с вопросом: «Ну, как?»

В последний день Алексей Максимович не ложился спать, сидел в столовой, разговаривал с академиком Сперанским, вставал, подходил к окну, долго молчал, а наверху умирал любимый сын. 11 мая 1934 года Максим умер. Он еще лежал на кровати в нашей комнате. Плохо сознавая случившееся, не в силах уйти, я стояла около него, когда послышались знакомые шаги и вошел Алексей Максимович. Боясь разрыдаться, не смея взглянуть ему в лицо, я видела его ноги, они остановились близко у кровати. Не знаю, сколько времени длилась страшная пауза.

Очнулась, Алексея Максимовича уже не было. Как он ушел, я не слышала.

Через два часа после смерти Максима к Алексею Максимовичу пришли руководители партии и правительства со словами глубокого сочувствия, он перевел разговор на другие темы, сказав: «Это уже не тема».

Похоронили Максима на Ново-Девичьем кладбище 12 мая 1934 года. Жизнь продолжалась в том же темпе. Внешне у Алексея Максимовича как будто ничего не изменилось, та же большая литературно-творческая работа, горячее участие в жизни страны — он пишет статьи о художественной литературе, выступает против готовящейся империалистической войны, фашизма, принимает делегации рабочих, молодых литераторов, встречает челюскинцев на Красной площади, руководит Первым съездом советских писателей, выступает с основным докладом на съезде.

Но, оставаясь один дома, он долгое время не мог читать, часто до глубокой ночи ходил по своей комнате, его глаза больше не смеялись, сильнее ссутулилась спина, чаще стал тяжело задумываться [15].

Максим, который все годы был с ним неразлучен, ушел навсегда.

В свободное время Алексей Максимович стал больше уделять внимания внучкам, часто разговаривал с ними об отце. Со мной советовался о памятнике, перебирал фотографии Максима, ему хотелось сделать скульптурное изображение Максима во весь рост. Памятник Максиму был выполнен скульптором Верой Игнатьевной Мухиной.

Подаренные Максимом акварели Алексей Максимович раскантовал и заказал клише. В память сына собирался сделать альбом с рисунками Максима, напечатать воспоминания его друзей, хотел и сам написать о Максиме,

но, к великому сожалению, осуществить задуманное не успел. После смерти сына боль утраты была слишком сильная, и Алексей Максимович, видимо, ждал, когда пройдет эта острота. Наступил второй год после кончины Максима, но у меня создалось впечатление, что Алексею Максимовичу нисколько не стало легче.

Если раньше о Максиме он часто говорил с внучками, со мной, теперь он замкнулся в своем горе, и только по отдельным фразам чувствовалось, как волнует его мысль, что до сих пор он не написал ничего о сыне.

В конце мая 1936 года из Тессели Алексей Максимович приехал нездоровым [16].

В поезде было жарко, открывали окно, и он простудился.

Прямо с вокзала Алексей Максимович проехал на Малую Никитскую, поднялся на второй этаж к внучкам, поговорил с ними, потом отобрал в библиотеке нужные книги, часть из них взял с собой, оставил библиотекарю записку и, не задерживаясь, уехал в Горки.

В Горках Алексей Максимович, как всегда, подготовил все для работы, но сесть за стол ему больше не пришлось.

Первый том «Жизни Клима Самгина» с вложенным карандашом так и остался лежать на столе.

На другой день у Алексея Максимовича поднялась температура, вызвали врача.

Первые дни болезни прошли без особых волнений, температура держалась, но Алексей Максимович вставал, ходил. Обычно он чувствовал себя плохо после каждого переезда. И вдруг 8 июня наступило резкое ухудшение, срочно созвали консилиум врачей, принимались все меры для спасения, но на этот раз ничего не помогло. Через десять дней Алексея Максимовича не стало.

Он умер в 11 ч. 10 м. утра 18 июня 1936 года, в том же доме в Горках [17], где два года назад скончался его сын.

Н. Н. БУРДЕНКО

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Я встречался с Алексеем Максимовичем много раз — в различные периоды его жизни, по самым разнообразным поводам. Я лечил его самого, его семью, его секретарей. Никогда мое посещение Горького не обходилось без того, чтобы Алексей Максимович не переходил к беседам на общие темы. Любимой темой этих бесед была наука.

Горький был величайшим гуманистом современности. Но он ненавидел всякое либерально-попустительское отношение к человеческим слабостям и несовершенствам, хотя, быть может, знал, как никто, подлинную, скорбную цену человеческим порокам, несчастьям. Ведь он поднялся до вершин человеческой культуры, до непревзойденных высот творческого мастерства с социального дна (не в фигуральном, а в буквальном смысле этого слова). Даже и в периоды гнева, неистовой ярости, глубоких психологических потрясений, сталкиваясь с наиболее звериными и жестокими человеческими страстями, Горький не переставал верить в человека. Его гнев, ярость, презрение питались неиссякаемой любовью к человечеству и человеку.

Горький был врагом мещанства не только как художник и публицист-трибун, но и по самому своему, я бы сказал, биологическому существу. Он словно был создан из того благороднейшего биологического материала, который природа тратит очень редко и с необычайной скупостью. Когда я сейчас пробую восстановить в своей памяти портрет Алексея Максимовича, я прежде всего думаю о двух чертах его характера: необычайном мужестве и целеустремленности. Горький не боялся сомнений, не боялся противоречий, он не бежал трусливо от трагических и нераз-

решимых конфликтов. Он смотрел жизни прямо в лицо. Его жизненную задачу можно было бы сформулировать так: разгадать тайны природы и сделать жизнь человека вольной, счастливой, прекрасной.

Горький был энциклопедистом социалистической эпохи. Все знают его огромный труд по организации таких изданий, как «История гражданской войны», «История фабрик и заводов» [1], «Всемирная история» [2], как серии «Библиотека поэта» [3], «История молодого человека» [4] и другие. Разве не удивительно, что инициатором и активнейшим осуществителем этих замыслов был один человек — Горький.

Горький был патриархом русской литературы, и не только ее советского периода. Один из наиболее чутких и внимательных художников, он обладал изумительной способностью отгадывать таланты. Общение с молодыми дарованиями, с начинающими писателями было одной из страстей Горького. До революции им был «открыт» Леонид Андреев, он ввел в литературу Скитальца, он поддержал украинского писателя Коцюбинского, он же ввел в «большую литературу» Маяковского. После революции он один из первых обратил свое внимание на Михаила Шолохова, который является сейчас, на мой взгляд, наиболее радостной и многообещающей надеждой советской литературы.

Со мною Горький чаще всего говорил о советской науке. Он мечтал о науке, отличающейся и по методам своим, и по конкретным задачам от науки капиталистических стран. Он живо интересовался биологическими науками и главным образом медициной. Когда я с ним увиделся в последний раз в конце мая, буквально за несколько дней до его болезни, он со мной заговорил о необходимости создания синтетической научной медицины.

— Вам надо построить положительную философию медицинской науки, которой до сих пор еще нет. Медицина на протяжении тысячелетий мыслит аналитически, эмпирически. Она ищет средств борьбы с отдельными недугами, но никогда не ставила перед собой задачи построить биологическую философию человека. Медицина должна стать наукой конструктивной и синтетической в самом творческом смысле этого слова.

Организационной и методологической базой для разрешения этой огромной задачи мыслился им ВИЭМ (Всесоюзный институт экспериментальной медицины). Этим

объясняется тот огромный интерес, который Горький проявил к идее создания этого института [5]. Горький говорил часто о медицине не только как о науке, но и как об искусстве.

Врач должен уметь оздоровить больную, часто патологически изуродованную психологию пациента. В этом залог успеха врача в борьбе с болезнью, которая должна уступить место здоровью, норме.

Для меня, как врача, было тем более лестно выслушать этот предсмертный завет величайшего художника мировой литературы, что я знал о его колебаниях между верой в искусство и верой в науку. Когда-то он говорил устами одного из своих героев, что искусство знает о человеке больше, чем наука. В конце своей жизни, мечтая о необходимости построить биологическую философию, он безраздельно признал всю важность положительной науки.

Я спрашивал себя: было ли что-нибудь элегическое в натуре Горького. Мог ли бы он написать такие прекрасные, но насыщенные печалью примиренности строки, как те, которыми начинается пушкинская элегия? [6] И отвечаю себе: «нет», в душе Горького звучал культ жизни, еще более мощный, чем солнечное жизнеощущение Пушкина.

Горький был интереснейшим для нас, биологов, явлением природы. И если бы некий биофизик смог сконструировать такой аппарат-конденсатор энергии, который суммировал бы творческую энергию Горького, то этот аппарат мог бы привести в движение неисчислимое количество двигателей. Но Горький умер. Его больше нет среди нас, живых. И нет такого биофизика, который бы смастерил подобный фантастический конденсатор. Нам всем, людям науки и искусства, необходимо слить воедино творческую энергию десятков миллионов, чтобы продолжить и завершить те человеческие, чрезвычайно человеческие мысли и мечты, которые нам оставил в наследство Максим Горький. Наша родина не знала художника и писателя более великого и более активного, чем тот, прах которого мы похоронили в Кремлевской стене.

ПРИМЕЧАНИЯ

I
В. И. ЛЕНИН И А. М. ГОРЬКИЙ

Н. К. КРУПСКАЯ
ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ
(стр. 7)

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — активный деятель Коммунистической партии, жена, друг и соратник В. И. Ленина.

Опубликовано в «Комсомольской правде», 1932, 25 сентября, № 222. Печатается по *Гвс*, с. 37—40.

[1] Письмо от 16 мая 1930 г.

[2] См. восп. Десницкого и Андреевой, т. 1, с. 129—132, 267—269.

[3] В основанной большевиками под руководством В. И. Ленина партийной школе в местечке Лонжюмо под Парижем в 1911 г. готовились партийные кадры из рабочей среды. Сам Ленин читал здесь лекции.

[4] Письмо Горькому от июня 1913 г. (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 200).

[5] Письмо от 9 июля 1919 г. (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, с. 373—374).

М. И. УЛЬЯНОВА
ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ
(*Из воспоминаний*)
(стр. 10)

Ульянова Мария Ильинична (1878—1937) — видный участник революционного движения, сестра В. И. Ленина. С 1903 года — секретарь ЦК РСДРП, много работала в легальной и нелегальной печати, в частности в руководимом ЦК партии большевиков издательстве «Жизнь и знание», где встречалась с Горьким. С марта

1917 года ответственный секретарь «Правды» и член ее редколлегии (до 1929 года).

Впервые напечатано в «Известиях», 1936, 20 июня, № 142. Печатается по *Гвс*, с. 41—42.

[1] Горький жил тогда в д. 23 по Кронверкскому проспекту.

[2] В горьковском издательстве «Парус» в июле 1917 г. вышла работа Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (под заглавием «Империализм, как новейший этап капитализма»).

[3] См. восп. Пешковой, с. 21.

[4] Горький приезжал в СССР в 1928, 1929, 1931, 1932 и окончательно вернулся на родину в 1933 г.

М. И. ГЛЯССЕР

ЛЕНИН И ГОРЬКИЙ

(стр. 12)

Гляссер Мария Игнатьевна (1891—1951) в 1918—1921 годах работала в секретариате Совнаркома, затем сотрудник Института Маркса — Энгельса — Ленина.

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1940, 22 апреля, № 22. Печатается по *Гвс*, с. 49—51.

[1] См. примеч. 7 на с. 376.

Б. Ф. МАЛКИН

В. И. ЛЕНИН И М. ГОРЬКИЙ

(Из воспоминаний)

(стр. 15)

Малкин Борис Федорович (1891—1938) в 1919—1921 годах руководил Центральным агентством ВЦИК по распространению печати (Центропечать).

Печатается по изданию: «*Ленин и Горький*», с. 423—428.

[1] См. примеч. 6 к восп. Р. Арского, т. 1, с. 436.

[2] *Отзовисты* — левооппортунистическая группа, образовавшаяся в РСДРП в 1908 г.; отзовисты требовали отзыва социал-демократических депутатов из Государственной думы (отсюда и название группы), прекращения партийной работы в легальных организациях, что привело бы к потере связи с массами, и сосредоточения партийной работы исключительно в нелегальных организациях. В декабре 1909 г. отзовисты вошли в группу «Вперед» (см. примеч. 1 к восп. Луначарского, с. 375).

[3] В 1919 г. в гражданской войне были окончательно разгромлены белогвардейцы и интервенты.

[4] После переезда в Москву Советского правительства (11 марта 1918 г.) Горький, продолжая жить в Петрограде, часто приезжал в Москву и многократно встречался с В. И. Лениным.

[5] Госиздат — Государственное издательство РСФСР, создано постановлением ВЦИК от 21 мая 1919 г. по инициативе Горького и А. В. Луначарского путем слияния ряда издательств. Госиздат руководил другими издательствами, книготорговыми предприятиями, планировал производство бумаги. Выпускал агитационную и политическую литературу, осуществил первые советские издания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова. Издавал произведения русской классики (А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого) и современных писателей (В. В. Маяковского, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича, Ф. В. Гладкова, А. А. Фадеева и др.). Первым руководителем Госиздата был В. В. Воровский.

[6] Собрание сочинений Горького в 22-х томах вышло в 1923—1924 гг.

[7] См. примеч. 1 к восп. Чуковского, т. 1, с. 440.

[8] 29 ноября 1918 г. в Народном доме состоялся многолюдный митинг под председательством Горького. Писатель выступил с обращением к народу и трудовой интеллигенции, в котором призывал интеллигенцию к сотрудничеству с Советской властью, с победившим народом. На следующий день речь была опубликована в «Известиях» и в «Петроградской правде» (*Горький*, т. 24, с. 186—189).

[9] Существуют более поздние записи голоса Горького.

[10] Мемуарист имеет в виду статью «О характере наших газет», опубликованную в «Правде» 20 сентября 1918 г. (№ 202), в которой В. И. Ленин, выступая против «политической трескотни», требует от газет большей конкретности и деловитости (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 89—91).

[11] *ЦЕКУБУ* — Центральная комиссия по улучшению быта ученых во главе с Горьким; была организована сначала в Петрограде, а затем в Москве и в других крупных городах. Работая в ЦЕКУБУ, Горький проявил свойственную ему энергию, инициативу, настойчивость. Прежде всего он занялся вопросами питания ученых, устройства их жилищных условий, оказания им медицинской помощи. Он посещал лаборатории ученых, заботился о публикации научных трудов. По его инициативе в 1920 г. начал выходить журнал «Наука и ее работники», ученые получили возможность читать общедоступные лекции. Горький организовал получение из-за границы продовольствия, научного оборудования и книг, устраивал для ученых заграничные командировки.

По делам ЦЕКУБУ писатель часто обращался к Ленину, неизменно получая от него помощь и поддержку. Так, 22 апреля 1920 г.

В. И. Ленин писал в Петроградский Совет в связи с переданной ему Горьким просьбой профессора С. П. Костычева о предоставлении материалов для научной работы: «Товарищи! Очень прошу вас во всех тех случаях, когда т. Горький будет обращаться к вам по подобным вопросам, оказывать ему *всяческое* содействие, если же будут препятствия, помехи или возражения того или иного рода, не отказать сообщить мне, в чем они состоят» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 51, с. 184).

Позднее, уехав за границу, Горький продолжал заботиться о помощи русским ученым.

[12] В декабре 1919 г. В. И. Ленин принял А. Е. Ферсмана с группой ученых; 27 января 1921 г. состоялась встреча В. И. Ленина с петроградскими учеными — С. Ф. Ольденбургом, В. А. Стекловым и В. Н. Тонковым.

[13] А. В. Луначарский был в 1917—1929 гг. наркомом просвещения и ведал всеми вопросами культуры.

Е. П. ПЕШКОВА

(О ней см. в т. 1, с. 392)

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ У А. М. ГОРЬКОГО В ОКТЯБРЕ 1920 ГОДА

(стр. 20)

Опубликовано в сборнике *«Ленин и Горький»*, с. 429—431, откуда и перепечатывается.

[1] Встреча состоялась 20 октября 1920 г.

[2] В библиотеке купца-библиофила Г. В. Юдина в Красноярске В. И. Ленин работал в 1897—1898 гг. Он характеризовал ее как «замечательное собрание книг» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, с. 24). В 1907 г. большая часть юдинской библиотеки была куплена библиотекой Конгресса США.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(стр. 22)

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства.

Впервые Горький встретился с Луначарским, видимо, в конце 1905 года, в период их сотрудничества в газете «Новая жизнь». Особенно сблизились они на Капри, где Луначарский поселился в январе 1908 года. В советское время они совместно участвовали в создании новой, социалистической культуры. В ведении Луначарского как народного комиссара просвещения были все вопросы

культуры, и он очень часто общался с Горьким, добровольно возглавившим множество культурных начинаний.

Переписку Горького с Луначарским см.: *Архив*, т. XIV, с. 11—123.

Отрывок из выступления Луначарского на пленуме Моссовета 31 мая 1928 года печатается по изданию: *«Ленин и Горький»*, с. 416—417.

[1] Оппортунистическая группа социал-демократов «впередовцев» (создана в декабре 1909 г., издавала с 1910 г. за границей журнал «Вперед») объединяла ультиматистов, отзовистов, богостроителей. Горький и Луначарский временно к ней примыкали.

[2] Имеются в виду слова В. И. Ленина, написанные в 1910 г.: «...Горький — безусловно крупнейший представитель *пролетарского* искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 251).

[3] См. вступит. статью, т. 1, с. 10—11.

НОВАЯ ПЬЕСА РОМЕН РОЛЛАНА
(стр. 23)

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1926, № 5. Печатается по изданию: *«Ленин и Горький»*, с. 418—419.

[4] Возможно, Луначарский имел в виду слова Горького: «Говорят: Р. Роллан — Дон-Кихот. С моей точки зрения, это лучшее, что можно сказать о человеке» (*Горький*, т. 24, с. 260).

[5] Изданная в 1925 г. повесть имеет посвящение: «Ромену Роллану, человеку, поэту».

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ
(О нем см. в т. 1, с. 416)

ГОРЬКИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕКУБУ
(Из воспоминаний)
(стр. 24)

Написано 9 мая 1941 года. Впервые опубликовано в сборнике *«Ленин и Горький»*, с. 439—452, откуда и перепечатывается.

[1] См. примеч. 11 к восп. Малкина, с. 373.

[2] См. примеч. 10 к восп. Андреевой, т. 1 с. 427.

[3] Журналист, до революции известный «король русских репортеров» Л. М. Клячко. В мемуарах «Повести прошлого» (1926) рассказал о слежке царской охранки за русской прессой.

[4] Дела ЦЕКУБУ хранятся в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства.

[5] См. примеч. 7 на с. 376.

[6] См. примеч. 5 к восп. Чуковского, т. 1, с. 440.

А. К. ВОРОНСКИЙ

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ

(Из воспоминаний)

(стр. 32)

Воронский Александр Константинович (1884—1943) — деятель Коммунистической партии, литературный критик, публицист, писатель; в 1921—1927 годах — редактор журнала «Красная новь».

Переписку Горького с Воронским см.: *Архив*, т. X, кн. 2, с. 8—79.

Печатается по изданию: «*Ленин и Горький*», с 455—462.

[1] В 1918—1921 гг. А. К. Воронский редактировал газету «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске.

[2] «*Кузница*» — литературное объединение (1920—1931 гг.).

[3] См. примеч. 5 к восп. Чуковского, т. 1, с. 440.

[4] О «Серапионовых братьях» см. вступит. статью, т. 1, с. 14.

[5] Статья В. И. Ленина «О продовольственном налоге», в которой излагались основы новой экономической политики (нэпа), была опубликована в первом номере «Красной нови» (в мае 1921 г.).

[6] *Александровский парк* — сад возле Кремля в Москве.

[7] 24 июня 1921 г. В. И. Ленин писал В. Р. Менжинскому, указывая на необходимость помочь Горькому в делах Экспертной комиссии: «Помочь Горькому *надо* и *быстро*, ибо он из-за этого не едет за границу. А *у него кровохарканье!*» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 52, с. 289). И 9 августа — самому писателю: «А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерационально. ⟨. . .⟩ Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас» (там же, т. 53, с. 109). 12 декабря В. И. Ленин обратился в Политбюро ЦК РКП(б): «Крестинский думает, что необходимо включить Горького в число товарищей, лечащихся за границей за счет партии или Совета. Предлагаю провести через Политбюро предложение Крестинскому включить Горького в число таких товарищей и проверить, чтоб он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой» (там же, т. 54, с. 70—71). Рассмотрев это предложение, Политбюро ЦК РКП(б) 21 декабря 1921 г. постановило: «Включить т. Горького в число товарищей, лечащихся за границей, и поручить т. Крестинскому проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой» (там же, с. 579).

[8] Горький уехал из Москвы в Петроград 10—15 октября 1921 г., а 16 октября — из Петрограда за границу.

II

А. И. МИКОЯН

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ
(стр. 38)

Микоян Анастас Иванович (1895—1978) — видный партийный и государственный деятель, член КПСС с 1915 года, активный борец за Советскую власть на Кавказе. С 1926 года — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), с 1935 года — член Политбюро, в 1952—1966 годах — член Президиума ЦК КПСС, в 1964—1965 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда (1943).

Напечатано в «Литературной газете», 1968, 27 марта, № 13, откуда и перепечатывается.

[1] С Камо Горький познакомился осенью 1920 г.; 13 ноября 1920 г. писатель был свидетелем при регистрации его брака с С. В. Медведевой. Горький написал очерк «Камо» (1932).

[2] Находясь в заключении в Метехском замке, Горький в мае 1898 г. написал статью («Праздник шиитов») об этом празднике, приходившемся на 17—19 мая.

[3] 6 июля 1928 г. Горький выехал из Москвы; был в Курске, Харькове, Куряже (в колонии у Макаренко), на Днепрострое, в Запорожье, в Крыму, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе, Коджори, Ереване, Владикавказе, Сталинграде, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и 11 августа вернулся в Москву.

[4] См. примеч. 5 к восп. Миказляна, т. 1, с. 429.

[5] Буржуазные националисты — дашнаки правили Арменией в 1918—1920 гг. и довели страну до полного разорения, превратив ее в колонию иностранного капитала.

[6] ВИЭМ — комплексное научно-исследовательское учреждение, существовавшее в 1932—1944 гг., организовано для всестороннего изучения организма человека и изыскания новых методов исследования, лечения и профилактики болезней. ВИЭМ был создан в Ленинграде на базе существовавшего с 1890 г. Института экспериментальной медицины, в 1934 г. переведен в Москву.

[7] Руководимая А. С. Макаренко колония для несовершеннолетних преступников была открыта в 1920 г. в Полтаве, в 1926 г. переведена в Куряжский монастырь под Харьковом; в 1921 г. ей было присвоено имя Горького. С 1927 г. Макаренко одновременно возглавлял и Трудовую коммуну имени Ф. Э. Дзержинского.

Переписка Горького с Макаренко продолжалась с 1925 по 1935 г. Горький с большим уважением и интересом относился к Макаренко, поддерживал его в педагогических поисках, убеждал в необ-

ходимости заняться литературной работой, рассказать о своем замечательном педагогическом опыте, понимая его большое значение для строительства социализма. Когда новаторские педагогические идеи Макаренко встретили ожесточенные нападки со стороны вульгарных социологов от педагогики и Макаренко, устав от тяжелой борьбы и долгого непрерывного напряжения, оставил работу над «Педагогической поэмой», Горький немедленно помог ему, прислал деньги на отдых, заставил закончить произведение. «Педагогическая поэма» была отредактирована Горьким и опубликована в горьковских альманахах «Год XVII» и «Год XVIII».

Свои впечатления от колонии Макаренко Горький изложил в очерках «По Союзу Советов» (1929).

[8] А. С. Щербаков на партийной работе в Нижнем Новгороде был в 1924—1932 гг.; в 1934—1936 гг.— первый секретарь Союза писателей СССР.

С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И УЧЕНЫЕ

(стр. 44)

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — ученый-востоковед, в 1904—1929 годах непременный секретарь Академии наук, член редколлегии «Всемирной литературы».

Опубликовано в «Известиях», 1928, 29 марта, № 75. Печатается по изданию: *Гин*, с. 244—246.

[1] «Ученый» ежомесячный паек выдавался научным работникам в первые годы Советской власти.

[2] А. Б. Халатов, член коллегии Наркомпрода, с 1921 г.— председатель ЦЕКУБУ, позднее издательский работник.

[3] Высказывания писателя о науке собраны в *Гин*.

[4] Горький приехал в Советский Союз 28 мая 1928 г.

Ю. М. ЮРЬЕВ

ИЗ «ЗАПИСОК»

(стр. 47)

Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948) — актер Александринского театра (ныне Академический театр драмы имени А. С. Пушкина в Ленинграде), с 1939 года — народный артист СССР.

Печатается по тексту: Ю. М. Юрьев. Записки, т. II. Л.— М., «Искусство», 1963, с. 271—280.

[1] Одним из основателей Общества искусства и литературы, созданного в Москве в 1888 г., был К. С. Станиславский, который вскоре возглавил Общество и создал на его базе группу профессиональных актеров, составивших в 1898 г. ядро МХТ. *Alma mater* (л а т.— мать-кормилица) — так называли высшее учебное заведение окончившие его.

[2] Советское правительство назначило М. Ф. Андрееву комиссаром Отдела театров и зрелищ Союза коммун Северной области. В 1918—1921 гг. она ведала театральными делами Петрограда.

[3] Уйдя весной 1918 г. из Александринского театра, Ю. М. Юрьев основал свою труппу, силами которой и осуществил постановку трагедии Софокла «Царь Эдип». Премьера состоялась 21 мая 1918 г. на арене цирка. Всегда мечтавший о героическом репертуаре, артист считал, что революционная действительность, запросы пробуждающихся масс требуют мощных, грандиозных зрелищ, и пытался основать свой театр трагедии.

[4] Мемуарист ошибся: портрет работы И. И. Бродского в квартире Горького не висел.

[5] В 20-е годы Горького увлекала идея романтического театра, театра высокой трагедии и драмы. Таким театром стал открывшийся 15 февраля 1919 г. трагедией Ф. Шиллера «Дон Карлос» Большой драматический театр — «театр классической трагедии, высокой комедии и романтической драмы» (ныне Ленинградский Академический Большой драматический театр имени А. М. Горького).

К. А. ФЕДИН

ИЗ КНИГИ «ГОРЬКИЙ СРЕДИ НАС. КАРТИНЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

(стр. 53)

Федин Константин Александрович (1892—1977) — писатель. Первая встреча Горького и Федина состоялась в феврале 1920 года; в дальнейшем они встречались многократно. Горький принял большое участие в писательской и личной судьбе Федина, в трудное время материально помог ему, содействовал поездке Федина за границу для лечения, постоянно следил за его литературной работой.

Переписка Горького и Федина опубликована в *ЛН*, с. 461—564.

Печатается по изданию: Конст. Ф е д и н. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, М., «Художественная литература», 1973, с. 12—37, 188—194.

[1] Район Петрограда (ныне 1—10-я Советские ул.).

[2] Как писал сам Федин («Журналист», 1928, № 3), речь идет о «Молчальнике»; рассказ неопубликован.

[3] Рассказ «Дядя Кисель» опубликован в газете «Сызранский коммунар» 22 и 23 ноября 1919 г.; отмечен на конкурсе «АгитРОСТА». Герой рассказа — русский солдат, попавший в немецкий плен, испугался перемен, которые несет в жизнь деревни Октябрь, и отказался возвратиться на родину. Материал рассказа использован Фединым в романе «Города и годы».

[4] В первые годы после революции широкое распространение получили массовые театрализованные представления. Горький задумал силами петроградских писателей создать для театра и кинематографа серию драматических картин и инсценировок на исторические темы. План писателя поддержал Луначарский. Горький разработал программу исторических картин, начиная с сюжетов из первобытных времен. В порядке реализации идеи были написаны «Рамзес» А. Блоком, «Василий Буслаев» А. Амфитеатровым, «Огни святого Доминика» Е. Замятиным, «Охота на носорога» Н. Гумилевым, «Гориславич» А. Чапыгиным и др. Сам Горький написал киносценарий «Степан Разин» (1921). Некоторые пьесы были поставлены театрами Петрограда.

[5] Встреча состоялась 14 марта 1920 г. Как признавал пролеткультовский журнал «Грядущее» (1920, № 13), выступления Горького на этой встрече с писателями-пролеткультовцами «сопровождались оживленными, а порою и очень страстными прениями». Горький говорил о вреде цеховой замкнутости в литературе, о невозможности создания нового искусства в отрыве от народа, от традиций предшествующей культуры.

[6] Теперь ул. Ракова.

[7] Горький имеет в виду один из принципов «Пролеткульта», согласно которому культура социализма должна создаваться только представителями пролетариата.

[8] В 1919 г. под влиянием победы Октябрьской революции в России произошли революции в Баварии и в Венгрии, в результате которых возникли Баварская (13 апреля — 1 мая) и Венгерская (21 марта — 1 августа) советские республики, потопленные в крови буржуазными правительствами. Крестьяне Баварии и Венгрии не оказали поддержки восставшему пролетариату, что было одной из причин поражения революций.

[9] Для серии «исторических картин» Федин написал пьесу «Бакунин в Дрездене» (об участии Бакунина в революции 1848 г. в Германии) — личность этого революционера в первые послеоктябрьские годы привлекала к себе большое внимание.

[10] Критик и литературовед Ф. Д. Батюшков скончался 19 марта 1920 г.

[11] Горький имеет в виду распространенное в первые послереволюционные годы недоверчивое отношение к интеллигенции,

которую многие считали прислужницей буржуазии и не отделяли либерально-буржуазную интеллигенцию от интеллигенции демократической.

[12] Об отношении Горького к дореволюционной деревне см. вступит. статью, т. 1, с. 10.

[13] Встреча в редакции «Красной нови» произошла 9 июня 1928 г.

[14] Эти мысли Горький развил в статье «О мещанстве», опубликованной в начале 1929 г. (*Горький*, т. 25, с. 18—30).

ВС. ИВАНОВ
ВСТРЕЧИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ
(стр. 69)

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — писатель. Горький еще до революции принял деятельное участие в литературной судьбе Иванова, по первым, еще не совершенным рассказам угадав в нем талантливого писателя. Рассказ Иванова «По Иртышу» он опубликовал во втором сборнике пролетарских писателей (1917).

Воспоминания полностью впервые напечатаны в «Библиотеке «Огонька» (1950, № 27). Печатается по тексту: Всеволод Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1960, с. 481—533.

[1] Встреча Горького с Ивановым произошла в конце февраля — начале марта 1921 г. в Петрограде.

[2] Иванов приехал в Петроград из Сибири. Во время гражданской войны он был там красноармейцем, партизаном, видел немало жестоких расправ белогвардейцев с красными.

[3] Повесть «Партизаны» (1921) опубликована в № 1 журнала «Красная новь».

[4] С натуры В. И. Ленина рисовали Н. Андреев, И. Бродский, Г. Верейский, Г. Алексеев, Л. Пастернак, Н. Альтман, С. Чехонин, Н. Булкин, Ф. Малявин и некоторые другие художники.

[5] Рассказ «Красный день» опубликован в журнале «Красный командир», 1921, № 13.

[6] В 1922 г. Иванов опубликовал повесть «Бронепоезд 14-69». К 10-летию Советской власти он на основе повести создал пьесу, постановка которой на сцене МХАТа стала крупным событием. Премьера состоялась 8 ноября 1927 г.

[7] Иванов встречал у Горького в Сорренто 1933 г.

[8] Горький жил в Париже дважды: с 31 января (13 февраля) по 12(25) февраля 1911 г. и с 17(30) марта по 5(18) апреля 1912 г.

[9] В 1916 г. Иванов работал наборщиком в типографии «Курганского вестника», владельцем которой был Кочешев.

[10] Пьеса «Достигаев и другие» завершена в конце 1932 г.

М. Л. СЛОНИМСКИЙ

НАЧАЛЬНЫЕ ГОДЫ. М. ГОРЬКИЙ

(стр. 81)

Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — писатель. Познакомился с Горьким в 1919 году, когда стал работать в издательстве «Всемирная литература». Слонимский собирал материалы для биографической книги о Горьком, но, увлеченный работой над художественными произведениями, отказался от замысла и передал собранное И. А. Груздеву.

Переписку Горького и Слонимского см.: *ЛН*, с. 374—389.

Впервые напечатано в журнале «Литературный современник», 1941, № 6; печатается по тексту: Мих. Слонимский. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. Л., «Художественная литература», 1970, с. 385—404.

[1] Слонимский вышел из госпиталя в Петрограде, где в 1917 г. лежал в связи с открывшимся у него на почве контузии туберкулезом.

[2] «Всемирная литература».

[3] Горький, вероятно, имел в виду книги Вас. И. Немировича-Данченко «По дороге на Кавказ» (1880), «Беспросветная глушь. Люди и природа Южного Кавказа» (1894), «Дагестанское захолустье» (1894).

[4] «Чемоданом» в годы первой мировой войны называли снаряд крупного калибра.

[5] См. примеч. 2 к восп. Р. Арского, т. 1, с. 435.

[6] Повесть Е. Э. Дриянского (1857).

[7] Литейный проспект — традиционный центр книжной торговли в Петрограде.

[8] Юденич начал продвижение на Петроград летом 1919 г. 20 октября его армия заняла Павловск, Царское Село, подошла к Пулкову, но 23 октября защитники города перешли в наступление, враг был разбит и отброшен.

[9] *Махаевцы* — приверженцы махаевщины, мелкобуржуазного, анархистского течения первого десятилетия XX в., проповедовавшего враждебное отношение к интеллигенции как якобы паразитическому классу, живущему за счет труда рабочих. Основатель течения—польский социалист В. К. Махайский.

[10] В последние годы жизни А. Ф. Кони, сломав ногу, ходил, опираясь на палку.

[11] Товарищеский обед литераторов под председательством Горького в честь Уэллса состоялся в Доме искусств 30 сентября 1920 г.

[12] Дом искусств помещался в бывшем особняке крупного петербургского купца Елисеева на Мойке.

[13] Горький и Уэллс познакомились в 1906 г. в США, через год встретились в Лондоне, между ними наладилась переписка. Горький высоко ценил антивоенную позицию Уэллса в 1914—1918 гг. Приехав в 1920 г. в Петроград, Уэллс жил у Горького.

[14] После своего визита в Советскую Россию Уэллс написал книгу «Россия во мгле» (1920). Стараясь быть объективным, Уэллс воздавал должное большевикам, хотя и не верил, что страна без иностранной помощи выйдет из «мглы».

В. М. ХОДАСЕВИЧ
ТАКИМ Я ЗНАЛА ГОРЬКОГО
(стр. 95)

Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970) — художница, работала в книжной графике, была театральным художником. В 1919 году вышли рассказы Горького с иллюстрациями В. М. Ходасевич.

Воспоминания опубликованы в «Новом мире», 1968, № 3, с. 11—65, откуда и перепечатываются.

[1] «Художественное бюро» (салон-магазин) Н. Е. Добычиной организовывало выставки и продажу картин, концерты. Помещалось во втором этаже дома на углу Марсова поля и Мойки.

[2] Издательство располагалось в д. 18 по Большой Монетной ул.

[3] «Елка. Книжечка для маленьких детей» (под редакцией А. Блока и М. Горького; составители А. Бенуа и К. Чуковский) была издана «Парусом» в январе 1918 г. с иллюстрациями И. Репина, А. Бенуа, В. Замирайло, В. Ходасевич. Веселый, юмористический настрой книжки резко противостоял традиционным в то время слащавым «рождественским» изданиям для детей.

[4] См. примеч. 7 к восп. Манучарьянц, т. 1, с. 428.

[5] Портрет находится в музее Пушкинского дома (Института русской литературы) в Ленинграде.

[6] См. примеч. 2 к восп. Бадаева, т. 1, с. 432.

[7] *П. П. Крючков* — помощник Горького по связям его с литературными, издательскими и общественными организациями. *М. И. Бенкендорф-Закревская* (позднее — Будберг) — секретарь издательства «Всемирная литература», потом секретарь Горького. Переводила его произведения на английский язык, помогала в переписке с зарубежными литераторами. *М. А. Гейнце* — дочь ниже-

городского аптекаря, убитого черносотенцами в 1905 г. *Муж* Ходасевич — художник А. Р. Дидерикс.

[8] И. П. Ракицкий.

[9] 29 марта 1919 г. Горький писал в Исполком Полюстровского волостного Совета: «...за распоряжение ваше относительно молока для Н. В. Грушко и ее ребенка — сердечно вас благодарю!»

[10] Руководимый С. Э. Радловым Театр народной комедии стремился к яркой театральности, эксцентрике. В спектаклях широко допускалась словесная импровизация актеров.

[11] Сатирическая пьеса Горького обличала отрицательные черты действительности: подмену живого дела высокопарной, псевдореволюционной болтовней, неумение и нежелание работать. Однако обличительная направленность пьесы в радловском спектакле оказалась подмененной обывательским злопыхательством, чем и объясняется его запрещение. Спектакль состоялся 16 июня 1920 г.

[12] См. примеч. 7 на с. 376.

[13] В немецком местечке Саарове Горький жил с 25 сентября 1922 г. по июнь 1923 г.

[14] Из-за больной груди Горькому был удобнее стол несколько выше обычного.

[15] В Ленинграде Горький пробыл с 27 июня по 11 июля 1929 г. Останавливался в гостинице «Европейская».

[16] *Пат* и *Паташон* — комические персонажи немого кино (Пат—высокий и тощий, Паташон—маленький и толстый), которые приобрели большую популярность и перешли на эстраду.

[17] См. примеч. 1 к восп. Никулина, с. 397.

[18] С. М. Киров был злодейски убит врагом Коммунистической партии 1 декабря 1934 г.

[19] Горький в декабре 1934 г. писал Федину: «Я совершенно подавлен убийством Кирова, чувствую себя вдребезги разбитым и вообще — скверно. Очень я любил и уважал этого человека».

[20] См. восп. Нестерова, т. 1, с. 190.

О. В. ГЗОВСКАЯ

ИЗ КНИГИ «ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ»

(стр. 116)

Гзовская Ольга Владимировна (1883—1962) — артистка театра и кино, в 1920—1932 гг. гастролировала за границей.

Печатается по сборнику: «Ольга Владимировна Гзовская. Пути и перепутья. Портреты. Статья и воспоминания об О. В. Гзовской». М., ВТО, 1976, с. 167—172.

[1] *В. Г. Гайдаров* — актер, муж О. В. Гзовской.

[2] Драматическая студия имени Ф. И. Шаляпина была образована в Москве из нескольких любительских кружков летом 1918 г. Преподавание основывалось на системе Станиславского, занятия вели здесь актеры МХТ. В студии учились и дочери Шаляпина, а сам артист живо интересовался ее работой.

[3] В 1910—1917 и в 1920 гг. Гзовская играла в МХТ. Одной из самых удачных ее работ была роль Мирандолины в пьесе К. Гольдони «Хозяйка гостиницы».

[4] За рубежом Гзовская и Гайдаров много выступали в концертах — исполняли сцену Раскольникова и Сони, второй акт «Жизни человека» Л. Андреева, читали рассказы Чехова, стихи Лермонтова, Блока, Маяковского.

[5] По воспоминаниям Гзовской, Маяковский ей первой прочитал «Наш марш», подарил автограф стихотворения, показал, как его читать (то же издание, с. 261—262).

[6] В конце 20-х годов Горький писал сценарий «По пути на дно» о судьбах героев до того, как они попали в ночлежку. Сценарий не завершен.

[7] Гзовская была блестящим мастером импровизаций и пародий, которые она разыгрывала в узком кругу.

П. Т. БОЛГАРЕВ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

(стр. 123)

Болгарев Павел Тимофеевич (1899—1967)—ученый, специалист по виноградарству; в 1926 году находился в научной командировке в Италии. Тогда и произошла описываемая встреча.

Опубликовано в газете «Крым», 1940, 18 июня, № 146. Печатается по изданию: *Гин*, с. 220—221.

[1] В «Летописи» были опубликованы статьи К. А. Тимирязева «Наука в современной жизни» (1916, № 1), «Памяти друга (Из воспоминаний о М. М. Ковалевском)» (1916, № 8). В 1918 г. «Парус» издал его книгу «Красное знамя. Притча ученого». В «Парусе» намечалось издание сборника статей Тимирязева «Наука и жизнь» (издан Госиздатом в 1920 г. под названием «Наука и демократия»).

П. М. КЕРЖЕНЦЕВ

У ГОРЬКОГО В СОРРЕНТО

(стр. 125)

Керженцев (псевдоним Лебедева) Платон Михайлович (1881—1940) — публицист и государственный деятель, член РСДРП с

1904 года. В 1925—1926 годах — полпред в Италии. В Сорренто Керженцев бывал в мае 1925 года и в ноябре 1926-го.

Печатается по тексту: Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. Под. ред. И. Груздева. М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 411—420.

[1] *Тезка*—Марфа Посадница (Борецкая) — вдова новгородского посадника, возглавлявшая в XV в. враждебную Москве партию новгородских бояр.

[2] Моряки посетили Горького 30 сентября 1925 г.

[3] До отдельного издания романа «Жизнь Клима Самгина» отрывки из него печатались под заглавием «Сорок лет (трилогия)». Часть первая публиковалась с подзаголовком «Жизнь Клима Самгина».

[4] В 20-е годы вопросы НОТ (научной организации труда) широко разрабатывались. Был создан Институт труда, изучавший проблемы наиболее рациональной организации трудовой деятельности.

[5] См. примеч. 7 к восп. Накорякова, т. 1, с. 424.

[6] Н. С. Лесков умер в 1895 г. В советское время «Соборяне» вышли в 1921 г. в издательстве «Книга».

[7] В письме Я. С. Ганецкому, опубликованному 11 августа 1926 г. в «Известиях», Горький откликнулся на кончину Ф. Э. Дзержинского (20 июля 1926 г.), что и вызвало ярость белоэмигрантской прессы.

[8] 17 сентября 1925 г. был произведен обыск в комнате М. И. Будберг.

[9] После обыска Горький телеграфом спрашивал Муссолини, может ли он рассчитывать на спокойную работу в Сорренто и сообщал, что в противном случае будет вынужден покинуть Италию. Обыск вызвал возмущение в художественно-литературных кругах Италии, правительству были посланы протесты. В октябре состоялась беседа Керженцева с Муссолини о произведенном у Горького обыске. Муссолини заверил, что обыск был результатом недоразумения, которое больше не повторится.

Н. А. БЕНУА

<У ГОРЬКОГО В ИТАЛИИ>

(стр. 128)

Бенуа Николай Александрович (род. 1901) — художник-декоратор; с 1924 года живет и работает за границей, оформлял спектакли в парижской Гранд-опера и миланском театре «Ла Скала».

Воспоминания написаны для *Гих*, по тексту которого и печатаются, с. 83—89.

[1] Н. А. Бенуа с женой посетили Горького в Сорренто осенью 1926 г.

[2] Окончив в 1925 г. Вхутемас, Б. Ф. Шаляпин уехал за границу для продолжения образования.

[3] Пейзаж работы Н. А. Бенуа и сейчас висит в спальне писателя в Доме-музее Горького в Москве.

[4] На спектакле с участием Ф. И. Шаляпина Горький присутствовал 18 апреля 1929 г.

[5] Речь идет о поездке Горького в СССР в 1931 г. (с 13 мая по 18 октября).

[6] Художник А. Н. Бенуа.

[7] *«Версали»* (1898—1922) — стилизованные картины из французской придворной жизни XVIII в. Живописи А. Н. Бенуа присуща декоративность, грустная ирония, хрупкая, подчас манерная красота. Бенуа работал также как театральный художник.

Н. Н. АСЕЕВ

ВСТРЕЧА С ГОРЬКИМ

(стр. 134)

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — поэт; в 1927—1928 годах путешествовал по Западной Европе, тогда и посетил Горького в Сорренто.

Печатается по изданию: Николай Асеев. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., «Художественная литература», 1964, с. 271—299.

[1] Асеевы приехали в Сорренто 5 ноября 1927 г.

[2] И. Н. Ракицкий.

[3] Поэму «Девушка и смерть».

[4] Н. С. Тихонов входил в группу «Серапионовы братья».

[5] Поэму «Семен Проскаков» (1928).

[6] Белоэмигрантская газета, выходившая в Берлине в 1920—1931 гг.

ИЗ РАЗГОВОРОВ С ГОРЬКИМ

(стр. 141)

[7] События 1905 г. Горький описал в очерках «9-е января» (1906) и «Н. Ф. Анненский» (1927), в романе «Жизнь Клима Самгина» (1925—1936).

[8] У подножия памятника Н. М. Пржевальскому (сооружен в 1892 г., скульптор А. Г. Бильдерлинг) лежит не лошадь, а верблюд.

СИБИЛЛА АЛЕРАМО

С ГОРЬКИМ В СОРРЕНТО

(стр. 145)

Алерамо Сибилла (псевдоним Рины Фаччо; 1876—1960) — итальянская писательница. Горький познакомился с ней в 1907 году. Алерамо первой в Италии дала анализ романа «Мать». В 1946 году вступила в Коммунистическую партию Италии, сотрудничала в газете «Унита». Не раз печатала воспоминания о Горьком.

Переписку М. Горького и С. Алерамо см.: *Архив*, т. VIII, с. 242—249.

Опубликовано в газете «Il carriere della serra», 1928, 21 мая, № 120. Печатается по изданию: *Архив*, т. VIII, с. 269—271.

[1] На Капри Горький жил в 1906—1913 гг.

[2] Встреча произошла 8 апреля 1928 г.

[3] Роман Алерамо «Женщина» (в русском переводе — «Бесправная») опубликован в журнале «Образование» (1907, № 6—9).

[4] С Ракицким и Ходасевич.

[5] См. примеч. 3 на с. 386.

[6] Рассказ написан в 1912 г., хотя в основу его лег случай, происшедший с Горьким действительно в юности, в 1892 г.

[7] Горький приводит эти слова Толстого в очерке «Лев Толстой» (1919).

В. М. БАХМЕТЬЕВ

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

(стр. 149)

Бахметьев Владимир Матвеевич (1885—1963) — писатель.

Впервые опубликовано: «Литературная газета», 1951, 16 июня, № 71. Печатается по тексту: *Гвс*, с. 502—506.

[1] Памятник работы В. И. Мухиной, З. Г. Ивановой и Н. Г. Зеленской по проекту И. Д. Шадра.

[2] Горький приехал из Италии в Москву 28 мая, уехал 12 октября 1928 г.

[3] Теперь ул. Горького.

[4] Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова — высшее партийное учебное заведение (1918—1932), готовившее кадры партийных и советских работников.

[5] Ныне завод имени И. Д. Лихачева.

ИВАН ЖИГА

ИЗ КНИГИ «А. М. ГОРЬКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ»

(стр. 154)

Жига Иван (псевдоним Ивана Федоровича Смирнова; 1895—1949) — очеркист. Под руководством Горького Жига работал в журнале «Наши достижения».

Печатается по книге: Иван Жига. А. М. Горький. Воспоминания. М., «Советский писатель», 1955, с. 32—40, 133—137.

[1] Чествование Горького в Большом театре состоялось 31 мая 1928 г.

А. БАРБЮС

БЕСЕДА С ГОРЬКИМ

(стр. 162)

Барбюс Анри (1873—1935) — французский писатель и общественный деятель, член Французской компартии с 1923 года, борец против войны и империализма.

Горький встречался с Барбюсом в 1928 и 1932 годах.

Переписку Горького и Барбюса см.: *Архив*, т. VIII, с. 369—386

Опубликовано в еженедельнике «Monde», 1928, № 11; на русском языке (в сокращении) — в «Литературной газете», 1975, 5 ноября, № 45, откуда и перепечатывается.

[1] Встреча произошла 28 июня 1928 г. на даче в Морозовке под Москвой, где жил Горький. Барбюс приехал тогда в СССР для работы над книгой «Вот что сделано в Грузии» (вышла в Париже в 1929 г.).

[2] Основанный Горьким журнал «Наши достижения» (1929—1936) освещал успехи советского общества, рост промышленности, коллективизации, внедрение техники в сельское хозяйство, достижения национальных республик. В журнале сотрудничали передовики производства, ученые; благодаря помощи и заботам Горького в «Наших достижениях» выросла плеяда писателей и очеркистов (Б. Агапов, Л. Никулин, К. Паустовский и др.).

[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, с. 251.

Б. М. ЕРМАКОВ

У КОЛОНИСТОВ-МАКАРЕНКОВЦЕВ

(стр. 166)

Ермаков Борис Матвеевич (род. 1911) — бывший колонист, впоследствии инженер-авиаконструктор.

Опубликовано в «Учительской газете», 1968, 28 марта, № 37, откуда и перепечатывается.

[1] См. примеч. 7 на с. 377.

[2] Письмо от 9 мая 1928 г.

[3] Харьков в 1917—1934 гг. был столицей Украинской ССР.

[4] Колония размещалась в зданиях бывшего Куряжского монастыря в 10 км. от Харькова. Здесь в 1891 г. останавливался Иоанн Кронштадтский, который в те годы рекламировался в печати как проповедник и «утешитель страждущих». На деле это был ловкий карьерист, стяжатель, крайний мракобес, умелый демагог. В июле 1891 г. Горький гостил в Харькове у Метлиных и, услышав, что в монастыре остановился Иоанн Кронштадтский, отправился посмотреть на него. Встреча его с «проповедником» описана в очерке «Из воспоминаний (Иоанн Кронштадтский)» (1922).

П. Х. МАКСИМОВ

СВИДАНИЕ С А. М. ГОРЬКИМ

(стр. 170)

Максимов Павел Хрисанфович (1892 — 1977) — писатель.

Опубликовано отдельной брошюрой: П. Максимов. М. Горький. Ростов-на-Дону, 1940. Печатается глава из воспоминаний по тексту: *Гвс*, с. 319—322.

[1] В Баку Горький был 20—22 июля 1928 г.

[2] Горький работал в Ростове грузчиком летом 1891 г.

[3] Днепрострой Горький посетил 11 июля 1928 г.

В. М. АЛАЗАН

МАКСИМ ГОРЬКИЙ В АРМЕНИИ

(стр. 174)

Алазан (псевдоним Габузяна) Ваграм Мартиросович (1903—1966) — армянский писатель.

Впервые опубликовано в газете «Советская Армения» («Хорурдаин Айастан») 31 июля 1928 года. На русском языке — в сборнике «Горький и Армения. Статьи, письма, воспоминания и «Хроника». Ереван, «Митк», 1968. Печатается по этому изданию, с. 180—187.

[1] Теперь г. Кировакан.

[2] В Ереване Горький посетил маслобойно-мыловаренный и хлопкоочистительный заводы.

[3] *Сардар* (сердар) — военачальник в средневековой Армении.

[4] Первый очерк «По Союзу Советов», где Горький пишет о танцах Армении, опубликован в журнале «Наши достижения», 1929, № 1.

К. А. КЕКЕЛИДЗЕ

ВСТРЕЧА В КОДЖОРИ

(стр. 179)

Кекелидзе Ксения Аслановна (род. 1910) — педагог.

Написано в 1951 году; печатается по изданию: «Максим Горький и деятели грузинской культуры». Тбилиси, «Ганатлеба», 1970, с. 93—97.

[1] В Коджори Горький был 24 июля 1928 г.

[2] Автор цитирует очерк Горького «По Союзу Советов» (*Горький*, т. 17, с. 130—131).

М. О. ПОЛОНСКИЙ

НИЖЕГОРОДЦЫ ВСТРЕЧАЮТ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА

(стр. 183)

Полонский Михаил Осипович (1895—1971) — журналист, сопровождал Горького во время пребывания писателя в Нижнем Новгороде в 1928 году.

Печатается по тексту: «М. Горький в воспоминаниях нижегородцев». Горький, 1968, с. 286—294.

[1] Горький уехал из Нижнего 15 мая 1904 г.

[2] В поездку по стране Горький отправился из Москвы 6 июля, в Казани был 3—4 августа, в Нижнем Новгороде с 7 по 10 августа.

[3] Капиталисты Европы и США не хотели давать займы СССР, надеясь на крах его экономики.

[4] См. восп. Деренкова, т. 1, с. 36, 37.

[5] Одна из крупнейших строек первой пятилетки Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат сооружался в 1926—1933 гг.

[6] В 1925 г. близ Балахны была построена одна из первых в Нижегородской губернии электростанций.

Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА

ЧЕЛОВЕК

(стр. 191)

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954) — писательница. Впервые увидела Горького 11 мая 1917 года в Москве в Большом театре на публичном заседании «Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук в России».

Переписку Горького с Сейфуллиной см.: *ЛН*, с. 365—372.

Печатается по изданию: Л. Н. Сейфуллина. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М., «Художественная литература», 1969, с. 166—173.

[1] *ВАПП* — основанная в 1920 г. Всероссийская ассоциация пролетарских писателей. В ней главенствовала созданная в 1925 г. РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), в деятельности которой преобладали администрирование и групповщина (см. вступит. статью, т. 1, с. 15).

[2] Первый номер «Сибирских огней» (в 1922 г.) открывался повестью Сейфуллиной «Четыре главы».

[3] «Таня» напечатана в журнале «Новый мир», 1934, № 8. Горький писал о рассказе Сейфуллиной из Тессели 19 ноября 1934 г.

[4] Это письмо Горького неизвестно.

[5] Первый съезд советских писателей проходил с 17 августа по 1 сентября 1934 г.; после заседаний Горький встречался и беседовал с писателями в Горках.

[6] Журнал «Дружба народов» (первоначально, в 1939—1949 гг.— альманах).

[7] От 19 ноября 1934 г.

[8] «История фабрик и заводов» — серийное издание, созданное по инициативе Горького и по Постановлению ЦК ВКП(б) от 20 октября 1931 г. Серия включала работы и очерки по истории промышленных предприятий, написанные рабочими, журналистами, писателями, учеными. Горький возглавил редакцию серии. В 1931—1933 гг. вышло около 250 книг различного характера — сборники документов, научно-художественные очерки, исследования, воспоминания.

[9] Речь идет о повести юкагирского писателя Текки Одулока (Н. И. Спиридонова) «Жизнь Имтеургина-старшего», изображающей тяжелую жизнь чукчей до революции.

[10] См. восп. Захавы, с. 240—249.

[11] Максим Пешков умер 11 мая 1934 г.

[12] Встреча писателей с Р. Ролланом состоялась 9 июля 1935 г.

Н. СЁМУ

БЕСЕДА С М. ГОРЬКИМ

(стр. 198)

Нобори Сёму (1878—1958) — японский переводчик, исследователь русской литературы. В 1928 году Н. Сёму приезжал в СССР на празднование столетия со дня рождения Л. Н. Толстого; тогда и встретился с Горьким.

Воспоминания опубликованы в книге Н. Сёму «Жизнь и творчество Горького» (Токио, 1940); печатается по изданию: «М. Горький и литературы зарубежного Востока». М., «Наука», 1968, с. 329—335.

[1] *Исида Кёдзи* — японский переводчик и музыкальный критик; одновременно с мемуаристом находился в Москве.

[2] Н. Сёму был на дневном спектакле «На дне» во МХАТе.

[3] Н. Сёму перевел пьесу «На дне» в 1910 г. Поста левн я в том же году в театрах Японии, она шла с большим успехом много лет.

[4] См. примеч 3 на с. 386.

[5] *Укиёэ* — реалистическая школа в японской живописи XVIII—XIX вв.

[6] Речь идет о книге Б. Пильняка «Корни японского солнца. Путевые впечатления» (Л., 1927).

[7] Речь идет о книге Н. Асеева «Разгримированная красавица» (М., «Федерация», 1928).

[8] Собрание сочинений Горького в двадцати четырех томах вышло в 1929—1932 гг. в издательстве «Кайдзося».

[9] *Ямамото* Санэхико — директор издательства «Кайдзося».

[10] Замысел Горького написать об Японии осуществлен не был.

[11] См. примеч. 2 на с. 389.

[12] В это время в Москве гастролировал японский театр «Кабуки».

К. Я. ГОРБУНОВ

ЧЕТЫРЕ ЧАСА...

(стр. 205)

Горбунов Кузьма Яковлевич (род. 1903) — писатель, автор рассказов из крестьянской жизни.

Опубликовано в газете «Литературная Россия», 1968, 22 марта, № 13, откуда и перепечатывается.

[1] Горбунов тогда сотрудничал в сызранской районной газете «Красный Октябрь».

[2] Историю с часами несколько иначе Горький рассказал в очерке «О Гарине-Михайловском» (1927): стремясь помочь бедному владельцу часового магазина, Гарин купил у него весь товар и послал часы Горькому, работавшему тогда в «Самарской газете».

[3] Это была рукопись романа «Ледолом» о становлении советского строя в деревне (1929).

Ф. С. БОГОРОДСКИЙ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ХУДОЖНИКА»

(стр. 208)

Богородский Федор Семенович (1895—1959) — художник. С его отцом Горький работал у А. И. Ланина. Ф. С. Богородский написал несколько портретов Горького (находятся в Третьяковской галерее и в Музее А. М. Горького в Москве).

Печатается по книге: Федор Богородский. Воспоминания художника. М., «Советский художник», 1959, с. 285—306.

[1] Проездом из Москвы в Сорренто Горький осенью 1929 г. был несколько дней в Берлине, где встретился с мемуаристом, находившимся там в творческой командировке.

[2] Ныне Боде-музей в ГДР, названный так в честь его основателя искусствоведа Боде.

[3] О встрече с прототипом Челкаша Горький рассказал в статье «О том, как я учился писать» (1928).

[4] См. восп. Бродского и Прохорова, т. 1, с. 254—266.

[5] Для творчества литовского художника Чюрлениса характерно романтическое, символически-обобщенное восприятие действительности, воплощенное нередко в фантастических видениях, выражающих мечту о прекрасном и свободном мире. Произведения Чюрлениса, который, кроме того, является крупнейшим композитором, отличаются стремлением воплотить в живописи музыкальные образы.

С. С. КЭМРАД

ТОГДА, В НЕАПОЛЕ...
(стр. 214)

Кэмрад Семен Самуилович (род. 1902) — журналист.

Опубликовано в «Литературной России», 1968, 22 марта, № 13, откуда и перепечатывается.

[1] «Абхазия» прибыла в Неаполь в середине дня 26 ноября и уплыла вечером 28 ноября 1930 г. Горький несколько раз посетил теплоход.

[2] А. П. Салов показал Горькому рукопись своей брошюры «Новые люди». Горький, сделав замечания, предложил назвать ее «Рождение цеха». С этим названием брошюра и вышла в 1930 г.

[3] *Промпартия* — вредительская организация инженерно-технических работников, действовавшая в 1925—1930 гг. и ставившая целью свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР.

[4] В первый день судебного процесса над деятелями промпартии, 25 ноября 1930 г., в «Правде» и «Известиях» была опубликована статья Горького «К рабочим и крестьянам», предшествовавшая статье «Гуманистам» (опубликована в «Правде» 11 декабря). Горький с гневом выступил против тех, кто вредил строительству социализма в СССР, и тех, кто за рубежом защищал врагов трудового народа.

[5] См. примеч. 3 к восп. Лужского, т. 1, с. 412.

[6] В. З. *Хоружая* — участница революционного движения в Западной Белоруссии, член ЦК комсомола Польши, в 1925 г. арестована, в 1932 г. была обменена Советским правительством и приехала в СССР, где находилась на ответственной работе. В годы Великой Отечественной войны участвовала в партизанском движении в Белоруссии. Была выдана провокатором и казнена фашистами. Герой Советского Союза (1960 г.).

[7] Письмо напечатано в «Правде» 29 августа 1932 г., № 239.

А. С. КУРСКАЯ

ГОРЬКИЙ В ИТАЛИИ В 1928 ГОДУ

(стр. 219)

Курская Анна Сергеевна (1882—1964) — жена Д. И. Курского, партийного и государственного деятеля, в 1928—1932 годах полпреда СССР в Италии.

Впервые опубликовано: «Октябрь», 1941, № 6; печатается по тексту: *Гвс*, с. 612—623.

[1] Горький приехал в Рим 20 мая 1928 г.

[2] Прием состоялся 15 февраля 1931 г.

[3] *«Турксиб»* (1929) — хроникальный фильм В. Турина о строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги; *«Земля»* (1931) — художественный фильм А. П. Довженко.

[4] Письмо о фильмах Горький послал Курскому еще до встречи, 9 февраля 1931 г. Оба фильма была посланы Р. Роллану.

[5] См. восп. Кэмрада, с. 214—216.

Ф. В. ГЛАДКОВ

<О ГОРЬКОМ>

(стр. 226)

Гладков Федор Васильевич (1883—1958) — писатель. В 1901 году он послал Горькому свой первый рассказ, и с этого началась их переписка, но встретились впервые они только в 1917 году.

Переписка Горького с Гладковым в *ЛН*, с. 63—124.

Печатается по тексту: *Гвс*, с. 361—364.

[1] Речь идет о двухтомнике «Очерки и рассказы» Горького. См. восп. Гриневицкой, т. 1, с. 72—75.

[2] Горьковская идея «повести о пережитом» была воплощена Гладковым в его тетралогии — «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година», «Мятежная юность» (1949—1958).

М. Е. КОЛЬЦОВ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ

(стр. 229)

Кольцов (псевдоним Фридлянда) Михаил Ефимович (1898—1942) — журналист, соредактор Горького по журналу «За рубежом» (1932—1936).

Переписку Горького с Кольцовым см.: *Архив*, т. X, кн. 2, с. 224—252.

Написано в 1932 году. Печатается по книге: Михаил Кольцов. Литературные портреты. М., «Правда», 1956, с. 7—11.

[1] *Унтер-ден-Линден* — центральная улица Берлина. В 1932 г. Горький был в Берлине с 26 августа по 2 сентября проездом на антивоенный конгресс в Амстердам. Голландское правительство не дало визы советской делегации (в ее состав входили А. М. Горький, Н. М. Шверник и Е. Д. Стасова), и делегация вернулась в Москву.

[2] Художники Палеха, до революции писавшие в основном иконы, после сложных и трудных поисков обратились к современным темам, сохранив свою художественную манеру. Горький не раз встречался с палешанами, помог им оборудовать новую мастерскую, организовать местный музей, послал книги по искусству. Писатель привлек палешан к работе в новом для них жанре книжной иллюстрации.

[3] В берлинском Пергамон-музее находится алтарь из малоазиатского города Пергама (II в. до н. э.) — ценный памятник эллинистической культуры, а также фрагменты дворца Вавилонии (VII в. до н. э.).

[4] Журнал «Литературная учеба» (1930—1941) основан Горьким в помощь начинающим писателям. Горький опубликовал в нем ряд статей о писательской работе. На страницах журнала литературоведы и критики рассказывали о творчестве классиков, писатели делились своим опытом, помогали молодежи освоить технику литературного дела. Горький ставил вопрос и о недостатках журнала: постановке больших тем на довольно ограниченном материале, узком круге авторов, неглубокой разработке отдельных вопросов (*Горький*, т. 30, с. 291—294, письмо Е. С. Добину).

[5] Большой «толкучий» рынок на Сухаревской (ныне Колхозной) площади в Москве (впоследствии ликвидирован).

[6] В Испании Кольцов побывал в качестве журналиста в 1931 г.

[7] Роман Эса де Кэйроша «Реликвия» (1887) в России был издан в 1922 г.

Л. В. НИКУЛИН
‹В ДОМЕ ГОРЬКОГО›
стр. 233)

Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) — писатель, автор приключенческих и исторических романов, книг о людях русского искусства.

Печатается по тексту: *Гвс*, с. 539—555.

[1] Ныне на ул. Качалова. В этом доме, построенном Ф. О. Шехтелем в 1902 г. для миллионера Рябушинского, Горький поселился в 1931 г., выезжая зимою лишь в Сорренто, в Тессели (Крым) и летом в Горки X (под Москвой). Теперь здесь Музей-квартира писателя.

[2] «Гибщики» вручную, кувалдами гнули стальные листы по формам корпуса строящегося судна, иногда предварительно нагревая лист.

[3] В Сорренто Никулин навестил Горького в апреле 1933 г.

[4] Опера Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1872) написана на сюжет одноименной пьесы русского поэта и драматурга Л. А. Мея.

[5] Рассказ (1913) из цикла «По Руси».

[6] См. восп. Ходасевич, с. 107, 108.

[7] См. восп. Бенуа, с. 128, 129.

Б. Е. ЗАХАВА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РЕЖИССЕРА
(стр. 240)

Захава Борис Евгеньевич (1899—1976)— режиссер Театра имени Евг. Вахтангова, актер, педагог, автор многих работ об искусстве актера и режиссера. Он первым поставил в Театре имени Евг. Вахтангова пьесы Горького «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие». Постановка «Егора Булычова» с Б. Щукиным в главной роли стала важным событием в истории советского театра.

Печатается по тексту: *Гвс*, с. 640—649.

[1] Генеральная репетиция «Егора Булычова» состоялась 19 сентября 1932 г.

[2] Из стихотворения А. С. Пушкина «Возрождение» (1819).

И. С. ШКАПА
СЕМЬ ЛЕТ С ГОРЬКИМ
Воспоминания
(стр. 250)

Шкапа Илья Самсонович (род. 1898) — очеркист. Работал под руководством Горького в журнале «Наши достижения» и в других изданиях.

Печатается по книге: Илья Шкапа. Семь лет с Горьким. Воспоминания. М., «Советский писатель», 1966, с. 55—328.

[1] 1929 г.

[2] Цитата из «Пира во время чумы» (1830) А. С. Пушкина.

[3] Итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо утверждал биологическую обусловленность уголовной преступности и пытался доказать, что гениальность представляет собою уродство, патологическую ненормальность. Его книга «Гений и безумие» (в переводе «Гениальность и помешательство») впервые вышла в России в 1892 г.

[4] По библейскому преданию, царь Иудеи Ирод, узнав, что в Вифлееме предсказывают скорое рождение Мессии, велел убить в городе всех мальчиков младше двух лет.

[5] Неточная цитата из пушкинского «Пророка» (1826).

[6] «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) — название книги американского публициста Джона Рида, посвященной Октябрьским дням 1917 г.

[7] В 1789 г. во Франции началась буржуазная революция.

[8] Из популярной в революционных кругах песни «Красное знамя» («Слезами залит мир безбрежный...», 1900, перевод с польского В. Акимова).

[9] В переписанные С. А. Толстой рукописи романа Л. Н. Толстой вносил многочисленные исправления и дополнения, иногда радикально перерабатывая текст.

[10] Из «Разговора с фининспектором о поэзии» (1926).

[11] В. С. Молоков в 1934 г. участвовал в спасении челюскинцев и был удостоен звания Героя Советского Союза.

[12] Кинофильм «Чапаев» вышел в 1934 г. на студии «Ленфильм».

[13] Горький оценил талантливость, жизненную активность Маяковского уже после первых шагов его в литературе (см. восп. Бабенчикова, т. 1, с. 303). В 1927 г. Маяковский обратился к Горькому со стихотворным посланием, где сетовал: «Горько думать нам о Горьком-эмигранте», неверно истолковывая жизнь писателя за пределами родины. «Смысл письма — не усвоил!» — отозвался о стихотворении Горький (*Архив*, т. X, кн. 1, с. 264). Однако этот инцидент не испортил их отношений.

[14] Горький вступился за истязаемую женщину, за что был избит до потери сознания. В очерке «Вывод» (1895) Горький рассказал об этом эпизоде, присовокупив: «...это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда».

[15] См. примеч. 7 на с. 377.

[16] В Болшеве Горький побывал в 1931 и 1932 гг.

[17] В. Н. *Жакова* — писательница, автор очерков об архитекторах А. Фиорованти, Ф. Коне, В. Баженове, опубликованных в 1934 г. в альманахе «Год XVII». Начала переписываться с Горьким в 14 лет; письма Горького к ней см. в т. 30. Последнее письмо ей Горький написал за полтора месяца до своей смерти.

[18] Горький упоминает героев комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» и романа И. А. Гончарова «Обломов».

Н. В. ЧЕРТОВА

СТРОГАЯ ШКОЛА

(стр. 268)

Чертова Надежда Васильевна (род. 1903) — писательница и журналистка.

Воспоминания о Горьком опубликованы в журнале «Сибирские огни» (1947, № 1). Печатается по новому варианту: «Литературная газета», 1968, 27 марта, № 13.

[1] Перед журналом «Колхозник» (первый номер вышел 22 октября 1934 г.) Горький ставил задачу популяризации научных знаний среди жителей деревни, пропаганды передового опыта. Специально для журнала Горький написал несколько рассказов — «Бык», «Орел», «Шорник и пожар», «Экзекуция».

[2] Рассказ «Бык» напечатан в «Колхознике», 1935, № 3.

[3] 14 июня 1934 г. в статье «Литературные забавы» (опубликована одновременно в газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Литературный Ленинград») Горький писал о небрежности в работе некоторых писателей, недостойном поведении их в быту (в частности П. Васильева).

Ю. П. ГЕРМАН

О ГОРЬКОМ

(стр. 273)

Герман Юрий Павлович (1910—1967) — писатель.

Воспоминания написаны в 1958—1964 годах. Печатается по изданию: Юрий Герман. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. Л., «Художественная литература», 1975, с. 525—533.

[1] Из рассказа Горького «Старуха Изергиль» (1894).

[2] «Если автор в дальнейшем не свихнет шеи, из него может выработаться крупный писатель. Я говорю о Юрии Германе» — так отозвался Горький о романе Германа «Вступление» в беседе с турецкими писателями («Правда», 1932, 6 мая, № 124).

[3] О романе «Вступление».

[4] Очерки, которые Герман использовал в романе, печатались в «Юном пролетарии» в 1930 г. (№ 23—24) и 1931 г. (№ 1—2).

[5] Роман (1934) о Германии 20-х годов.

[6] Герман написал «Рассказы о Дзержинском» (1938—1957).

[7] *«Физиология вкуса»* Брилья-Саварена (русское издание — М., 1867) — книга о пище, ее приготовлении, о пищеварении, рассуждения о свойствах и роли пищи в жизни человека.

[8] Отрывки из романа публиковались, начиная с 1932 г., в журналах «Ленинград», «Юный пролетарий» и др.; полностью роман напечатан в «Литературном современнике» (1934, № 2—6, 8, 10—12; 1935, № 5—7, 9, 11—12; 1936, № 3—5).

С. М. МУКАНОВ

<ОН ЖИВ, ОН С НАМИ>

(стр. 283)

Муканов Сабит Муканович (1900—1973) — казахский писатель.

Опубликовано в подборке «Он жив, он с нами» в журнале «Октябрь», 1968, № 3, откуда и перепечатывается.

[1] См. вступит. статью, т. 1, с. 15, 17, и примеч. 1 к восп. Павленко, с. 404.

[2] См. примеч. 4 к восп. Суркова, с. 402.

[3] Казахская АССР образована в 1925 г., в 1937 г. преобразована в союзную республику.

[4] Автобиографическая трилогия «Школа жизни» (1949—1953); ее первоначальной редакцией была повесть «Мои мектебы» (1939).

М. Я. СЕНГАЛЕВИЧ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

(стр. 285)

Сенгалевич Маргарита Яковлевна (1901—1975) — писательница. На Первом съезде писателей была корреспондентом украинской газеты «Вісти» («Известия»).

Опубликовано в «Литературной газете», 1968, 7 февраля, № 6, откуда и перепечатывается.

[1] Первый съезд советских писателей проходил с 17 августа по 1 сентября 1934 г.

[2] Книга А. Г. Коревановой «Моя жизнь» — живой, бесхитростный рассказ уральской работницы-крестьянки о тяжелой доле трудящейся женщины в царской России, о гнете семейных и общественных отношений, жестокой эксплуатации, о страстном стремлении к счастью. Горький написал предисловие к книге Коревановой (*Горький*, т. 27, с. 533—535). Издана «Моя жизнь» в 1936 г.

[3] На IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г. В. И. Ленин сделал доклад «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» на немецком языке. В ночь с 15 на 16 декабря состояние здоровья Ленина резко ухудшилось.

[4] В № 4 журнала.

[5] В клинике В. М. Образцова М. М. Коцюбинский лечился с 26 октября 1912 г. до 22 апреля 1913 г.

А. Н. ТОЛСТОЙ

ПО ТАКОМУ ОБРАЗЦУ ДОЛЖНЫ ФОРМИРОВАТЬСЯ ЛЮДИ

(стр. 291)

Толстой Алексей Николаевич (1883—1945) — писатель. Горький высоко ценил талант Толстого, очень любил его как человека.

Опубликовано в «Известиях», 1937, 18 июня, № 142; одновременно в «Ленинградской правде» (18 июня, № 139) и в газете «Смена» (18 июня, № 138). Печатается по изданию: Алексей Толстой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1961, с. 373—375.

[1] Проекты реконструкции столицы, разработка которых началась в 1930-е годы.

[2] В 1935 г. Горький радикально переработал «Вассу Железнову», по сути написав новую пьесу.

[3] См. примеч. 6 на с. 377.

[4] И. В. Сталин.

А. Л. КОПТЕЛОВ

У МАКСИМА ГОРЬКОГО

(стр. 293)

Коптелов Афанасий Лазаревич (род. 1903) — писатель.

Впервые напечатано в журнале «Сибирские огни», 1936, № 5. Печатается по изданию: Афанасий Коптелов. Минувшее и близкое. Воспоминания. Статьи. Очерки. Новосибирск, 1972, с. 21—29.

[1] 23 февраля 1928 г. Горький писал Зазубрину о необходимости беречь молодые таланты.

[2] «*База курносых*» — книга, написанная детьми, участниками литературного кружка в Иркутске, о своей жизни. Юные авторы выступали с приветствием на I съезде писателей, дважды гостили у Горького.

И. А. СИВКО

ПАМЯТЬ

(стр. 299)

Сивко (девичья фамилия — Никульшина) Ирина Акимовна (род. 1915) — бригадир колхозной полеводческой бригады.

Опубликовано в «Комсомольской правде», 1968, 28 марта, № 73, откуда и перепечатывается.

[1] В Ростове-на-Дону.

[2] 1—4 сентября 1929 г. Горький побывал в зерносовхозе «Гигант». Свои впечатления описал в «Рассказе» («Известия», 1929, 20 октября, № 243.)

[3] В Горки X.

[4] Из статьи «Беседа», опубликованной в № 1 журнала «Колхозник» за 1934 г.

А. А. СУРКОВ

НАШ РЕДАКТОР, ДОБРЫЙ И СТРОГИЙ

(стр. 303)

Сурков Алексей Александрович (род. 1899) — поэт.

Напечатано в «Литературной газете», 1972, 11 октября, № 41, откуда и перепечатывается.

[1] Сурков в это время был редактором журнала «Рост», имевшего целью совершенствование профессионального мастерства молодых писателей.

[2] Противопоставляя рабочий класс советской интеллигенции, рапповцы ратовали за то, чтобы литература создавалась руками самих рабочих. Этим был вызван «призыв ударников в литературу», который, естественно, реального эффекта не дал; лишь немногие из «призывников» РАППа стали профессиональными литераторами.

[3] *Литературный институт* — высшее учебное заведение в Москве, в котором получают филологическое образование, развивают свои творческие способности молодые писатели. Основан Постановлением Президиума ЦИК СССР от 17 сентября 1932 г. в ознаменование 40-летия литературной деятельности Горького. Открыт 1 декабря 1933 г. Его предшественником был Рабочий литературный университет в Ленинграде, созданный по инициативе Горького.

[4] Институт красной профессуры (1921—1930 гг.)—высшее учебное заведение для подготовки преподавателей общественных наук, работников научно-исследовательских учреждений, партийных и государственных работников.

[5] См. примеч. 4 на с. 396.

[6] Журнал «Литературная учеба» выходил в 1930—1934 гг. в Ленинграде, в 1935—1941 гг.— в Москве.

[7] А. А. Сурков стал заместителем редактора «Литературной учебы» и проработал здесь с 1934 до 1939 г.

[8] О. Д. Черткова.

А. А. ПРОКОФЬЕВ

У ГОРЬКОГО

(стр. 307)

Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971) — поэт.

Написано в 1941 году. Печатается по тексту: Александр Прокофьев. Свет поэзии. Статьи и заметки о литературе. Л., «Советский писатель», 1975, с. 149—151.

[1] В первом разделе статьи «Литературные забавы» (см. примеч. 3 к восп. Чертовой, с. 399) Горький весьма сурово отозвался о романе А. Молчанова «Крестьянин» и работе редактора книги А. А. Прокофьева.

[2] Имеется в виду встреча писателей с Горьким и Р. Роллапом, которая состоялась 9 июля 1935 г.

[3] См. примеч. 18 и 19 к восп. Десницкого, т. 1, с. 403.

[4] «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (т. 1—3, СПб., 1836—1837) — обширное собрание фольклорных материалов, обработанных И. П. Сахаровым.

[5] «*Граница*» (1935) — фильм режиссера М. И. Дубсона, студия «Ленфильм»; «*Пэпо*» (1935) — фильм режиссера А. Бек-Назарова, студия «Арменфильм».

Ю. А. ШАПОРИН

О ГОРЬКОМ

(стр. 309)

Шапорин Юрий Александрович (1887—1966) — композитор.

Опубликовано в «Неделе», 1968, 18 февраля, № 8, откуда и перепечатывается.

[1] С Малиновской Горький был знаком по совместной работе в Нижегородском комитете РСДРП.

[2] Либретто оперы «Мать» написал позднее А. М. Файко, музыка Т. Н. Хренникова (1957).

[3] См. примеч. 18 и 19 к восп. Десницкого, т. 1, с. 403.

[4] «Бурлацкая» (1951).

[5] Над оперой «Декабристы» (либретто Вс. Рождественского) композитор работал с 1925 по 1953 г.

[6] «Леди Макбет Мценского уезда» (1932) — ранняя редакция оперы «Катерина Измайлова» (1963).

[7] Из выступления Блока на чествовании Горького 30 марта 1919 г. в связи с его пятидесятилетием.

И. П. ЯУНЗЕМ

В ГОСТЯХ У А. М. ГОРЬКОГО

(стр. 313)

Яунзем Ирма Петровна (1897—1975) — народная артистка РСФСР, исполнительница народных песен.

Печатается глава из книги: Ирма Яунзем. Человек идет за песней. М., «Молодая гвардия», 1968, с. 61—66.

[1] Н. Н. Соболев. Русская народная резьба по дереву. М.—Л., 1934.

[2] Воспитанники Болшевской трудкоммуны были в гостях у Горького на Малой Никитской 9 апреля 1935 г.

[3] Письмо Горького от 15 июля 1935 г.

М. Ф. ОШУРКОВ

«ПОТОМ, ПОТОМ...»

(стр. 319)

Ошурков Михаил Федорович (род. 1906) — кинооператор и режиссер, народный артист РСФСР, участвовал в съемке фильма «Наш Горький».

Опубликовано в газете «Литературная Россия», 1968, 22 марта, № 13, откуда и перепечатывается.

[1] Выступление Горького опубликовано в газете «Кино», 1932, 24 сентября, № 44 (*Горький*, т. 26, с. 359).

[2] Софья Иовна Гринченко — одна из организаторов колхозного движения на Кубани, человек трудной, интересной судьбы. Помимо повести «Разбег» (1932), В. Ставский написал о Гринченко еще очерк «Быль о Гринчихе», вышедший отдельной брошюрой (М.—Л., 1932).

П. А. ПАВЛЕНКО

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ. А. М. ГОРЬКИЙ

(стр. 323)

Павленко Петр Андреевич (1899—1951) — писатель.

Впервые напечатано в альманахе «Крым», 1948, № 2; печатается по тексту: *Гвс*, с. 523—531.

[1] Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и ликвидации РАППа вышло 23 апре-

ля 1932 г. После постановления Горький собрал писателей, чтобы обсудить предстоявшее создание Союза советских писателей.

[2] В 1924—1927 гг. Павленко был секретарем советского Торгпредства в Турции.

[3] «Заметки и воспоминания. 1870—1873» Тьера вышли в Париже в 1903 г. (на французском языке).

[4] С Анри Леженом.

[5] Р. Роллан приехал в СССР 23 июня 1935 г.; 29 июня он посетил Горького на Малой Никитской и по его приглашению переехал к нему в Горки, где жил до отъезда из Союза (21 июля).

[6] В 1933 г. Горький основал литературно-художественный и общественно-политический альманах, первая книга которого называлась «Год XVI» (шестнадцатый год революции; в дальнейшем нумерация соответственно возрастала). Выходило от одной до четырех книг в год. Горький был редактором первых девяти книг. В альманахе публиковались пьесы Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», «Васса Железнова»), «Педагогическая поэма» А. Макаренко, произведения К. Паустовского, А. Прокофьева, Э. Багрицкого и др.

[7] М. П. Чехова принимала большое участие в подготовке текстов и комментировании чеховских писем для Полн. собр. соч. и писем А. П. Чехова, т. 16—20. М., Гослитиздат, 1948—1951.

[8] Имеются в виду воспоминания Э. Сальгари «Из моей жизни», опубликованные в 1899 г. в приложении к журналу «Вокруг света».

[9] В 1931 г. по инициативе Горького началась работа по созданию многотомной «Истории гражданской войны в СССР». Первый том вышел в 1936 г., остальные четыре тома вышли в послевоенные годы. Об «Истории фабрик и заводов» см. примеч. 8 на с. 392.

[10] По Волге Горький плавал с 30 июля по 9 августа 1928 г., с 21 по 28 августа 1929 г., с 12 по 21 июля 1934 г. и с 12 по 24 августа 1935 г.

[11] Результатом творческой поездки, в которой писатели внимательно изучали уклад жизни, своеобразную природу Дагестана, стали стихи, очерки, рассказы. Писатели познакомили широкого читателя с поэзией С. Стальского, Г. Цадаса, Э. Капиева. Сам Павленко собирал в Дагестане материал для своего произведения о Шамиле «Кавказская повесть» (1940).

[12] А. П. Чехов ездил на остров Сахалин в 1890 г., с тем чтобы познакомиться с положением каторги. Итогом поездки стала известная книга «Остров Сахалин» (1893—1894).

[13] В 1932 г. на Дальнем Востоке среди тайги и болот руками молодежи началось строительство нового города, названного Комсомольском-на-Амуре.

К. А. ТРЕНЕВ

МОИ ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

(стр. 332)

Тренев Константин Андреевич (1877—1945) — писатель.

Впервые напечатано в *Гвс*, с. 366—371, откуда и перепечатывается.

[1] Горький вернулся из Италии 31 декабря 1913 г.

[2] О «Летописи» см. вступит. статью, т. 1, с. 9—10.

[3] См. примеч. 4 к восп. Р. Арского, т. 1, с. 435, 436.

[4] Имеются в виду странствия Горького по Крыму в августе—сентябре 1891 г.

[5] В Крыму Горький тогда жил в августе — сентябре 1917 г.

[6] Генерал Л. Г. Корнилов выступил 25 августа 1917 г. в поход на Петроград с целью разогнать Советы и установить военную диктатуру. Против Корнилова большевистская партия подняла петроградских рабочих и революционные войска. В корниловские части были посланы большевистские агитаторы, которые разъясняли солдатам суть и цели контрреволюционного мятежа. К 30 августа мятеж Корнилова был ликвидирован.

[7] Речь идет о приезде Горького из Италии в СССР 31 мая 1929 г.

[8] Пьеса Тренева «На берегу Невы» (1937) напечатана в журнале «Молодая гвардия», 1938, № 1; поставлена московским Малым театром 4 ноября 1937 г.

[9] В мае 1936 г.

КУКРЫНИКСЫ

У ГОРЬКОГО

(стр. 337)

Кукрыниксы (коллективный псевдоним Куприянова Михаила Васильевича — род. 1903; Крылова Порфирия Никитича — род. 1902; Соколова Николая Александровича — род. 1903) — художники.

Первоначальный вариант воспоминаний в журнале «Искусство», 1941, № 3; печатается глава из книги: Кукрыниксы. Втроем. М., «Советский художник», 1975, с. 206—215, с авторской правкой для настоящего издания.

[1] Встреча Горького с рабкорами состоялась 6 июня 1928 г.

[2] В № 11 журнала за 1928 г.

[3] О встрече Горького с рабкорами напечатан отчет в «Комсомольской правде» (1928, 7 июня, № 130).

[4] Речь идет о доме на Малой Никитской (ныне ул. Качалова), д. 6.

[5] Живописные полотна на историко-революционные темы,

[6] «*Симплициссимус*» — известный немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, выходил с 1896 г. Горький послал комплект журнала в феврале 1932 г.

[7] На выставке Кукрыниксов в клубе Федерации объединений советских писателей Горький был в первой половине мая 1932 г.

[8] 3 февраля 1930 г. в Москве на открытии писательского клуба состоялся кукольный спектакль «Петрушка» па текст А. Архангельского и М. Вольпина. Куклы, сделанные Кукрыниксами, являлись дружескими шаржами на писателей, критиков, деятелей искусства — В. Мейерхольда, В. Маяковского, Ф. Гладкова, Л. Леонова, И. Сельвинского и др.

[9] Горький посетил 14 июля 1933 г. выставку «Художники РСФСР за 15 лет», 16 июля — выставку «15 лет РККА».

П. Д. КОРИН

МОИ ВСТРЕЧИ С А. М. ГОРЬКИМ

(Из воспоминаний)

(стр. 346)

Корин Павел Дмитриевич (1892—1967) — художник, выходец из рода потомственных палехских иконописцев.

Созданный Кориным портрет писателя является одним из лучших горьковских портретов (Третьяковская галерея, Москва).

Публикуется по тексту: *Гвс*, с. 625—639.

[1] *А. Д. Корин* — художник, музейный реставратор.

[2] Над этюдами к картине «Уходящая Русь» Корин работал в 1929—1937 гг., эту картину о народном шествии в мифическое «царство божие» он так и не написал, почувствовав, вероятно, что ее замысел принадлежит уже прошлому.

[3] В кабинете писателя на Малой Никитской находятся «Панорама Сорренто» работы П. Д. Корина (подарок художника Горькому к шестидесятилетию) и копия «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи работы А. Д. Корина.

[4] В Музее А. М. Горького хранится 8 портретов Горького и 6 рисунков, изображающих писателя в кругу близких людей, которые Корин сделал в Тессели.

[5] См. примеч. 8 к восп. Нестерова, т. 1, с. 414.

Н. А. ПЕШКОВА

‹РЯДОМ С ГОРЬКИМ›

(стр. 355)

Пешкова Надежда Алексеевна (1900—1971) — жена Максима Пешкова. После смерти Горького бережно хранила, а потом передала в дар государству все связанное с памятью писателя, участво-

вала в создании литературного Музея А. М. Горького и музея-квартиры писателя в Москве.

Воспоминания печатаются по тексту: *Архив*, т. XIII, с. 232—298.

[1] В Берлин, где в то время находились Н. А. и М. А. Пешковы.

[2] См. примеч. 7 на с. 376.

[3] В Сан-Блазиене (в Шварцвальде, горном массиве на юго-западе Германии) Горький жил с 4 декабря 1921 г. по 3 апреля 1922 г.

[4] В 1921 г. разразился страшный голод в Поволжье. Горький организовал сбор средств и продовольствия для голодающих, не раз обращался с призывами о помощи к мировой общественности, к писателям Г. Уэллсу, А. Франсу, Э. Синклеру, Г. Гауптману, Б. Ибаньесу, Р. Роллану.

[5] В немецкий курорт Герингсдорф на побережье Балтийского моря Горький приехал в конце мая — начале июня 1922 г.; 25 сентября переехал в Сааров, под Берлином.

[6] А. Н. Толстой посетил Горького в апреле—мае, И. С. Соколов-Микитов — в августе 1922 г.

[7] Фильм «Поликушка», созданный в 1922 г. Ю. А. Желябужским,— один из шедевров советского немого кино.

[8] Горький встретился с Есениным 17 мая 1922 г. в меблированных комнатах, где жил А. Н. Толстой, возвращавшийся из эмиграции на родину.

[9] Горький приехал в Гюнтерсталь в начале июня 1923 г.

[10] Горький приехал в Чехословакию 27 ноября 1923 г.

[11] «Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех. ⟨...⟩ На душе — тяжело. ⟨...⟩ Все-таки Русь талантлива ⟨...⟩ Уход Ильича — крупнейшее несчастие ее за сто лет. Да, крупнейшее»,— писал Горький 4 февраля 1924 г. М. Ф. Андреевой.

[12] Горький приехал в Италию в апреле 1924 г.

[13] См. примеч. 4 к восп. Бенуа, с. 387.

[14] Уехав в 1922 г. за границу, Шаляпин не раз собирался вернуться на родину, но ему казались непреодолимыми бытовые трудности первых послереволюционных лет, он боялся остаться на старости лет без средств. Немалую роль сыграло и белоэмигрантское окружение певца.

[15] Горький очень тяжело переживал смерть сына. 26 мая 1934 г. он писал Р. Роллану: «Смерть сына для меня — удар действительно тяжелый, идиотски оскорбительный. Пред глазами моими неотступно стоит зрелище его агонии, кажется, что я видел это вчера и уже не забуду до конца моих дней эту возмутительную пытку человека механическим садизмом природы».

[16] В Москву Горький приехал 27 мая 1936 г.

[17] Гроб с телом Горького был перевезен из Горок в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. 19 июня был открыт доступ к телу писателя для прощания с ним. В ночь с 19 на 20 июня состоялась кремация. 20 июня до 16.30 продолжался доступ в Колонный зал. В этот же день на Красной площади состоялся траурный митинг и в 18.47 урна с прахом писателя была замурована в Кремлевской стене.

Н. Н. БУРДЕНКО

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

(стр. 366)

Бурденко Николай Нилович (1876—1946) — нейрохирург, академик, Герой Социалистического Труда.

Впервые напечатано в газете «Советское искусство», 1936, 23 июня, № 29. Печатается по изданию: *Гвс*, с. 659—661.

[1] См. примеч. 8 на с. 392 и примеч. 9 на с. 405.

[2] Вероятно, мемуарист имеет в виду «Всемирную литературу», см. вступит. статью, т. 1, с. 13.

[3] «*Библиотека поэта*» — фундаментальный свод памятников русской поэзии и поэзии народов СССР, начиная с древности и кончая современностью. В серию входят произведения не только крупных поэтов, но и поэтов менее известных, которые сыграли свою роль в становлении русской поэтической культуры. «Библиотека поэта» издается и сегодня. Задачи серии Горький изложил в статье «О библиотеке поэта» («Правда», 1931, 6 декабря, № 335).

[4] «*История молодого человека*» — серия художественных произведений русских и зарубежных писателей XIX в., посвященных становлению и формированию характера молодого человека. В серии вышло 18 романов и повестей; в первой книге серии, включившей повесть Шатобриана «Рене» и роман Констана «Адольф», была опубликована статья Горького о целях и задачах издания (*Горький*, т. 26, с. 158—171).

[5] См. примеч. 6 на с. 377.

[6] Возможно, мемуарист имеет в виду элегию А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Архив — Архив А. М. Горького, т. I—XIV. М., «Наука», 1939—1976.

Гин — «Горький и наука. Статьи, речи, письма, воспоминания». М., «Наука», 1964.

Гих — «Горький и художники. Воспоминания, переписка, статьи». М., «Искусство», 1964.

Гвс — «М. Горький в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1955.

Горький — М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Гослитиздат, 1949—1955.

Ленин и Горький — Сб. «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, воспоминания, документы». Изд. 3-е. М., «Наука», 1969.

ЛН — «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

---

* В указатель включены встречающиеся в основном тексте имена, названия периодических изданий, а также издательств, в работе которых руководящую роль играл Горький. Страницы вступительной статьи и примечаний выделены курсивом. Аннотации содержат лишь сведения, необходимые для понимания текста; общеизвестные имена, имена мемуаристов и откомментированные имена и названия не аннотируются.

СОДЕРЖАНИЕ

I

В. И. ЛЕНИН И А. М. ГОРЬКИЙ

II

Максим Горький в воспоминаниях современников.
Г71 В 2-х т.— М.: Худож. лит., 1981

Т. 2. / Сост. и подгот. текста А. А. Крундышева; Примеч. И. С. Эвентова и А. А. Крундышева; Рецензент А. И. Овчаренко. 445 с.

Во второй том вошли воспоминания о Горьком в послереволюционный период: о его жизни в Сорренто, о триумфальной поездке его по Стране Советов, о возвращении на родину и о последних днях его жизни.

Г $\frac{70202\text{-}311}{028(01)\text{-}81}$ 37-81 4702010200 8Р2

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Том 2

Редактор
В. Пересыпкина

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры
Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 1198

Сдано в набор 11.02.80. Подписано в печать А06751 08.04.81. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 23,52 + 1 вкл. + альбом = 25,412 усл.-печ. л. 24,832 усл. кр. отт. 23,304 + 1 вкл. + альбом = 24,021 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Изд. № II—469. Заказ № 1155. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В 1981 ГОДУ В СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ»
ВЫПУСКАЕТ:

А. Г. Достоевская. Воспоминания.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Е. М. Чехова. Воспоминания.








М. ГОРЬКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
2